
Нобелевская
премия
по литературе
2013 года
Элис Манро
Ты кем себя
воображаешь?
PREMIUM

Ты кем себя воображаешь?
Элис Манро

Аннотация
Элис Манро. Ты кем себя воображаешь?
Королевская взбучка
Привилегия
Половинка грейпфрута
Дикие лебеди
Деванищенка
Баловство
Провидение
Удача Симона
По буквам
Ты кем себя воображаешь?

Аннотация

Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях самих себя. Сборник «Ты кем себя воображаешь?» — удостоенный канадской Премии генерал-губернатора и вошедший в шорт-лист Букеровской премии — по сути является романом в эпизодах. Истории о Фло и ее приемной дочери Розе — пытающейся подняться над жизненными обстоятельствами, окончить университет, сделать карьеру, найти счастье, наконец, — изложены с фирменной психологической точностью, а внезапные повороты сюжета придают повествованию волшебный привкус тайны.

Элис Манро
Ты кем себя воображаешь?

Посвящается Дж. Фр.

* * *

Манро — одна из немногих живущих писателей, о ком я думаю, когда говорю, что моя религия — художественная литература… Мой совет, с которого и сам я начал, прост: читайте Манро! Читайте Манро!

Джонатан Франзен

Она пишет так, что невольно веришь каждому ее слову.

Элизабет Страут

Самый ярый из когда-либо прочтенных мною авторов, а также самый внимательный, самый честный и самый проницательный.

Джеффри Евгенидис

Элис Манро перемещает героев во времени так, как это не подвластно ни одному другому писателю.

Джулиан Барнс

Настоящий мастер словесной формы.

Салман Рушди

Изумительный писатель.

Джойс Кэрол Оутс

Когда я впервые прочла ее рассказы, они показались мне переворотом в литературе, и я до сих пор придерживаюсь такого же мнения.

Джумпа Лахири

Поразительно… Изумительно… Время нисколько не притупило стиль Манро. Напротив, с годами она оттачивает его еще больше.

Франсин Проуз

Она — наш Чехов и переживет большинство своих современников.

Синтия Озик

Она принадлежит к числу мастеров короткой прозы — не только нашего времени, но и всех времен.

The New York Times Book Review

Я не берусь определить, что такое книга Элис Манро «Ты кем себя воображаешь?» — сборник рассказов или новый тип романа. Но в любом случае она восхитительна. Ее психологическая точность… приводит в восторг, а внезапные повороты сюжета, скачки во времени, преображение знакомых персонажей — все это делает книгу такой, какими и должны быть книги: придает ей капельку неуправляемости, капельку тайны.

Джон Гарднер

Богатая текстура нарратива и грациозный стиль автора — все это вместе делает новый сборник «Ты кем себя воображаешь?» немалым достижением.

Джойс Кэрол Оутс

Лучшие рассказы года.

The Nation

Волшебно и точно. Элис Манро создает мир одновременно знакомый и сказочный.

Максин Кингстон

Эта книга… полностью заслуживает полученной ею премии генерал-губернатора Канады. Сильное место — характеры персонажей, прописанные подробно и правдоподобно, как это умеет Манро. Я горячо рекомендую книгу всем читателям.

Columbus Dispatch

Сухая, едкая, прекрасная и, самое главное, правдивая книга. Сборник «Ты кем себя воображаешь?» видит нас насквозь и знает, как мы обращаемся друг с другом.

Dallas News

Манро умеет короткой литературной формой подогреть интерес читателя не хуже, чем романом, доставляя особое литературное удовольствие. Каждый из десяти рассказов эстетически и созерцательно — единое целое; в каждом скрыт целый мир осложнений и намеков, каждый что-то подчеркивает, у каждого своя текстура. Но мы движемся через каждый из миров по очереди и в конце концов бесстрастно поднимаемся над ними, как в единой романной судьбе.

New Republic

Голос рассказчика втирается к нам в доверие, шепча откровения. Его наблюдения из жизни и психологии обильны и исключительно точны. Два главных персонажа, Фло и Роза, оживают у нас на глазах.

Los Angeles Times

Элис Манро строит калейдоскоп, захватывая в него свет и бездны. Объектив Розиного глаза ловит упругое гарцевание жизни и в то же время рассматривает пристально, как под микроскопом, свое собственное искусство рассказчика. Эта проза ударяет в голову.

The New York Times Book Review

Пока не дочитал, даже не осознаешь, насколько эти истории тебя захватывают, не понимаешь, на каком свете находишься. Возвращаться потом в так называемую реальность — все равно что пытаться выйти из автомобиля на полном ходу.

Newsweek

Подобно Генри Джеймсу, Элис Манро обладает поистине сверхъестественным умением сгустить до жеста, до короткого взгляда некое судьбоносное откровение — судьбоносное как для героя, так и для читателя.

The Philadelphia Inquirer

Элис Манро не просто писатель, но маг и гипнотизер, она способна заворожить нас чем угодно, что попадет под ее волшебную лупу, хоть лужицей пролитого кетчупа.

The Globe and Mail

Как и все, что делает Манро, — безупречно и не имеет аналогов. Она лучший на свете хроникер непредсказуемой любви, запретного желания, хрупкости самой жизни.

Houston Chronicle

Никто не может рассказать о тайнах женского сердца так, как это делает Манро, — без капли излишней сентиментальности, с предельной ясностью.

The Oregonian

О невзгодах любви и подарках судьбы, о семейных узах и загадках человеческой натуры Манро пишет так, будто до нее об этом не писал никто.

The Seattle Times

В хитросплетениях сюжетов Манро не перестает удивлять: банальные бытовые драмы оборачиваются совсем необычными психологическими ситуациями, а типичная ссора приводит к настоящей трагедии. При этом рассказ обрывается столь же неожиданно, как начинался: Манро не делает выводов и не провозглашает мораль, оставляя право судить за читателем.

Известия

Все ее рассказы начинаются с крючочка, с которого слезть невозможно, не дочитав до конца. Портреты персонажей полнокровны и убедительны, суждения о человеческой природе не заезжены, язык яркий и простой, а эмоции, напротив, сложны — и тем интереснее все истории, развязку которых угадать практически невозможно.

Комсомольская правда

Все это Манро преподносит так, словно мы заглянули к ней в гости, а она в процессе приготовления кофе рассказала о собственных знакомых, предварительно заглянув к ним в душу.

Российская газета

Банальность катастрофы, кажется, и занимает Манро прежде всего. Но именно признание того, что, когда «муж ушел к другой», это и есть самая настоящая катастрофа, и делает ее прозу такой женской и, чего уж там, великой. Писательница точно так же процеживает жизненные события, оставляя только самое главное, как оттачивает фразы, в которых нет ни единого лишнего слова. И какая она феминистка, если из текста в текст самым главным для ее героинь остаются дети и мужчины.

Афиша

В эти «глубокие скважины», бездну, скрытую в жизни обывателей, и вглядывается Элис Манро. Каждая ее история — еще и сложная психологическая задачка, которая в полном соответствии с литературными взглядами Чехова ставит вопрос, но не отвечает на него. Вопрос все тот же: как такое могло случиться?

Ведомости

Превосходное качество прозы.

РБК Стиль

Но даже о самом страшном Манро говорит спокойно и честно, виртуозно передавая сложные эмоции персонажей в исключительных обстоятельствах скупыми средствами рассказа. И ее сдержанная будничная интонация контрастирует с сюжетом и уравновешивает его.

Psychologies

Рассказы Манро действительно родственны Чехову, предпочитающему тонкие материи, вытащенные из бесцветной повседневности, эффектным повествовательным жестам. Но… Манро выступает, скорее, Дэвидом Линчем от литературы, пишущим свое «Шоссе в никуда»: ее поэзия быта щедро сдобрена насилием и эротизмом.

Газета. ру

Американские критики прозвали ее англоязычным Чеховым, чего русскому читателю знать бы и не стоило, чтобы избежать ненужных ожиданий. Действительно, как зачастую делал и Антон Павлович, Элис показывает своих героев в поворотные моменты, когда наиболее полно раскрывается характер или происходит перелом в мировоззрении. На этом очевидное сходство заканчивается, — во всяком случае, свои истории Манро рассказывает более словоохотливо, фокусируясь на внутреннем мире…

ELLE

Королевская взбучка

Королевская взбучка. Фло часто этим грозила. Ты у меня получишь королевскую взбучку.

Слово «королевская» рокотало у нее на языке, обретая особое коварство. Розе обязательно нужна была картинка, пускай нелепая, и эта нужда была сильней осторожности. Поэтому, вместо того чтобы испугаться, она задавалась вопросом: как взбучка может быть королевской? В конце концов ей представилась обсаженная деревьями аллея, парадно одетые зрители, белые кони и черные рабы. Кто-то становился на колени, и брызгала кровь, словно реяли алые стяги. Дикое и вместе с тем великолепное зрелище. Во взбучках, которые происходили на самом деле, не было ни капли благородства. Одна Фло пыталась внести в происходящее некую торжественность, сожаление о неприятной, но неизбежной процедуре. А Роза и ее отец очень быстро теряли лицо.

Королем королевских взбучек был отец. Фло не умела так, как он: она могла шлепнуть или отвесить затрещину, думая при этом о чем-то другом и приговаривая: «Не лезь не в свое дело» или

«Чтоб я не видела у тебя этой наглости на лице».

Они жили в задней части лавки в городке Хэнрэтти, расположенном в провинции Онтарио. Вчетвером: Роза, отец, Фло и Брайан, младший единокровный брат Розы. Лавка на самом деле была жилым домом — родители Розы когда-то давно, после своей свадьбы, купили его и открыли мастерскую по обивке и ремонту мебели. Обивкой занималась мать Розы. Роза, по идее, должна была бы унаследовать от обоих родителей умелые руки, хорошее чувство материала и глаз на лучший способ починки. Но не унаследовала. Она была неуклюжа, и если что-то ломалось, она старалась побыстрее замести обломки и выбросить.

Мать Розы умерла. Однажды после обеда она сказала отцу Розы: «У меня какое-то странное ощущение, не могу описать. Как будто у меня в груди крутое яйцо, прямо в скорлупе». Еще до вечера она умерла. У нее оказался тромб в легком. Роза в то время была еще младенцем в колыбели и, конечно, ничего такого не помнит. Эту историю она услышала от Фло, которой рассказал отец. Вскоре появилась сама Фло — чтобы заботиться о Розе в колыбельке, выйти замуж за отца Розы и открыть бакалейную лавку в гостиной дома. Розе, не знавшей иного дома, кроме лавки, и иной

матери, кроме Фло, шестнадцать месяцев, которые ее родители прожили в доме, казались иной эпохой — эпохой размеренной жизни, нежности, церемонности в укладе, с мелочами, говорящими о достатке. Она думала так только из-за купленных когда-то матерью подставочек для яиц — с узором из виноградных лоз и птиц, изящным, будто нанесенным красной тушью; он уже начал стираться. Больше от матери не осталось ничего — ни книг, ни одежды, ни фотографий. Вероятно, отец от них избавился — а если не он, так Фло. В единственной истории о матери Розы, которую Фло рассказывала Розе, звучала какая-то странная зависть. Фло любила подробности чужих смертей: что человек сказал, как протестовал или как пытался сбежать со смертного одра, как ругался или смеялся (некоторые ругались или смеялись). Но Фло так пересказывала слова матери о крутом яйце, что они звучали очень глупо: как будто мать Розы и вправду верила, что человек может целиком проглотить яйцо в скорлупе.

Отец занимался ремонтом и реставрацией мебели в сарае за магазином. Он плел спинки и сиденья стульев, восстанавливал другую плетеную мебель, заделывал трещины, ставил на место отвалившиеся ножки — он был чрезвычайно ис-

кусным мастером и брал сущие гроши. Для него это был источник гордости: он любил поражать людей прекрасной работой за умеренные и даже смешные деньги. Может быть, во время Великой депрессии люди и не могли платить больше, но он продолжал вести дела подобным образом и во время войны, а потом и в годы послевоенного процветания, пока не умер. Он никогда не обсуждал с Фло свои расценки или кто из заказчиков сколько ему должен. Когда он умер, ей пришлось отпереть сарай и снять со страшноватых крюков, что служили ему картотекой, охапки клочков бумаги и рваных конвертов. Причем многие из них оказались даже не счетами и не расписками, а заметками о погоде или о том, что происходит в саду, — о чем попало, что отцу пришло в голову записать.

> Ели молодую картошку 25 июня. Рекорд.
>
> «Темный день» в 1880-х, ничего сверхъестественного. Облака пепла от лесных пожаров.
>
> 16 авг. 1938. Сильная гроза веч. Молния уд. в пресвит. церковь в Тэрберри. Воля Божия?

Ошпарить клубнику, чтобы убрать кислоту.

Все существующее — живое. Спиноза.

Фло сочла Спинозу каким-то овощем, который отец решил растить на огороде, вроде брокколи или баклажанов — он часто пробовал что-нибудь новое. Она показала этот клочок бумаги Розе и спросила, не знает ли та, что это за спиноза такая. Роза знала или, по крайней мере, имела представление — в то время она была уже подростком, — но ответила, что не знает. В этом возрасте ей казалось, что она не вынесет больше ни единой новой подробности об отце или Фло, и потому она в страхе и смущении отвергала всякое новое открытие.

В отцовском сарае была печка и множество неструганых полок, заставленных жестянками с краской и лаком, шеллаком и скипидаром и банками, где отмокали кисти. Тут же рядом стояли бутылки с темной липкой микстурой от кашля. Зачем отец, который постоянно кашлял, нюхнув газу на войне (в годы Розиного детства эту войну называли не Первой, а Последней), каждый день дышал парáми краски и скипидара? В ту эпоху такие вопросы звучали реже, чем в наши дни. На

скамье у лавки Фло целыми днями просиживали старики, живущие по соседству, — сплетничали, в теплую погоду дремали. Некоторые из них тоже все время кашляли. На самом деле они умирали, медленно и незаметно для окружающих, от болезни, которую тогда без особой скорби называли «литейной болезнью». Эти старики всю жизнь проработали на литейном заводе, расположенном в городке, а теперь сидели неподвижно, с изможденными желтыми лицами, кашляя, хихикая или разражаясь бессвязной похабщиной в адрес проходящих мимо женщин или девушки, едущей на велосипеде.

Однако из отцовского сарая доносился не только кашель, но и речь — непрерывное бормотание, обычно самую чуточку ниже того уровня громкости, на котором удается разобрать слова. Бормотание замедлялось, когда отцу попадалась особо сложная работа, и неслось бодрым потоком, если отец делал что-нибудь совсем простое, вроде ошкуривания или покраски. Время от времени из сарая вылетали отдельные разборчивые слова, отчетливо и абсурдно повисая в воздухе. Когда отец это понимал, он принимался для маскировки кашлять, а затем воцарялась необычная настороженная тишина.

«Макароны, пеперони, Боттичелли и бобы…»

Что это могло означать? Роза повторяла отцовские слова про себя. Отца она спросить не могла. Человек, произнесший эту фразу, и человек, что жил рядом с Розой как ее отец, были двумя разными людьми, хотя явно занимали одно и то же место в пространстве. Показать, что знаешь о существовании личности, которой здесь на самом деле нет, — чрезвычайно дурной тон, непростительный поступок. Но Роза все равно болталась у сарая и подслушивала.

«Башни гордые», — услышала она однажды.

«Все башни гордые, дворцы, палаты…»[1]

Эти слова оглушили Розу, словно ее хлопнули рукой по груди, — не больно, но ошарашивает. Ей пришлось обратиться в бегство, убраться подальше. Она знала, что услышанного достаточно, и к тому же что, если он ее застанет? Будет просто ужасно.

В этом было что-то общее со звуками из туалета. Фло скопила денег на то, чтобы оборудовать уборную в доме, но единственным местом, куда ее удалось приткнуть, оказался угол кухни. Дверь была плохо пригнана, стены картонные.

---

[1] Примечания: 1

Шекспир У. Буря. Акт IV, сц. 1. Перев. М. Кузмина.

В результате нельзя было даже кусок туалетной бумаги оторвать или перенести вес тела с одной ягодицы на другую, чтобы тебя не услышали сидящие, беседующие или едящие на кухне. В результате все домашние в подробностях изучили чревовещание друг друга — не только бурно протекающие процессы, но и нежнейшие вздохи, урчания, заявления и жалобы. Вся семья была крайне чопорна. Поэтому никто никогда вроде бы не слышал и не слушал и тем более никогда не комментировал. Человек, издающий звуки в туалете, не имел ничего общего с человеком, который оттуда выходил.

Они жили в бедной части городка. Был город Хэнрэтти, а был еще Западный Хэнрэтти — их разделяла река. В Хэнрэтти иерархия общества начиналась с врачей, дантистов и адвокатов, а в самом низу стояли рабочие литейного завода, фабричные рабочие и ломовые извозчики. В Западном Хэнрэтти иерархия начиналась с фабричных и заводских рабочих, а в самом низу были большие неимущие семьи контрабандистов спиртного, проституток и неудачливых воров. Роза считала, что ее семья стоит враскоряку — одна нога на одном берегу, другая на другом. Что они не принадлежат полностью ни к одной

из двух частей города. Но это была неправда. И их лавка, и сами они находились в Западном Хэнрэтти. Через дорогу от них была кузнечная мастерская — она стояла заколоченной примерно с начала войны — и дом, в котором когда-то располагалась другая лавка. В окне на фасаде до сих пор висела вывеска: «Чай „Салада“» — хозяева, видно, гордились ею как интересным украшением, хотя чая здесь давно уже не продавали. Тут же был тротуар — такой кривой и потрескавшийся, что катание на роликах исключалось, хотя Роза мечтала о роликовых коньках и часто представляла себе, как проносится по улице, модная и ловкая, в юбочке из шотландки. Здесь же стоял единственный уличный фонарь городка, подобный жестяному подснежнику; на этом городские удобства иссякали, и дальше шли проселочные дороги и заболоченные низины, палисадники с кучами мусора и дома чрезвычайно странного вида. Такой вид им придавали попытки предотвратить их полное физическое разрушение. Владельцы некоторых домов даже и не пытались ничего делать. Такие дома были серые, они прогнили и покосились, сливаясь с фоном из поросших кустами лощин, лягушачьих прудов, камышей и крапивы. Чаще, однако, владельцы

пытались чинить дома — для этого в дело шли рубероид, малочисленные новые черепицы, жестяные листы, расплющенные молотком обрезки печных труб и даже картон. То было, конечно, в предвоенные годы, которые потом считались эпохой легендарной бедности. Но Роза помнила из тех дней только низко расположенные вещи — грозного вида муравейники и деревянные ступеньки, а еще — прикрытый облаками, интересный, загадочный свет вселенной.

* * *

Сначала между Фло и Розой было долгое перемирие. Характер Розы рос и развивался, как колючий ананас, но медленно и тайно закоснелая гордость и скептицизм брали верх, и выходило что-то такое, что удивляло даже и саму Розу. Пока Роза была еще мала для школы, а Брайан — еще в колясочке, Роза все дни проводила в лавке с Фло и сводным братом: Фло сидела на высоком табурете за прилавком, а Брайан спал у окна. Роза стояла на коленях или лежала на животе на широких скрипучих досках пола и рисовала цветными мелками на кусках оберточной бумаги, которые Фло сочла слишком изодранными или неровно отрезанными, а потому непригодными для того,

чтобы заворачивать в них товар.

Покупали у них в основном те, кто жил по соседству. Заглядывали и деревенские по пути домой из города, и изредка — жители Хэнрэтти, зашедшие на другой берег. Некоторые местные обитатели все время маячили на главной улице, переходя из одного магазина в другой, словно их долгом было постоянно выставлять себя напоказ, а их правом — чтобы их всюду любезно привечали. Бекки Тайд, например.

Бекки Тайд входила в лавку к Фло, вскарабкивалась на прилавок и усаживалась, раздвигая товар, так, чтобы оказаться поближе к открытой жестянке песочного печенья с джемовой начинкой.

— Вкусное? — спрашивала она у Фло, нагло брала одно и принималась жевать. — Когда ты уже возьмешь нас на работу, а, Фло?

— Ты бы лучше в мясную лавку устроилась, — безмятежно отвечала Фло. — В мясную лавку, к своему брату.

— К Роберте? — восклицала Бекки с театральным презрением. — Ты думаешь, я дойду до такого?

Брата Бекки, владельца мясной лавки, звали Роберт, но часто называли Роберта — очень уж

он был кроткий и робкий. Бекки Тайд смеялась. Смеялась она громко и шумно, словно рядом набирал обороты мотор.

Бекки — карлица, громкоголосая, с большой головой, с бесполой залихватской походкой, как у марионетки или человечка-талисмана, болтающегося у ветрового стекла. Еще у нее был красный бархатный берет. Из-за искривленной шеи Бекки держала голову набок, всегда глядя снизу вверх и в сторону. Туфли у нее были маленькие, начищенные, на высоком каблуке, как у настоящей дамы. Роза смотрела на туфли, потому что вся остальная Бекки — этот смех и эта шея — ее пугали. От Фло Роза знала, что Бекки Тайд в детстве переболела полиомиелитом, и потому у нее кривая шея и она не выросла как положено. Очень трудно было поверить, что Бекки не родилась такой, что она когда-то была нормальной. Фло говорила, что Бекки не чокнутая — у нее не меньше мозгов, чем у кого другого, просто она знает, что ей все сойдет с рук.

— Ты же знаешь, что я раньше тут жила? — спрашивала Бекки, вдруг замечая Розу. — Эй, привет, как-тебя-звать! Я раньше тут жила, скажи, Фло?

— Если и жила, это было еще до меня, — отве-

чала Фло, словно бы ничего не зная.

— Еще до того, как тут стала помойка, уж извините. Мой отец построил тут дом и бойню тоже, и еще у нас был плодовый сад на пол-акра.

— В самом деле? — отзывалась Фло, как бы восхищаясь, с фальшивым удивлением и даже подобострастием. — А зачем же вы тогда отсюда уехали?

— Я же говорю, тут стала помойка, — отвечала Бекки.

Она могла засунуть в рот печенье целиком, если ей хотелось, — тогда щеки у нее раздувались, как у жабы. Никаких подробностей она никогда не рассказывала.

Но Фло, конечно, все равно знала, потому что знали все. Все знали и этот дом из красного кирпича, с вынесенной верандой, и плодовый сад — то, что от него осталось, заваленное обычным хламом: автомобильными сиденьями, стиральными машинами, пружинами от матрасов и прочим мусором. На фоне такой разрухи и хаоса дом никогда не выглядел зловеще, несмотря на то что в нем творилось когда-то.

По рассказам Фло, старик-отец Бекки был совсем иного рода мясником, нежели ее брат. Англичанин, со скверным характером. И на Бек-

ки, с ее злым языком, он тоже был не похож. Он вообще редко открывал рот. Скряга и семейный тиран. Когда Бекки переболела полиомиелитом, он не позволил ей вернуться в школу. Ее редко видели вне дома и никогда — за пределами двора. Отец не хотел, чтобы люди злорадствовали. Так сказала Бекки на суде. К этому времени ее мать умерла, а сестры вышли замуж. Дома остались только Бекки и Роберт. Люди останавливали Роберта на улице и спрашивали:

— Как там твоя сестра? Ей лучше стало?

— Да.

— Она по дому управляется? Готовит вам ужин?

— Да.

— А что твой отец? Он к ней по-хорошему?

Слухи гласили, что отец их бил — всех детей и жену тоже, но Бекки теперь бил сильней из-за ее уродства. Кое-кто считал, что и уродство Бекки — дело рук отца (они не понимали, что такое полиомиелит). Сплетни росли и развивались. Теперь оказалось, что Бекки держат подальше от людских глаз, потому что она беременна и отец ребенка — ее собственный отец. Потом стали говорить, что Бекки родила, а от ребенка избавились.

— Что?

— Избавились. Так тогда говорили: «Сходи к Тайду за бараньими котлетками, уж больно они у него нежные!» Но, скорей всего, врали, — с сожалением добавила Фло.

Слыша это сожаление и осторожность в голосе Фло, Роза иногда вздрагивала и отрывалась от окна, за которым ветер, забравшись в прореху, трепал изо всех сил полотняный навес. Когда Фло рассказывала — а это была не единственная из историй в ее репертуаре и даже не самая мрачная, — она склоняла голову набок и лицо у нее становилось мягкое, задумчивое, оно затягивало и одновременно предостерегало.

— Вообще напрасно я тебе все это рассказываю.

Затем рассказ продолжался.

Трое молодых лоботрясов, которые обычно околачивались на извозчичьем дворе, сговорились — или же их уговорили более влиятельные и уважаемые жители города — и решили выпороть старика Тайда извозчичьим кнутом для блага общественной нравственности. Лица они замазали сажей. Им выдали кнуты и по кварте виски на нос для храбрости. Это были: Джелли Смит, игрок в тотализатор и пьяница; Боб Темпл, бейсболист и

силач; и Котелок Неттлтон, который возил грузы на подводе, принадлежащей городу, — прозвище он получил за шляпу-котелок, который носил как из тщеславия, так и для смеха. (Кстати сказать, в дни, когда Фло рассказывала эту историю Розе, Котелок по-прежнему работал ломовым извозчиком; он сохранил если и не шляпу, то прозвище, и его часто видели на людях — почти так же часто, как Бекки Тайд; он доставлял мешки с углем, и от этого лицо и руки у него были черные. Это должно было бы напомнить людям историю с мясником, но не напоминало. Настоящее и прошлое — мелодраматически преступное былое из рассказов Фло — никак не стыковались, во всяком случае для Розы. Люди настоящего не вмещались в прошлое. Сама Бекки, городская чудачка и любимица публики, безвредная злючка, никак не могла быть тем же человеком, что пленница мясника, дочь-калека, белое пятнышко в окне: немая, избиваемая, насильно оплодотворенная. Так же и дом, в котором все это происходило, никак не вязался с теперешним домом — их общность была чисто формальной.)

Парни набрались духу для порки и пришли к дому Тайда поздно вечером, когда семья уже легла спать. У парней было ружье, но они стали

стрелять в воздух во дворе и истратили все патроны. Они начали орать, чтобы мясник вышел, и колотить в дверь; в конце концов они ее выбили. Тайд решил, что это грабители пришли за его деньгами, завернул в носовой платок несколько купюр и послал Бекки с платком вниз: может быть, надеялся, что вид маленькой кривошеей девочки, карлицы, тронет или, наоборот, испугает пришельцев. Но их это не удовлетворило. Они поднялись наверх и выволокли мясника в ночной рубашке из-под кровати. Они вытащили его на улицу и поставили босиком на снег. Было четыре градуса ниже нуля — этот факт потом установили в суде. Парни хотели устроить показательный суд над мясником, но не смогли вспомнить, как это делается. Поэтому они стали его бить и били, пока он не упал. Они орали на него: «Ты мясо!» — и продолжали бить, пока его ночная рубашка и снег, на котором он лежал, не покраснели. Сын мясника, Роберт, говорил потом на суде, что не смотрел на избиение. Бекки показала, что он сначала смотрел, но потом убежал и спрятался. Сама она смотрела с начала до конца. Она видела, как парни наконец ушли и как ее отец медленно, оставляя кровавый след, тащился по снегу двора и потом по ступеням на веранду. Она не вышла

ему помочь и не открыла входную дверь, пока мясник до нее не дополз. Почему, спросили ее на суде, и она ответила, что не вышла, потому что была в одной ночной рубашке, а дверь не стала открывать, чтобы не напустить холоду.

Затем старик Тайд вроде бы оправился. Он послал Роберта седлать лошадь, а Бекки заставил нагреть воды для мытья. Помывшись, он оделся, взял все свои деньги и, не сказав ни слова детям, уехал на санях в Белгрейв, где оставил лошадь привязанной на холоде и сел на утренний поезд в Торонто. В поезде он вел себя странно — стонал и ругался, словно пьяный. Через день его подобрали на улице в Торонто — он был в жару и бредил — и положили в больницу, где он и умер. Все деньги так и были при нем. В качестве причины смерти указали пневмонию.

Но, рассказывала дальше Фло, власти пронюхали, что случилось. Дело дошло до суда. Все трое виновных получили большие тюремные сроки. Это была комедия, сказала Фло. Не прошло и года, как все трое были на свободе, им выхлопотали помилование, их уже ждали рабочие места. А почему же? Да потому, что слишком много важных шишек было во всем этом замешано. А Бекки и Роберт как будто бы и не хотели искать справед-

ливости. Они унаследовали неплохие деньги. Купили дом в Хэнрэтти. Роберт взял на себя лавку отца. Что до Бекки, то ее заточение кончилось и она стала вести активную светскую жизнь.

Вот и все. Фло прервала рассказ, будто крышку захлопнула — будто ее от этой истории тошнило. В ней все показали себя не лучшим образом.

— Только подумать, — говорила Фло.

Самой Фло в то время было лет тридцать с небольшим. Молодая. Одевалась она, впрочем, точно так, как могла одеваться женщина в пятьдесят, шестьдесят или даже семьдесят лет: домашние платья-халаты из набивного ситца, свободные не только в поясе, но и в проймах и горловине, и фартуки с нагрудником, тоже из набивного ситца, которые она снимала, выходя из кухни в лавку. Тогда это была обычная одежда бедной, но не нищей женщины; для Фло это был также в каком-то смысле сознательный выбор, выражающий презрение. Фло презирала женские брюки, презирала людей, пытающихся одеваться стильно, презирала помаду и завивку-перманент. Черные волосы она стригла «под горшок», оставляя ровно такую длину, чтобы можно было заправлять за уши. Она была высокая, но тонкокостная, с узкими запястьями и плечами,

маленькой головой и бледным, веснушчатым подвижным, обезьяньим личиком. Она могла бы быть хорошенькой — бледная, черноволосая, хрупкая красота, плод усилий, — будь у нее на то желание и возможности. Но Роза поняла это лишь потом. Впрочем, для такого Фло должна была бы быть совершенно другим человеком, — в частности, ей пришлось бы отучиться строить рожи себе самой и другим.

Первые воспоминания Розы, относящиеся к Фло, содержали в себе необыкновенную мягкость и жесткость. Мягкие волосы, длинные мягкие бледные щеки, мягкий и почти невидимый пушок перед ушами и на верхней губе. Острые колени, на которых так жестко было сидеть, и плоская грудь.

Когда Фло пела:

Здесь на деревьях растут сигареты,
Слышали, может, про чудо про это?
Здесь лимонадные реки текут,
Яйца вкрутую куры несут...[2] —

Роза вспоминала о прежней жизни Фло. До

[2] Примечания: 2

Здесь и далее, если не указано иное, перевод стихов выполнен Д. Никоновой.

замужества Фло работала подавальщицей в кофейне на центральном вокзале в Торонто; она ездила с подружками, Мэвис и Айрин, гулять на Центральный остров, ее преследовали по темным улицам мужчины, и она умела управляться с телефонами и лифтами. В голосе Фло Розе слышалась типичная для жителя большого города безрассудная привычка к опасности, готовность отбрить кого угодно, не выпуская жвачки изо рта.

А когда она пела:

И тихо-тихо подошла,
И тихо рядом встала,
И говорит ему: «Беда,
Ты умираешь, малый!»

Роза думала еще об одной жизни Фло — жизни, лежащей еще глубже, раньше, заполненной людьми-легендами: в этой жизни были Барбара Аллен[3], отец Бекки Тайд и разные другие преступления и злоключения, все сбитые в одну кучу.

---

[3] Примечания: 3

Героиня процитированной выше одноименной шотландской баллады, известной с XVII в.

* * *

Королевские взбучки. Как они начались?

Представьте себе весенний субботний день. Листья еще не распустились, но люди уже оставляют нараспашку двери, чтобы в дома лился солнечный свет. Вороны. Канавы полны талой воды. Такая погода вселяет надежду. По субботам Фло часто оставляла Розу присматривать за лавкой — это было несколько лет назад, когда Розе было лет девять-двенадцать, — а сама шла по мосту в Хэнрэтти («в город», как это у них называлось), чтобы там походить по магазинам и послушать, что люди говорят. К этим людям относились, например, миссис Дэвис, жена адвоката, миссис Хенли-Смит, жена англиканского священника, и миссис Маккей, жена ветеринара. Придя домой, Фло за ужином передразнивала их: высокопарные реплики, манерные голоса. В ее исполнении они казались чудовищами: монстрами глупости, тщеславия и самодовольства.

Другой раз, на пути домой, она увидела у моста — у городского конца моста — парнишку в синей куртке. Он вроде бы смотрел на воду. Лет восемнадцать-девятнадцать. Фло его не знала. Тощенький дохляк на вид — с ним явно что-то было

не так, Фло это сразу поняла. Может, собрался топиться? Стоило Фло поравняться с ним, что бы вы думали он сделал? Повернулся к ней и распахнул куртку, а заодно с курткой и штаны. Замерз, должно быть, — день был такой зябкий, что Фло изо всех сил запахивалась в собственное пальто.

Увидев, что у парня в руке, Фло, по ее словам, поначалу подумала: что это он тут делает с колбасой?

Она могла такое сказать. Она преподносила это как искренность, а не шутку. По ее словам, она терпеть не могла, когда несут похабщину. Она часто выходила и кричала старикам, сидящим перед ее лавкой:

— Ну-ка не смейте сквернословить, а то я вас живо прогоню отсюда!

Итак, суббота. Фло почему-то не пошла «в город», а решила остаться дома и отскоблить пол на кухне. Может быть, от этого она не в духе. А может, она сегодня вообще не в духе — оттого ли, что покупатели не платят по счетам, или от весеннего брожения чувств. Ее борьба с Розой уже началась — уже идет словно целую вечность, как сон, уходящий далеко в другие сны, через холмы и дверные проемы, сводящий с ума многолюдьем и расплывчатостью, знакомый и ускользающий.

Перед мытьем пола Фло и Роза вытаскивают из кухни все стулья, а также сложенные там запасы магазинных товаров — ящики с консервами, жестянки с кленовым сиропом, канистры с керосином, бутыли уксуса. Все это они выносят в дровяной чулан. Брайан, которому в это время лет пять или шесть, тоже помогает — таскает жестянки волоком.

— Да, — говорит вдруг Фло, обретая потерянную нить нашего рассказа, — кстати, о той гадости, которой ты научила Брайана.

— Какой гадости?

— А он, невинное дитя, все повторяет.

Выходя из кухни в дровяной чулан, надо спуститься на одну ступеньку. Ступенька покрыта ковром, таким изношенным, что Роза даже не помнит, какой на нем был узор. Брайан, таща жестянку, сдвигает ковер с места.

— Два Ванкувера, — тихо говорит она.

Фло уже вернулась на кухню. Брайан смотрит на Фло, потом опять на Розу, и Роза повторяет чуть громче, нараспев, подсказывая:

— Два Ванкувера…

— …в соплях! — подхватывает Брайан, не в силах удержаться.

— И две жопы…

— …в хрусталях!

Вот она. Гадость.

Два Ванкувера в соплях!

И две жопы в хрусталях!

Роза выучила этот стишок много лет назад. Когда только что пошла в школу. Она тогда пришла домой и спросила Фло:

— Что такое ванкувер?

— Город такой. Далёко отсюда.

— А если не город, то что?

— Что значит «если не город»? — уточнила Фло.

— Ну… как город может быть в соплях? — сказала Роза, приближая опасный момент, восхитительный момент, когда ей придется выложить все целиком.

«Два Ванкувера в соплях! / И две жопы в хрусталях!»

— Ну, ты у меня получишь! — завопила Фло во вполне предсказуемой ярости. — Еще раз повтори, и получишь хорошенько!

Роза не могла остановиться. Она нежно мурлыкала про себя это двустишие. Она пыталась произносить вслух только невинные слова, а другие — мычать под сурдинку. Дело было не

только в запретных «жопах» и «соплях»: дело было в невозможном положении Ванкуверов среди хрусталей и соплей и в невообразимости этих Ванкуверов. Роза видела «ванкуверы» мысленным взором — они представлялись ей чем-то вроде осьминогов, судорожно сокращающихся в кастрюле. Крушение здравого смысла, ликующий фейерверк безумия…

Недавно Роза вспомнила этот стишок и научила ему Брайана — просто чтобы посмотреть, подействует ли так же и на брата. Разумеется, стишок оказал точно такое же действие.

— Я тебя слышала! — кричит Фло. — Все слышала! И я тебя предупреждаю!

Верно, она предупреждает. Брайан принимает предупреждение к сведению. Он выбегает из дому через дверь дровяного чулана, чтобы заняться, чем его душа пожелает. Он мальчик — а значит, не обязан помогать, если ему не хочется. Он не обречен на вечную борьбу с домашним хозяйством. Впрочем, он тут и не нужен — Роза и Фло используют его только как оружие друг против друга и едва замечают, что он ушел. Они продолжают — не могут не продолжать, не могут оставить друг друга в покое. Даже если кажется, что им надоело, это значит всего лишь, что они

сидят в засаде и разводят пары́.

Фло приносит ведро, щетку, тряпку для пола и подушечку для коленей — грязно-красную, резиновую. Она принимается тереть пол. Роза сидит на кухонном столе — больше в кухне сидеть уже негде — и болтает ногами. Клеенка прохладная: Роза чувствует это кожей, потому что на ней шорты — прошлогодние, тесные и выгоревшие на солнце, вытащенные из мешка с летней одеждой. Они чуть-чуть припахивают сыростью после зимнего хранения.

Фло ползает внизу — она трет пол щеткой и вытирает тряпкой. У нее длинные белые мускулистые ноги, сплошь покрытые сеткой вен, словно кто-то нарисовал карту рек химическим карандашом. В скрежете щетки о линолеум и в свисте тряпки слышится чудовищный накал, яростное отвращение.

Что они говорят друг другу? Это не важно на самом деле. Фло упоминает манеру падчерицы «умничать», ее грубость, неопрятность и заносчивость. То, что она постоянно добавляет работы другим, и ее неумение быть благодарной. То, что она развращает невинного Брайана. «Ты вообще никто, — говорит Фло и тут же: — Кем ты себя воображаешь?»

Роза опровергает ее слова и возражает — с ядовитейшей рассудочностью и кротостью, с хорошо сыгранной безмятежностью. Фло теряет свое обычное презрительное самообладание и сама начинает играть, словно актриса, удивительно страстно. Она заявляет, что принесла свою жизнь в жертву ради Розы. Увидела ее отца с обузой на руках, дочерью-младенцем, и подумала: что теперь делать этому человеку? И вышла за него замуж, и вот теперь ползает на коленках.

Тут звонит колокольчик — в лавку вошел покупатель. Поскольку ссора в разгаре, Розе не разрешают выйти обслужить его. Фло встает, со стоном стягивает фартук — впрочем, этот стон не часть разговора, и Розе не разрешено разделить звучащее в нем негодование, — выходит в лавку и обслуживает покупателя. Роза слышит ее нормальный голос:

— Да и пора уже! В кои-то веки!

Фло возвращается и снова надевает фартук, готовая вновь приняться за полы.

— Ты никогда ни о ком не думаешь, кроме себя! Никогда не думаешь обо всем, что я для тебя делаю.

— А я тебя никогда и не просила ничего для меня делать. Вот и не делала бы. Мне было бы

только лучше.

Говоря это, Роза глядит прямо в лицо Фло и улыбается. Фло еще не опустилась на колени. Она видит улыбку, хватает половую тряпку, висящую на краю ведра, и швыряет в Розу. Возможно, она целилась в лицо, но тряпка падает Розе на ногу, и Роза ловит ее ступней, небрежно крутанув вокруг лодыжки.

— Ну все, — говорит Фло. — Наконец ты своего добилась. Ну ладно же.

Роза смотрит, как Фло выходит в дровяной чулан, топает по чулану, на миг замирает в дверном проеме, где еще не успели повесить сетку от насекомых, а внешняя дверь стоит нараспашку, подпертая кирпичом. Фло зовет отца Розы. Она зовет его предостерегающим, зловещим голосом, словно против своей воли вынуждена подготовить его к плохим вестям. Вот сейчас он у нее узнает, что случилось.

Пол на кухне покрыт линолеумом с пятью или шестью разными узорами. Это обрезки и остатки, которые Фло добыла забесплатно и ловко пригнала один к другому при помощи полосок жести и обойных гвоздиков. Сидя на столе в ожидании, Роза смотрит на пол — на увлекательную систему прямоугольников, треугольников и каких-то

других геометрических фигур, название которых она пытается вспомнить. Она слышит, как возвращается Фло — через дровяной чулан, по мостку из скрипучих досок, положенных прямо на земляной пол. Фло тянет время — она тоже ждет. Они с Розой больше не могут продолжать битву своими силами.

Роза слышит, как в дом входит ее отец. Она застывает, по ногам пробегает дрожь, и Роза снова ощущает бедрами клеенку. Отец, которого оторвали от какой-то мирной, сосредоточенной работы, от слов, звучащих у него в голове, от самого себя, должен что-нибудь сказать. И он говорит:

— Ну? Что у вас стряслось?

Начинает звучать другой голос — Фло. Богатый оттенками, полный боли, извиняющийся — как будто она изготовила его специально к случаю. Фло просит прощения у отца, что оторвала его от работы.

Она бы ни за что не стала этого делать, если бы Роза ее не довела. Каким образом довела? Нахальными ответами, наглостью и грязным языком. Если бы сама Фло осмелилась сказать такое собственной матери, отец ее с землей сровнял бы, она точно знает.

Роза пытается вклиниться в разговор, сказать, что это неправда.

Отец поднимает ладонь и говорит, не глядя на нее: «Тихо».

Говоря, что это неправда, Роза имеет в виду, что не она начала этот разговор, что она лишь ответила, что Фло ее спровоцировала: по ее мнению, Фло сейчас откровенно лжет, передергивая события так, как ей удобно. Роза не упоминает другой факт, который ей также известен: на самом деле, что бы ни сказала и ни сделала Фло, что бы ни сказала и ни сделала сама Роза, это совершенно не важно. Важна борьба как таковая, а ее остановить нельзя, она не остановится, даже дойдя до того места, где они находятся сейчас.

У Фло грязные коленки, хоть она и подкладывала под них подушечку. У Розы на ноге еще висит половая тряпка.

Отец вытирает руки, слушая жалобы Фло. Он не торопится. Ему всегда нужно время, чтобы вникнуть в суть происходящего, он уже заранее утомлен и, может быть, вот-вот отвергнет роль, которую ему навязывают. Он не смотрит на Розу, а стоит ей шевельнуться или пикнуть, он останавливает ее жестом ладони.

— Ну, зрители нам тут не нужны, это уж точ-

но, — говорит Фло, выходит в лавку, запирает ее и вешает в окне табличку: «Скоро вернусь».

Табличку сделала для нее Роза, тщательно вывела завитушки букв и рельефные тени красным и черным карандашом. Вернувшись на кухню, Фло захлопывает дверь, ведущую из лавки, потом — дверь на лестницу, потом — дверь в дровяной чулан.

От ее башмаков остаются следы на чистой мокрой части пола.

— О, я не знаю, — говорит она. Эмоциональный накал в ее голосе явно спадает. — Я не знаю, что мне с ней делать.

Она ловит взгляд Розы, смотрит на свои колени и начинает яростно тереть их, размазывая грязь.

— Она меня унижает, — продолжает Фло, выпрямляясь. Вот оно, объяснение. — Она меня унижает, — со вкусом повторяет Фло. — Никакого уважения.

— Неправда!

— А ну, тихо! — говорит отец.

— Если б я не позвала твоего отца, ты бы так и сидела тут и лыбилась нахально! Что прикажешь с тобой делать?

Роза чувствует, что отец не полностью приемлет риторику Фло, что в нем поднимается

некое замешательство, протест. Она ошибается и должна была бы понимать, что ошибается. То, что она знает — и он знает, что она знает, — никак ей не поможет. Он начинает заводиться. Он взглядывает на Розу. Взгляд поначалу холодный, вызывающий. Он информирует Розу о вынесенном приговоре и о безнадежности ее положения. Потом взгляд светлеет и начинает наполняться чем-то другим, как родник наполняется чистой водой, если убрать из него опавшие листья. Ненавистью и наслаждением. Роза это видит и знает. Может быть, это лишь описание гнева, — может быть, его глаза наполняются гневом? Нет. «Ненависть» — точное слово. И «наслаждение» — тоже точное. Лицо отца размякает, меняется, молодеет, и он снова поднимает руку — теперь уже чтобы остановить Фло.

— Ладно, — говорит он, имея в виду, что она сказала уже достаточно и более чем достаточно, что эта часть разговора окончена и можно двигаться дальше. Он принимается расстегивать ремень.

Но Фло уже и без того замолчала. Ей, точно так же как и Розе, трудно поверить, что неотвратимое действительно должно случиться, что настает момент, когда обратно уже не повернуть.

— Ну я не знаю, может, не надо уж так стро-

го. — Фло нервно перемещается по кухне, будто намереваясь открыть какой-то запасный выход для бегства. — Может, не надо ремнем? Неужели обязательно ремнем?

Отец не отвечает. Ремень неторопливо высвобождается. Рука сжимается вокруг подходящей точки. Так, ну-ка поди сюда. Отец подходит к Розе. Сталкивает ее со стола. Лицо, как и голос, неуместны. Отец, как плохой актер, переигрывает до гротеска. Он словно чувствует себя обязанным смаковать именно самую позорную и ужасную часть происходящего, настаивать на ней. Нельзя сказать, что он притворяется — что это игра и сам он ничего такого не чувствует. Это игра, и он все это чувствует. Роза знает — она все про него знает.

Гораздо позже она размышляла про убийства и убийц. Может быть, убийства доводятся до конца в том числе ради эффекта — чтобы доказать нечто единственному зрителю, который уже не сможет ни с кем поделиться, сможет лишь осознать полученный урок, состоящий в том, что такое возможно, что ничего невозможного нет, что даже самая ужасная выходка оправданна и можно найти в себе чувства под стать ей?

Роза пытается смотреть не на отца и его ре-

мень, а снова на пол — на ловко пригнанные геометрические фигуры, в которых есть что-то утешительное. Как может все это происходить на глазах у таких обыденных свидетелей — линолеума, календаря с мельницей, ручьем и пожелтевшими деревьями, давно знакомых сковородок и кастрюль?

— А ну, вытяни руку!

Нет, все эти вещи ей не помогут — ни одна из них ее не спасет.

Они становятся никакими, бесполезными, даже враждебными. Горшки умеют злобно ухмыляться, узоры линолеума — скалиться, предательство — оборотная сторона ежедневной рутины.

После первой или второй вспышки боли Роза отскакивает назад. Она не намерена терпеть. Она мечется по комнате, пытаясь добраться до дверей. Отец преграждает ей путь. Похоже, в ней нет ни грамма отваги, никакого стоицизма. Она бежит, кричит, умоляет. Отец преследует ее, хлеща ремнем при всякой возможности, потом бросает ремень и начинает действовать руками. Затрещина по одному уху, по другому. Голова мотается, у Розы звенит в ушах. Удар по лицу. Он впечатывает ее в стену и снова бьет по лицу. Трясет, колотит о стену, пинает по ногам. Она ни-

чего не соображает, потеряла рассудок, визжит. Я больше не буду! Прости, пожалуйста, я больше не буду!

Фло тоже кричит. Хватит, хватит!

Он швыряет Розу на пол. А может, она сама падает на пол. Он снова пинает ее по ногам. Она уже забыла все слова и только издает звуки, от которых Фло восклицает:

— Ох, что, если кто-нибудь услышит?

Этот крик — знак униженности, поражения, капитуляции. По-видимому, Роза должна сыграть свою роль так же отвратительно преувеличенно, как отец играет свою. Она изображает жертву так самозабвенно, что возбуждает у отца — возможно, она на это и надеется — окончательное, тошнотное презрение.

Похоже, они готовы любые усилия затратить, дойти до чего угодно.

Не совсем. Отец ни разу не нанес Розе настоящих увечий, хотя по временам она и мечтает об этом. Он бьет открытой ладонью и пинает не в полную силу.

Вот он останавливается, тяжело дыша. Он подпускает Фло поближе, хватает Розу и с возгласом отвращения пихает ее в сторону Фло. Та перехватывает Розу, открывает дверь на лестницу и

толкает Розу вверх по ступеням:

— Ступай в свою комнату! Живо!

Роза бредет вверх по лестнице, шатаясь — позволяя себе шататься, позволяя себе падать на ступеньки. Она не хлопает дверью, потому что это может снова навлечь гнев отца, да у нее и сил для этого нет. Она падает на кровать. Через дымоход слышно, как Фло хлюпает носом и упрекает отца, а он гневно парирует: ну и молчала бы тогда, раз не хотела, чтобы я ее наказывал, нечего было жаловаться. Фло говорит, что никогда не просила так колотить.

Они начинают препираться. Испуганный голос Фло крепнет, снова обретает уверенность. В этом споре они постепенно становятся прежними, обычными. Вот уже говорит только Фло: отец потерял интерес. Розе приходится умерить свои шумные рыдания, чтобы слышать разговор, и когда ей надоедает слушать и она хочет еще порыдать, то у нее не выходит. Она достигла спокойствия — особого спокойствия, в котором ярость воспринимается как полная и окончательная. В таком состоянии события и перспективы приобретают дивную простоту. Открывающиеся перед ней возможности, к счастью, предельно ясны. Она никогда не скажет ни слова отцу и Фло,

будет смотреть на них исключительно с ненавистью, никогда их не простит. Она их накажет; она их прикончит. Окутанная этой последней решимостью и физической болью, она плывет в странном блаженстве — вне себя, вне всякой ответственности.

А что, если она сейчас умрет? А что, если она покончит с собой? А что, если она сбежит из дому? Любой из этих поступков будет оправданным. Нужно только выбрать что-то и выработать план действий. Она парит в этом состоянии чистого превосходства, словно в милосердном дурмане наркотика.

Так бывает с наркотиком — чувствуешь себя в абсолютной безопасности, уверенный, что ты недостижим, и вдруг внезапно, без предупреждения, в следующий же миг осознаешь, что вся твоя защита бесповоротно разрушена, хоть и кажется целой. Вот и для Розы настает такой момент, когда она слышит шаги Фло на лестнице, — момент, вмещающий в себя как сиюминутный покой и свободу, так и совершенно четкую картину катастрофического развития событий начиная с сегодняшнего дня.

Фло входит в комнату Розы без стука, но чуть неуверенно, — видно, ей приходит в голову, что

можно было бы и постучать. Фло несет баночку кольдкрема. Роза пользуется своим тактическим преимуществом: лежит, пока может, лицом вниз на кровати, не отвечая и вообще никак не показывая, что знает о присутствии Фло.

— Да ладно, — говорит Фло, которой явно не по себе. — Не так уж и больно, а? Вот, помажься, и все пройдет.

Она блефует. Она не знает точно, какие травмы нанесены Розе. Она снимает крышку с баночки. Роза слышит запах. Интимный, младенческий, унизительный. Она не собирается подпускать к себе Фло, у которой уже наготове в руке большая плюха крема. Но, сопротивляясь, Роза вынуждена шевелиться. Она поневоле брыкается и всячески теряет лицо, и Фло понимает, что никаких страшных повреждений у Розы нет.

— Ну хорошо, — говорит Фло. — Твоя взяла. Я поставлю банку тут, а ты сама намажешься, когда захочешь.

Чуть позже появится поднос. Фло поставит его у кровати, не сказав ни слова, и уйдет. На подносе — большой стакан шоколадного молока с сиропом «Вита-мальт», что продается в лавке. На дне стакана видны жирные потеки «Вита-мальта». Маленькие сэндвичи, аккуратные, манящие.

Консервированный лосось высшего качества, самый красный, и много майонеза. Одна-две корзиночки с сахарно-масляной начинкой (их покупают упаковками в кондитерской), шоколадное печенье с мятной прослойкой. Это любимые Розины сэндвичи, любимые пирожные, любимое печенье. Оставленная наедине с лакомствами, она будет отворачиваться, не желая смотреть. Но ее, взбудораженную и несчастную, отвлечет от мыслей о самоубийстве и побеге запах лососины, предвкушение хрусткости шоколада, и она не выдержит соблазна и протянет руку — только провести пальцем по краю одного сэндвича (корка с хлеба срезана!), снять избыток начинки, ощутить вкус. Потом она решит съесть один, чтобы хватило духу отвергнуть остальные. Если съесть только один, это будет незаметно. Скоро, не в силах удержаться от морального падения, она прикончит все. Выпьет шоколадное молоко, съест корзиночки и печенье. Пальцем соберет остатки солодового сиропа со дна стакана, не переставая хлюпать носом от стыда. Слишком поздно.

Фло придет и заберет поднос. Она скажет что-нибудь вроде «Вижу, аппетит у тебя не пропал» или «Как шоколадное молоко, не мало сиропа?»

— в зависимости от того, насколько виноватой себя чувствует. В любом случае стратегическое преимущество Розы будет потеряно. Роза поймет, что жизнь началась заново, что они снова соберутся всей семьей за столом и будут есть и слушать новости по радио. Завтра утром — может, даже и сегодня вечером. Хотя это кажется неправдоподобным и нелепым. Они будут испытывать замешательство — но относительно небольшое, если принять во внимание, как они себя вели. Их охватит странная истома, сродни апатии выздоравливающего, чем-то близкая к удовлетворению.

Как-то вечером после очередной такой сцены они сидели на кухне. Кажется, летом, — во всяком случае, было тепло, потому что отец заговорил о стариках, коротающих дни на лавочке перед магазином.

— Ты знаешь, о чем они сейчас говорят? — спросил отец, мотнув головой в сторону лавки, чтобы показать, кого имеет в виду, хотя, конечно, сейчас стариков там уже не было, они ушли домой.

— Старые козлы, — заметила Фло. — О чем?

В репликах отца и Фло звучала сердечность — не то чтобы фальшивая, но слегка подчеркнутая, преувеличенная по сравнению с обычным

разговором в отсутствие гостей.

Отец тогда сказал: старики где-то подцепили идею, что эта штука в западной части неба, похожая на звезду, — первая, что появляется после захода солнца, — на самом деле воздушный корабль, зависший над городом Бэй-Сити в штате Мичиган, на том берегу озера Гурон. Американское изобретение — американцы повесили его в небе, чтобы оно соперничало с небесными телами. Старики единодушно верили в эту теорию — она укладывалась в их представление о мире. По их мнению, эта штука освещалась светом десяти тысяч электрических лампочек. Отец Розы безжалостно спорил с ними, объяснял, что это планета Венера, которая висела в небе задолго до изобретения электрических лампочек. Старики никогда не слыхали о планете Венера.

— Какие невежды! — сказала Фло.

Роза тут же поняла — и знала, что отец тоже понял, — что и Фло никогда не слыхала о планете Венера. Чтобы отвлечь их, а может, чтобы косвенно извиниться, Фло поставила чашку на стол и вытянулась в воздухе меж двух стульев: голова на том, на котором Фло только что сидела, а ступни опираются о другой. Непонятно, когда она при этом успела целомудренно зажать подол

юбки меж колен. Тело было прямое как доска. Брайан в восторге закричал:

— Сделай трюк! Сделай трюк!

Фло была очень гибкая и очень сильная. В минуты особой радости или если нужно было отвлечь всеобщее внимание, она исполняла акробатические трюки.

Семья молча смотрела, как Фло поворачивается, не помогая себе руками, — только отталкивается сильными ногами, упираясь ступнями. Потом все торжествующе закричали, хотя видели этот трюк и раньше.

Когда Фло поворачивалась, Розе представился тот воздушный корабль — прозрачный продолговатый пузырь, унизанный цепочками алмазных огней, плывущий в полном чудес американском небе.

— Планета Венера! — воскликнул отец, аплодируя Фло. — Десять тысяч электрических лампочек!

В комнате царила атмосфера снисходительности, расслабленности, даже с привкусом счастья.

* * *

Годы спустя, много лет спустя, воскресным утром Роза включила радио. К тому времени она

жила уже одна, в Торонто.

— Ну что вам сказать! Тогда совсем другая жизнь была. Совсем. Тогда всё были лошади. Лошади и телеги. Гонки устраивали на двуколках, вдоль главной улицы, по субботам, вечером.

— Совсем как гонки колесниц, — говорит голос ведущего или интервьюера, гладкий, подбадривающий.

— Этих я сроду не видал.

— Нет, сэр, я говорю про древних римлян. Задолго до вас.

— Да уж, должно быть, еще до меня. Мне сто два года, вот как.

— Замечательный возраст, сэр.

И впрямь.

Роза оставила радио включенным, пока возилась на кухне, варя себе кофе. Ей показалось, что это интервью ненастоящее, что это сцена из какой-то пьесы, и даже захотелось узнать, что за пьеса. Так воинственно и тщеславно звучал голос старика, так безнадежно и встревоженно — под верхним слоем натренированной мягкости и спокойствия — голос интервьюера. Как будто все рассчитано на то, чтобы радиослушатели представили себе журналиста, который подносит микрофон беззубому, гордому собой столетнему

старцу и при этом думает: «Что я здесь вообще делаю и о чем мне с ним говорить дальше?»

— Должно быть, это было опасно.

— Что опасно?

— Гонки двуколок.

— И еще как! Опасно. Лошадь, бывало, понесет. Несчастных случаев было много. Бывало, парня потащит по гравию и все лицо ему раскровянит. Если б насмерть убило, крику было бы куда меньше.

Пауза.

— Были лошади с высоким шагом. А некоторым приходилось горчицу под хвост совать. Некоторые не желали выступать, хоть ты чего. Такие уж они, лошади-то. Одни будут работать, пока не свалятся, а другие тебе не помогут и хер из котелка со смальцем вытащить. Хе-хе.

Значит, интервью все-таки настоящее. Иначе эти слова не выпустили бы в эфир, не рискнули бы. Но если старик такое сказал, то это ничего. Местный колорит. В устах столетнего старца все звучит невинно и очаровательно.

— Несчастные случаи тогда все время были. На фабрике. На литейном. Защиты всякие не придумали еще.

— Наверно, забастовок тогда было меньше? И

профсоюзов тоже?

— Сейчас народ обленился. Мы тогда работали и рады были, что работа есть. Рады были, что работа есть.

— Телевизоров у вас тогда не было.

— Не-а, не было тиливизеров. Радива тоже не было. И кина.

— Так что вы сами себя развлекали как могли.

— Точно, так оно и было.

— Должно быть, вы приобретали уникальный опыт, как не суждено нынешней молодежи.

— Опыт…

— А вы не могли бы нам рассказать что-нибудь об этом?

— Я однажды сурчатину ел. Зимой как-то. Вы бы такое в рот не взяли. Хе…

Воцарилась благоговейная пауза, а потом интервьюер сказал:

— Вы слышали интервью, которое мы взяли у мистера Уилфреда Неттлтона из города Хэнрэтти в провинции Онтарио, в день, когда ему исполнилось сто два года, за две недели до его кончины прошлой весной. История ожила у нас на глазах. Интервью с мистером Неттлтоном проводилось в ваванашском доме престарелых.

Котелок Неттлтон.

Наемный бандит стал столетним старцем. Его фотографировали в день рождения, над ним суетились сиделки, наверняка его поцеловала девушка-репортер. Хлопки фотовспышек. Магнитофон впитывает звуки его голоса. Старейший житель. Старейший бандит. История оживает у нас на глазах.

Роза смотрела из окна кухни на замерзшее озеро, и ей безумно хотелось кому-нибудь рассказать. Вот Фло с удовольствием послушала бы. Розе представилось, как Фло восклицает: «Подумать только!» — и по тону ясно, что ее худшие предчувствия подтвердились. Но Фло сейчас была там же, где в прошлом году умер Котелок Неттлтон, и поговорить с ней не удалось бы никому. Фло была там и во время записи интервью, хотя, конечно, не слышала его и даже не знала о нем. Когда Роза поместила Фло в дом престарелых — года за два до того, — Фло перестала разговаривать. Она ушла в себя и бóльшую часть времени проводила забившись в угол койки — лицо у нее было хитрое и сварливое, и она не отвечала тем, кто пытался с ней говорить, хотя время от времени и давала выход чувствам, кусая сиделок.

Привилегия

Многие знакомые Розы любили сожалеть вслух о том, что не родились бедняками. Так что Роза, пользуясь возможностью побыть в центре внимания, пересказывала им всякие ужасные случаи и живописные детали нищеты из своего детства. Туалет для мальчиков и туалет для девочек. Старый мистер Бернс у себя в туалете. Коротышка Макгилл и Фрэнни Макгилл в предбаннике туалета для мальчиков. Роза не старалась нарочно развивать тему отхожих мест и сама была удивлена тем, как часто они всплывали в ее воспоминаниях. Она знала, что маленькие, стоящие на отшибе домики — потемневшие или, наоборот, ярко раскрашенные — должны по идее вызывать смех; и действительно, сортирная тема занимала большое место в деревенском юморе. Но для самой Розы туалеты были местами чудовищного стыда и позорных деяний.

Туалет для мальчиков и туалет для девочек были оборудованы закрытыми с боков предбанниками — это позволяло обойтись без дверей. Все равно снег задувало внутрь через щели меж

досками и через глазки́ от выпавших сучков, которые использовались для подглядывания. Многие посетители туалета будто намеренно пренебрегали дырой. В кучах снега, покрытых сверху корочкой льда там, где снег подтаял, а потом опять замерз, лежали, словно под стеклом в музее, другие кучки — группами или одинокие, черные, как уголь, ярко-желтые, как горчица, и всех промежуточных цветов. У Розы при виде этого все внутри переворачивалось; ею овладевало отчаяние. Она мешкала в дверном проеме, не могла себя пересилить и решала подождать. Раза два-три она в результате обмочилась по дороге домой, от школы до лавки, хоть там и было недалеко. Фло всячески выражала свое омерзение.

— Маленький конфуз! Маленький конфуз! — громко распевала она, издеваясь над Розой. — По дороге приключился маленький конфуз!

Фло, впрочем, и радовалась тоже — это было заметно; она любила, когда кто-нибудь попадал в унизительное положение, когда природа брала свое. Фло была из тех, кто во всеуслышание рассказывает о тайнах, раскопанных в корзине для грязного белья. Роза умирала от стыда, но так и не объяснила, в чем дело. Почему? Наверно, боялась, что Фло явится в школу с лопатой и вед-

ром и примется убирать отхожее место, при этом чехвостя всех подряд.

Роза верила в незыблемость школьного миропорядка, в то, что тамошние правила непостижимы для Фло, тамошняя дикость ни с чем не соизмерима. Понятия чистоты и справедливости казались теперь Розе невинными заблуждениями эпохи младенчества. Она уже строила в душе первый склад для вещей, о которых не сможет рассказать никому и никогда.

Например, она ни за что не могла бы рассказать про мистера Бернса. Вскоре после начала школьных занятий — и еще до того, как Роза поняла, что́ сейчас увидит, — она уже бежала вместе с другими девочками вдоль школьного забора, через заросли конского щавеля и золотарника, и пряталась за сортиром мистера Бернса — задняя стена сортира смотрела на школьный двор. Старый мистер Бернс — полуслепой, вислопузый, неопрятный и полный боевого духа — выходил на задний двор своего дома, разговаривая сам с собой, распевая и сбивая высокие сорняки тростью. Он заходил в туалет, и после нескольких секунд натужной тишины снова слышался его голос:

"Вот вдалеке зеленый холм

"За городской стеной,
"На том холме Иисус казнен,
"Чтоб нас спасти с тобой.

Пение мистера Бернса звучало не благоговейно, а задорно, словно он даже сейчас нарывался на драку. Местные жители так в основном и выражали свое религиозное чувство — в драках. Одни были католики, другие — протестанты-фундаменталисты, и каждая сторона считала, что обязана отстаивать свою веру кулаками. Многие протестанты когда-то были — или их предки когда-то были — англиканами или пресвитерианцами. Но, обнищав, уже не могли ходить в эти церкви, совратились с пути и примкнули к Армии спасения или пятидесятникам. Другие люди были полнейшими язычниками, пока не обрели истинную веру. Некоторые до сих пор оставались язычниками, но в драках вставали на сторону протестантов. Фло называла англикан и пресвитерианцев снобами, а остальных — сектантами-трясунами. Католики же, по ее мнению, были готовы простить любой разврат и двуличие, только неси им денежки для пересылки папе римскому. Так что Розу в детстве не заставляли ходить ни в какую церковь.

Все девчонки присаживались на корточки у задней стены сортира мистера Бернса, чтобы поглядеть на ту часть его тела, что виднелась в дыре. Много лет Роза думала, что видела мошонку, хотя, поразмыслив, пришла к выводу, что это была всего лишь задница. Означенная часть тела была похожа на коровье вымя, только щетинистое — как коровий язык до того, как Фло его сварила. Роза тогда не стала есть язык, и когда сказала Брайану, что это такое, он тоже не стал есть. Фло разозлилась и пообещала, что отныне они будут питаться вареной колбасой.

Девочки постарше не наклонялись смотреть, но стояли рядом, издавая тошнотные звуки. Другие, младшие девочки вскакивали и становились рядом со старшими, старательно подражая им, но Роза продолжала сидеть на корточках в изумлении и задумчивости. Ей хотелось бы подольше поразмыслить над увиденным, но мистер Бернс встал и вышел из сортира, застегиваясь и распевая. Девчонки подкрались поближе к забору, чтобы окликнуть:

— Мистер Бернс! Доброе утро, мистер Бернс! Мистер Бернс — вислые яйца!

Он с ревом бросился к забору, колотя палкой по воздуху, словно кур прогонял.

Младшие и старшие, мальчишки и девчонки, абсолютно все — кроме, конечно, учительницы, которая на перемене запирала дверь школы и оставалась внутри, сдерживаясь, как Роза, до дому, рискуя потерять лицо и перенося муки, — абсолютно все собрались, чтобы заглянуть в предбанник туалета для мальчиков, когда прошел слух: Коротышка Макгилл трахает Фрэнни Макгилл!

Брат и сестра.

Вот так представление! С участием родственников!

Так это называла Фло: представлять. Фло рассказывала, что в глухих деревнях — в фермах на холмах, откуда она сама была родом, — люди сходят с ума, едят вареное сено и «устраивают представления» с кровными родственниками. Пока Роза не поняла, что имеется в виду, она воображала импровизированную шаткую сцену в каком-нибудь сарае, на которую по очереди поднимаются родственники и поют дурацкие песенки или декламируют стихи. «Что за представление!» — с отвращением говорила Фло, выдыхая дым. Она имела в виду не какой-то определенный поступок, но все сразу — все, что относилось к этой области, в прошлом, настоящем и будущем,

по всему миру. Способы, которыми люди себя развлекают, как и стремление людей казаться не теми, кто они есть, не переставали ее удивлять.

Чья это была затея, с Фрэнни и Коротышкой? Наверно, старшие мальчики подзадорили Коротышку, а может, он хвалился и его подначили. Ясно было одно: это не Фрэнни придумала. Ее догнали и притащили, заманили в ловушку. Впрочем, «догнали» — не совсем верное слово: вряд ли она убегала, поскольку не верила, что ей на самом деле удастся убежать. Но она не хотела, ее пришлось тащить силой, толкать на землю, туда, где ей следовало быть по замыслу. Знала ли она, что ее ждет? Во всяком случае, точно знала, что от других людей ничего приятного ждать не приходится.

Фрэнни Макгилл в детстве треснул о стену пьяный отец. Так говорила Фло. По другой версии, Фрэнни, пьяная, свалилась с саней и ее лягнула лошадь. Как бы там ни было, ее всю перекорежило. Сильней всего досталось лицу. Нос был кривой, и каждый вдох превращался в долгое унылое сопение. Зубы словно сбились в кучку, налезая один на другой. Поэтому рот не закрывался, и Фрэнни не могла удержать слюни. Бледная, костлявая, шаркающая ногами, пугливая, как

старуха, Фрэнни навеки застряла во втором или третьем классе — она кое-как научилась читать и писать, но ее редко просили это делать. Вероятно, она не была дурочкой, какой ее считали все, а просто была растеряна, оглушена постоянными атаками. И вопреки всему она сохранила способность надеяться. Она ходила хвостом за любым, кто не бил и не обзывал ее; пыталась совать этому человеку огрызки карандашей и бугристые комки жеваной жвачки, отлепленные со стульев. Ее приходилось отваживать со всей возможной жесткостью и угрожающе кривиться, встретив ее взгляд. Пошла вон, Фрэнни. Пошла отсюда, а то я тебя тресну. Честное слово, тресну.

После того случая Коротышка так и будет пользоваться ею дальше, и другие тоже. Она забеременеет, ее увезут, она вернется и снова забеременеет, ее увезут, она вернется, снова забеременеет, и ее снова увезут. По городу пойдут разговоры о том, что неплохо было бы ее стерилизовать, а деньги пускай соберет «Клуб львов»[4]. И

[4] Примечания: 4

«Клуб львов» (Lions Clubs International) — международная неправительственная нерелигиозная организация, объединяющая бизнесменов, желающих вести благотворительную деятельность для улучшения жизни окружающих и мира в целом. Основные программы клуба направлены на сохранение зрения, слуха и речи у людей, борьбу с диабетом, помощь детям, развитие молодежных организаций и др.

разговоры о том, что неплохо было бы ее запереть куда-нибудь. Но тут Фрэнни вдруг умрет от пневмонии, радикально решив вопрос. Каждый раз, обнаружив в книге или фильме образ полоумной святой-блудницы, Роза вспоминала Фрэнни. Мужчины — создатели книг и фильмов, — кажется, питали слабость к этой фигуре, хотя, как подметила Роза, в их варианте она оказывалась гораздо опрятней. Роза решила, что это обман — то, что они оставили за кадром сопение, слюни, зубы; они упускали из виду уколы отвращения, подстегивающие похоть, и спешили воспользоваться идеей обволакивающей утешительной пустоты, неразборчивого всеприятия.

Впрочем, нельзя сказать, что Фрэнни ответила Коротышке всеприятием. Она вопила — вопли выходили раскатистые, гнусавые из-за сложностей с дыханием. Она все время лягала воздух одной ногой. Ботинок с нее то ли слетел, то ли Фрэнни сегодня вообще пришла без обуви. Наружу торчала белая нога с босой ступней и грязными пальцами — она выглядела слишком нормальной, слишком исполненной самоуважения, чтобы принадлежать Фрэнни Макгилл. Вся остальная Фрэнни была Розе не видна. Маленькую Розу выпихнули на дальний край толпы. В первом

ряду стояли большие мальчишки, вдохновенно вопя. Большие девочки, хихикая, сгрудились у них за спиной. Роза была заинтересована, но не встревожена. То, что делали с Фрэнни, не имело всеобщего значения и совсем никак не относилось к остальным. Это было лишь продолжение полагающихся Фрэнни издевательств.

Годы спустя истории Розы очень сильно действовали на ее знакомых. Ей приходилось давать честное слово, что это все правда, что она не преувеличивает. Она в самом деле рассказывала правду, но эффект выходил несколько однобоким. Казалось, что она ходила вместо школы в какой-то чудовищный притон, где ничему не учили. Казалось, что она обязательно была из-за этого несчастна. Но это не так. Роза научилась многому. Она научилась, как вести себя в масштабных драках, которые раза два-три в год раскалывали школу на воюющие отряды. Поначалу она старалась сохранять нейтралитет, и это была большая ошибка, так как в итоге на нее могли ополчиться обе стороны. Правильным ходом было примкнуть к людям, которые живут рядом с тобой, и тем несколько снизить уровень опасности, которой подвергаешься на пути в школу и из школы. Роза так и не поняла, из-за чего

дрались, и к тому же ей недоставало бойцовского инстинкта — она не понимала, зачем вообще нужно драться. Ее всегда заставал врасплох удар снежком, камнем или куском черепицы, внезапно прилетающим в спину. Она знала, что никогда не победит, никогда не добьется постоянного, надежного положения в школьном мире, даже если такое в принципе возможно. Но она не была несчастна, если не считать одной-единственной проблемы — невозможности пользоваться туалетом. Когда учишься выживать — пускай для этого требуется осторожность на грани трусости, пускай это связано с потрясениями и зловещими предчувствиями, — несчастной быть некогда. Слишком уж это занятие захватывает.

Роза научилась отгонять Фрэнни. Роза научилась не подходить к школьному подвалу, где не осталось ни одного целого окна, а внутри было черно и капало, как в пещере; научилась избегать темного провала под лестницей и узких проходов меж поленниц; научилась не привлекать к себе внимания больших мальчишек, которые казались ей похожими на диких собак — быстрые, сильные, непредсказуемые, радостно атакующие.

Роза сделала одну ошибку в самом начале

— потом она уже не стала бы ее повторять: она сказала Фло правду, вместо того чтобы соврать, когда один большой мальчик — один из Морэев — подставил ей ножку и облапил ее на пожарной лестнице и при этом выдрал ей рукав плаща из проймы. Фло явилась в школу, чтобы устроить тарарам (по ее собственному выражению), и выслушала свидетелей, которые в один голос клялись, что Роза сама порвала плащ, зацепившись о гвоздь. В Западном Хэнрэтти взрослые не приходили в школу. Матери всегда вставали на сторону своих детей в драках, перевешивались через калитку и осыпали противника ругательствами; некоторые даже сами ввязывались в потасовку, драли врага за волосы и швырялись черепицей. Они по-всякому обзывали учительницу за глаза и, посылая детей на уроки, велели не спускать ей, если она будет «возникать». Но они никогда не поступили бы так, как Фло, их ноги не бывало на школьном дворе, они не стали бы разбираться с жалобой на таком высоком уровне. Они ни за что не поверили бы, как верила Фло, что агрессоры признаются, что их выдадут на расправу, что добиться справедливости можно, не только испортив втайне морэевский плащ в раздевалке, — что правосудие может прийти в

какой-то иной форме. Роза впервые увидела, как Фло ошибается, как она взяла на себя непосильную задачу.

Фло сказала, что учительница не знает своего дела.

Учительница как раз очень хорошо знала свое дело. Она запирала дверь на перемене, предоставляя событиям происходить снаружи. Она никогда не пыталась выгнать старших мальчиков из подвала или согнать их с пожарной лестницы. Она заставляла их колоть лучину на растопку для школьной печи и приносить воду, чтобы наполнить ведро, из которого все пили. В остальном мальчишки могли творить что хотят. Они не отказывались колоть дрова и качать воду насосом, хотя обожали окатывать кого попало ледяной водой и несколько раз чуть не пришибли друг друга топором. Старшие мальчишки ходили в школу только потому, что им некуда было себя приткнуть. Старшие девочки могли устроиться на работу — хотя бы в прислуги пойти, — поэтому они оставались в школе, только если собирались держать вступительный экзамен в старшие классы, учиться дальше и потом, может быть, найти место в банке или универсальном магазине. Некоторым это удавалось. Из мест, подобных

Западному Хэнрэтти, девочкам легче выбраться, чем мальчикам.

Старшим девочкам — кроме тех, которые готовились к экзамену, — учительница не позволяла сидеть без дела: она поручала им пасти младших — тетешкать, шлепать, исправлять орфографические ошибки в тетрадях. Им также негласно дозволялось изымать у младших в свою пользу все, что приглянется, включая пеналы, новые карандаши и дешевенькие пластмассовые побрякушки из тех, что бесплатно прилагались к коробке засахаренного попкорна. Происходящее в гардеробе — будь то кражи обедов, порча чужих пальто или насильственное стягивание трусов — учительницу не интересовало.

Она не была фанатиком своего дела, не страдала избытком воображения или сочувствия. Она каждый день ходила сюда пешком через мост из Хэнрэтти, где ее ждал дома больной муж. Она вернулась в школу уже в зрелом возрасте. Возможно, это была единственная работа, которую ей удалось найти. Ей приходилось преподавать, и она преподавала. Она никогда не украшала окна вырезанными из бумаги силуэтами, никогда не клеила ученикам в тетради золотые звезды. Она никогда не рисовала на доске цветным мелом. У

нее не было ни золотых звезд, ни цветного мела. Она не выказывала любви ни к какому из преподаваемых ею предметов и ни к кому из учеников. Если она о чем-то и мечтала, то, вероятно, о том, чтобы в один прекрасный день ей разрешили вернуться домой и больше никогда в жизни не видеть никого из этих детей, никогда не открывать учебник по правописанию.

Но все же она преподавала. И видимо, ей удавалось чему-то научить людей, желающих сдать вступительный экзамен, потому что кое-кто из них его сдавал. Она, вероятно, ставила себе цель научить всех проходящих через ее школу читать, писать и делать простейшие расчеты. Перила лестниц давно шатались, парты были оторваны от пола, печка дымила, труба держалась на проволоке, не было ни библиотечных книг, ни карт, и вечно не хватало мела; даже линейка была грязная и расщепленная с одного конца. Драки, секс и кражи были значительной частью школьной жизни. Тем не менее учеников знакомили с фактами и таблицами. Вопреки хаосу, неудобствам, непреодолимым препятствиям здесь в какой-то степени поддерживалась обычная школьная жизнь; предоставлялся шанс. Кому-то — освоить вычитание. Кому-то — научиться писать без

ошибок.

Учительница нюхала табак. За всю жизнь Роза больше не встретила ни одного человека, нюхающего табак. Учительница насыпала немножко табаку на тыльную сторону ладони, подносила руку к лицу и чуть слышно фыркала, втягивая порошок в нос. Откидывала голову, открывая незащищенную шею, и на миг в ее позе чудилось презрение, вызов. Если не считать этой черты, учительница была совершенно заурядна. Пухлая, серая, в поношенной одежде.

Фло сказала, что учительница, должно быть, затуманила себе мозги этими понюшками. Как наркоманка. Вот сигареты, они только нервную систему портят.

Одна-единственная вещь в школе была завораживающей, прекрасной. Изображения птиц. Роза не знала, кто именно забрался наверх и прибил картинки над доской — высоко, чтобы их нельзя было походя осквернить. Может быть, сама учительница — тогда это ее первая и последняя оптимистическая попытка. А может быть, кто-то другой, ее предшественник. Откуда взялись эти картинки, как попали сюда, если ни единого украшения, кроме них, в школе не было?

Дятел в красной шапочке; иволга; сойка; канад-

ский гусь. Чистые, неблекнущие цвета. На фоне белых снегов, весенних ветвей в цвету, головокружительно синего летнего неба. В обычном классе эти картинки не поражали бы так. Но здесь они были ярки и красноречивы и так контрастировали со всем остальным, что казалось: они представляют не самих птиц, не снега и небеса, но некий иной мир, где невинность пребывает, знания изобилуют, а легкость на сердце — законное право. Там никто не крадет еду из сумок с обедами, не режет чужие плащи, не стягивает трусы с другого и не тыкает больно твердым; там никого не трахают; и Фрэнни там тоже нет.

"* * *

Во вступительном классе были три старшие девочки. Одну звали Донна, другую Кора, а третью Бернис. Эти трое и составляли вступительный класс; кроме них, в нем никого не было. Три королевы. Впрочем, точнее — королева и две принцессы. Так думала о них Роза. Они разгуливали по школьному двору, держась за руки или обняв друг друга за талию. Кора шла в середине. Она была самая высокая. Донна и Бернис шли, склоняясь к ней, сопровождая ее.

Роза любила именно Кору.

Кора жила с бабушкой и дедушкой. Бабушка ходила каждый день по мосту в Хэнрэтти, где убиралась и гладила чужое белье. Дедушка был золотарем. Это значит, что он ходил по городу и чистил выгребные ямы. Такая у него была работа.

Прежде чем накопить денег на оборудование настоящей уборной, Фло купила туалет с химической стерилизацией и поставила его в угол дровяного чулана. Лучше, чем бегать в отхожее место на улицу, особенно зимой. Корин дедушка этого не одобрил. Он сказал Фло:

— Многие обзавелись этой химикалией, и многие потом об этом пожалели.

Он произносил это слово «кимикалия».

Кора была незаконнорожденной. Ее мать то ли работала, то ли была замужем где-то в другом городе. Возможно, что она работала горничной, потому что все время присылала домой обноски. У Коры было много нарядов. Она приходила в школу в желтовато-коричневом атласном платье, переливающемся на бедрах; в ярко-синем бархатном, с болтающейся на плече розой из той же материи; в тускло-розовом креповом с бахромой. Эти платья были рассчитаны на женщину намного старше (хотя Роза так не думала), но

подходили Коре по размеру. Она была высокая, плотная, со зрелой фигурой. Иногда она укладывала волосы валиком на макушке, опуская его с одной стороны на лоб. Кора, Донна и Бернис часто делали себе одну и ту же, взрослую, прическу, густо красили губы, пудрились толстым слоем, так что пудра спекалась, как слой муки. У Коры были крупные черты лица. Сальный лоб, ленивые веки брюнетки, зрелое и праздное самодовольство, что скоро зачерствеет и оформится во взрослый нрав. Но сейчас, вышагивая по школьному двору под ручку со спутницами, шепчась с ними о чем-то серьезном, Кора была великолепна. На самом деле из них троих ближе всех к миловидности подходила Донна, с ее бледным овальным личиком и кудрявыми светлыми волосами. Кора, как и две ее подруги, не тратила времени на мальчишек-соучеников. Девушки ждали, пока у них не появятся настоящие кавалеры — а может, уже старались этими кавалерами обзавестись. Мальчишки иногда вопили им что-то от двери подвала, выкрикивали мечтательные непристойности, и Кора тогда поворачивалась и кричала в ответ:

— Для люльки стар, для кроватки мал!

Роза понятия не имела, что это означает, но ее

переполняло восхищение — разворотом бедер Коры, ее жестоким и дразнящим и в то же время ленивым и безмятежным голосом, шикарным видом. Оставшись одна, Роза разыгрывала всю сцену в лицах — крики мальчишек и прочее. Сама она изображала Кору — поворачивалась, как тогда Кора, к воображаемым преследователям и бросала реплику с таким же вызывающим презрением:

— Для люльки стар, для кроватки мал!

Роза расхаживала по заднему двору, воображая, что это у нее на бедрах переливается плотный атлас, ее собственные волосы закручены валиком, ее губы ярко накрашены. Она хотела, когда вырастет, стать точно такой, как Кора. Она не хотела ждать, пока вырастет. Она желала быть Корой прямо сейчас.

Кора носила в школу туфли на высоком каблуке. Она не отличалась легкой походкой. Когда она проходила по классу в очередном роскошном наряде, заметно дрожал пол и отчетливо дребезжали окна. Запах Коры тоже был слышен издалека. Запах талька и косметики, теплой смуглой кожи и волос.

"* * *

Три девушки сидели на самом верху пожарной лестницы в первый теплый весенний день. Они красили ногти. У лака был запах бананов с острой и странной химической ноткой. Роза хотела подняться по пожарной лестнице в школу, как обычно делала, чтобы избежать опасностей, ежедневно подстерегающих у главного входа. Но, увидев трех девушек, она повернула назад — она не смела ожидать, что они потеснятся и пропустят ее.

Кора окликнула ее сверху:

— Можешь подняться, если хочешь. Поднимайся!

Кора дразнила ее, манила, как подманивают щенка.

— Хочешь, мы тебе ногти накрасим?

— Тогда они все захотят, — сказала другая девушка, Бернис, которой, как выяснилось, принадлежал лак.

— А мы всем не будем красить, — сказала Кора. — Мы только ей. Как тебя зовут? Роза? Мы только Розе накрасим. Давай поднимайся, миленькая.

Она заставила Розу вытянуть руку. Роза с ужа-

сом поняла, до чего пятнистая у нее рука, до чего загрубелая и грязная. И еще холодная и дрожащая. Маленький омерзительный предмет. Отбрось Кора эту руку с отвращением, Роза не удивилась бы.

— Растопырь пальцы. Вот так. Расслабься. Гляди, как у тебя рука трясется! Я не кусаюсь. Думаешь, я кусаюсь? Держи руку неподвижно, вот молодец. Ты же не хочешь, чтобы лак лег неровно, а?

Она окунула кисточку во флакончик с лаком. Цвет был насыщенный, красный, как садовая малина. Роза упивалась запахом. У самой Коры пальцы были большие, розовые, теплые. И не дрожали.

— Правда, красиво? Смотри, какие у тебя сейчас будут красивые ногти.

Кора накладывала лак по сложной, ныне забытой моде тех времен — оставляя лунку и свободный край ногтя непокрытыми.

— Видишь, он розовый, подходит к твоему имени. Роза — очень красивое имя. Оно мне нравится больше, чем Кора. Я просто ненавижу имя Кора. Что это у тебя пальцы замерзли в такой теплый день? Правда, они ужасно холодные по сравнению с моими?

Она кокетничала, повинуясь собственной прихоти — как все девушки этого возраста. Они пробуют чары на чем угодно — на кошках, на собаках, даже на своем лице в зеркале. Розе не по силам была такая нежданная милость, поэтому ей никак не удавалось насладиться моментом. Она была слаба, ослеплена, в ужасе.

С этого дня Роза впала в одержимость. Она тратила все свое время на попытки ходить и говорить, как Кора, повторяя каждое слово, произнесенное Корой когда-либо. Розу пленял каждый жест Коры, ее манера засовывать карандаш в густые жесткие волосы и то, как она иногда стонала в школе, выражая царственную скуку. То, как она облизывала палец и поправляла форму бровей. Роза облизывала собственный палец и приглаживала брови, мечтая, чтобы они были темными, а не выгоревшими на солнце и почти невидимыми.

Но подражания было недостаточно. Роза пошла дальше. Она воображала, как заболеет и Кору почему-то позовут за ней ухаживать. Ночные объятия, поглаживания, укачивания. Она сочиняла истории об опасности и спасении, катастрофах и благодарности. Иногда она спасала Кору, иногда Кора ее. Потом — сплошное тепло, счастье, вза-

имные откровения.

«Очень красивое имя».

«Давай поднимайся, миленькая».

Любовь начинается, крепнет и наконец льется потоком. Сексуальная любовь, еще не знающая, куда себя направить. Эта любовь должна быть в человеке с самого начала — как твердый белый мед в ведерке, ждущий, когда его растопят и он потечет. Ей недоставало определенной остроты, настойчивости; и еще по чистой случайности любимое существо оказалось того же пола. В остальном это была ровно такая же любовь, какую Роза испытывала во взрослом возрасте. Высшая точка прилива; неустранимое безумие; неудержимый потоп.

Когда все кругом зацвело — сирень, яблони, боярышник вдоль дороги, — началась игра в похороны. Заводилами были старшие. Та, что изображала покойницу, — в эту игру играли только девочки — лежала, вытянувшись, на верхней площадке пожарной лестницы. Остальные поднимались медленной вереницей, распевая какой-нибудь гимн, и вываливали на тело вороха цветов. Они склонялись над телом, притворно рыдая (у некоторых получалось по-настоящему) и прощаясь с ним. В этом и заключалась вся

игра. Предполагалось, что все девочки смогут по очереди побыть покойницами, но вышло по-другому. Старшие, изобразив покойниц, мгновенно потеряли интерес к игре и уже не желали исполнять второстепенные роли на похоронах кого-то из младших. Те продолжали играть одни, но вскоре поняли, что игра утратила всю торжественность, весь блеск, и ушли одна за другой — только самые упорные отщепенцы остались, чтобы довести дело до конца. Среди них была и Роза. Она цеплялась за игру, надеясь, что Кора пойдет в ее погребальной процессии, но Кора ее игнорировала.

Каждая покойница сама выбирала свой погребальный гимн. Кора выбрала «Как прекрасен, должно быть, рай». Она лежала под грудой цветов, сирени, в розовом креповом платье. Еще на ней были бусы и брошь, на которой зелеными блестками было выложено ее имя. На лице — толстый слой пудры. Крупинки пудры трепетали меж нежных волосков в углах рта. Ресницы дрожали. Лицо было строгое, сосредоточенное, неприступно мертвое. Печально распевая и опуская на тело свою охапку сирени, Роза была готова совершить какой-нибудь акт поклонения, но ничего не придумала. Она могла лишь

жадно выхватывать детали, чтобы вспоминать потом. Цвет волос Коры. Сияние нижних прядей, заложенных за уши. Эти пряди были светло-карамельного цвета, светлее верхнего слоя волос. Руки — голые, смуглые, сплющенные под собственной тяжестью, тяжелые руки женщины. На них лежит бахрома. Чем пахнет Кора на самом деле? Что заявляют миру, хмурясь или спокойно разглаживаясь, ее выщипанные брови? Потом, оставшись одна, Роза будет тщательно обдумывать каждую деталь, напрягаясь, чтобы ничего не забыть, все познать, оставить себе навсегда. Какой ей был с этого прок? Когда Роза думала о Коре, ей представлялось темное светящееся пятно, плавящийся центр с запахом и вкусом горелого шоколада, недосягаемый для нее.

Что делать с любовью, когда она доходит до этой стадии — до такого бессилия, безнадежности и безумной сосредоточенности? Нужно ее чем-нибудь пришибить.

Вскоре Роза сделала большую ошибку. Она украла у Фло из лавки горсть конфет, чтобы подарить Коре. Дурацкий, нелепый, детский поступок, причем Роза уже тогда это понимала. Ошибка заключалась не только в собственно краже, хотя и это была дурацкая идея, которую оказалось

нелегко осуществить. Фло держала конфеты за прилавком, чуть повыше его, на наклонной полке, в открытых ящиках, вне досягаемости, но на виду у детей. Роза выждала удобный момент, залезла на табуретку и напихала в пакет все, что подвернулось под руку, — разноцветный кислый мармелад, «желейные бобы», лакричное ассорти, «кленовые почки», «куриные косточки». Сама она не съела ни одной конфетки. Чтобы переправить пакет в школу, она засунула его под юбку, а верх заправила за резинку трусов. На ходу она плотно прижимала руку к животу, чтобы пакет не съехал. «Что такое, у тебя живот болит?» — спросила Фло, но, к счастью, была слишком занята, чтобы расследовать подробней.

Роза спрятала пакетик конфет у себя в парте и стала ждать удобного момента, но он никак не подворачивался.

Даже если бы она купила конфеты, приобрела их законным путем, эта затея была бы ошибкой. В самом начале все было бы в порядке, но не сейчас. Сейчас Розе уже нужно было слишком много благодарности, признания, но в то же время она была не способна их принять. У нее колотилось сердце, во рту появлялся странный медный привкус отчаяния и тоски, стоило Коре лишь пройти

мимо — тяжелой походкой, в полном сознании собственной значительности, в облаке духов, согретых теплом кожи. Никакой жест не мог бы адекватно выразить чувства Розы, ей не суждено было получить удовлетворение, и она знала: то, что она задумала, — дурацкий, шутовской поступок, который навлечет на нее беду.

Она не смогла просто взять и вручить конфеты, удобный момент никак не наступал, и через несколько дней она решила подбросить пакет Коре в парту. Даже это оказалось трудно. Розе пришлось притвориться, что она забыла что-то в классе, и прибежать обратно в школу уже после четырех, зная, что потом придется снова выбегать на улицу, одной, мимо больших мальчишек, стоящих у двери в подвал.

В классе оказалась учительница — она надевала шляпу. Каждый день учительница надевала эту шляпу, старую, зеленую, с обрывком пера, чтобы перейти в ней через мост. Донна, приятельница Коры, стирала с доски. Роза попыталась засунуть пакетик в парту Коры. Что-то вывалилось. Учительница не обратила внимания, но Донна повернулась и завопила:

— Эй, что ты там делаешь в парте Коры?

Роза уронила конфеты на сиденье парты и вы-

бежала вон.

Чего она совсем не ожидала, так это того, что Кора придет в лавку к Фло и вернет конфеты. Но именно так Кора и поступила. Не для того, чтобы доставить Розе неприятности, а просто для собственного удовольствия. Кора наслаждалась чувством собственной значимости и респектабельности, а также тем, что ведет взрослый диалог со взрослым человеком.

— Не знаю, зачем она хотела мне это дать, — сказала Кора (во всяком случае, так выходило по словам Фло).

Обезьяньи способности Фло ей в кои-то веки изменили: Розе показалось, что у нее вышло совсем не похоже на обычную речь Коры. Получилось какое-то жеманное нытье:

— «Я решила, что лучше всего будет поставить вас в известность!»

Конфеты в любом случае уже не годились для еды. Они все растаяли и слиплись, так что Фло их выбросила.

Фло была потрясена до глубины души. Она сама так сказала. Разумеется, она считала кражу преступлением, но, кажется, понимала, что в данном случае кража — вторичное зло, менее важное.

— Что ты собиралась делать с этими конфета-

ми? Зачем ты их ей дала? Ты что, влюбилась в нее или что?

Эти слова были задуманы как грубая шутка, оскорбление. Роза ответила «нет», потому что любовь у нее ассоциировалась с хеппи-эндом фильма, с поцелуями и свадьбой. Ее чувства пережили встряску и обнажились — и уже, хоть Роза этого еще и не знала, начали чуточку увядать и отмирать по краям. Фло налетела на них, как иссушающий самум.

— Ну ты вообще… — сказала Фло. — Меня от тебя тошнит!

Фло не имела в виду, что у Розы в будущем проявятся склонности к однополой любви. Знай она о таких вещах, вся эта история показалась бы ей еще более смехотворной, нелепой, непостижимой, чем обычные людские поступки. Тошнило ее от мысли о любви. Добровольное порабощение, готовность к унижению, к самообману. Вот это ее поразило. Она прекрасно понимала всю опасность этого; видела изъян. Безрассудные надежды, готовность, потребность.

— Что в ней такого распрекрасного? — спросила Фло и тут же сама ответила: — Ничего! Она даже не хорошенькая. Она превратится в жирное чудовище. По всему видать. И еще у нее будут

усы. Уже есть. Откуда она берет одежду? Надо думать, она считает, что эти тряпки ей идут.

Роза ничего не ответила, и Фло продолжала: у Коры нет отца, ее мать занимается бог знает чем, а кто ее дед? Золотарь!

* * *

Еще много лет Фло время от времени вспоминала Кору.

— Вон идет твой кумир! — говорила она, если Кора шла мимо лавки в школу (она поступила в старшие классы).

Роза притворялась, что понятия не имеет, о чем идет речь.

— Да знаешь ты ее! — не сдавалась Фло. — Ты тогда пыталась дарить ей конфеты! Которые ты для нее украла! Я чуть со смеху не померла!

Розино притворство было отчасти искренним. Она помнила факты, но не чувства. Кора превратилась в крупную смуглую мрачную девицу, сгорбленную под тяжестью учебников для старших классов. Учебники ей не помогли, в школе она недоучилась. Она носила обычные блузки и темно-синюю юбку, которая ее полнила. Может быть, Кора тяжело перенесла потерю любимых платьев. Потом она уехала — нашла работу во

время войны. Она поступила в авиацию и приходила домой в увольнение, затянутая в ужасную форму воздушных войск. Она вышла замуж за пилота.

Розу не слишком беспокоила эта потеря, это преображение. Жизнь вообще, насколько знала Роза по опыту, была чередой удивительных поворотов. Роза лишь думала о том, насколько Фло отстала от жизни, когда та в очередной раз принималась вспоминать эту историю. От раза к разу образ Коры становился все ужасней — смуглявая, волосатая, жирная задавака. Лишь много лет спустя Роза поняла, что Фло — безуспешно — пыталась предостеречь, изменить ее.

* * *

Школа с приходом войны переродилась. Она как-то съежилась, утратила злую силу, анархический дух, прежний стиль. Необузданные мальчишки ушли в армию. Западный Хэнрэтти тоже изменился. Люди уезжали работать на военных заводах, и даже те, кто остался в городе, нашли работу, причем получали за нее столько, сколько никогда и не мечтали. В городе воцарилась респектабельность — всеобщая, если не считать особо запущенных случаев. Крыши

теперь перекрывали полностью, а не латали кое-где. Дома перекрашивали или обкладывали снаружи декоративным кирпичом. Жители города покупали холодильники и хвалились ими. Когда Роза думала о Западном Хэнрэтти до и во время войны, эти две эпохи представлялись ей абсолютно различными, словно в них использовалось совершенно разное освещение или словно эти эпохи были фильмами, снятыми на пленке, и пленку в каждом случае обрабатывали совершенно по-разному, так что в одном случае все выглядело четким, чинным, ограниченным и обычным, а в другом — темным, зернистым, хаотическим и вселяющим страх.

Само школьное здание отремонтировали. Вставили новые окна, привинтили парты к полу, неприличные слова замазали тускло-красной краской. Туалет для мальчиков и туалет для девочек снесли, а ямы засыпали. Правительство и школьный округ сочли необходимым оборудовать смывные туалеты в вычищенном для этого подвале.

К этому шли все. Мистер Бернс умер летом, и люди, которые купили его дом, оборудовали туалет внутри. Еще они поставили высокий забор из железной сетки, так что теперь со школьного

двора нельзя было дотянуться до их сирени. Фло тоже собиралась сделать в доме туалет — она сказала, что почему бы и нет, сейчас, во время войны, дела у всех идут в гору.

Дедушка Коры ушел на покой, и после него золотарей в городе уже не было.

Половинка грейпфрута

Роза выдержала вступительный экзамен, перешла через мост, попала в старшие классы.

В стене — четыре больших чистых окна. На потолке — новые люминесцентные лампы. Шел урок «Здоровья и гигиены» — новомодная идея. Класс был смешанный, мальчики с девочками вместе — после Нового года, когда начнут проходить «Семейную жизнь», их разделят. Учительница, молодая и полная оптимизма, была одета в броский красный костюм, расклешенный от бедра. Она бегала взад-вперед по рядам, спрашивая учеников, что они ели на завтрак, — проверяла, соблюдают ли они «Канадские правила здорового питания».

Разница между городом и деревней скоро стала очевидной.

— Жареную картошку.

— Хлеб с кукурузным сиропом.

— Кашу и чай.

— Хлеб и чай.

— Яичницу с ветчиной и чай.

— Пирог с изюмом.

Слышался смех, учительница делала грозное лицо (безуспешно). Она постепенно приближалась к «городской» части класса. Рассаживаясь по партам, ученики совершенно добровольно соблюдали что-то вроде сегрегации. Городские ели на завтрак тосты с мармеладом, яичницу с беконом, корнфлекс, даже вафли с сиропом. Кое-кто назвал апельсиновый сок.

Роза выбрала для себя место на самой задней парте городского ряда. Она в этом классе была единственной представительницей Западного Хэнрэтти. Ей безумно хотелось показать, что она из городских, вопреки месту рождения, — что она одна из этих едящих вафли и пьющих кофе, лощеных и хладнокровных обладателей «кухонных островков».

— Половинку грейпфрута, — бойко сказала она.

Грейпфрут еще никто не называл.

Правду сказать, Фло сочла бы грейпфрут на завтрак таким же излишеством, как, скажем, шампанское. Она даже в лавке не продавала грейпфрутов. Вообще свежих фруктов почти не продавала. Кроме редких пятнистых бананов и неаппетитных мелких апельсинов. Фло, как большинство деревенских жителей, верила, что

любая сырая еда вредна для желудка. У Розы в семье тоже завтракали овсянкой и чаем. Летом овсянка сменялась воздушным рисом. Первое утро, когда в миску сыпался воздушный рис, невесомый, как пыльца, было таким же праздником, так же вселяло надежду, как первый день, когда можно пройти по твердой подсохшей дороге без калош, или первый день, когда можно оставить дверь нараспашку, — краткий блаженный отрезок времени между морозом и мухами.

Роза была очень довольна своей выдумкой про грейпфрут и голосом, которым она это сказала: смелым и громким, но естественным. Иногда у нее в школе полностью перехватывало голос, сердце сжималось в подпрыгивающий мяч и застревало где-то в горле, и пропотевшая блузка липла к телу, несмотря на дезодорант-антиперспирант «Мам». Нервы у Розы были изодраны в клочки.

Несколько дней спустя она шла домой — через мост — и кто-то ее окликнул. Не по имени, но она знала, что эти слова предназначены для нее, так что она стала осторожней ступать по доскам и прислушалась. Голоса, кажется, звучали снизу, хотя в щели меж досками Роза не видела ничего, кроме текущей воды. Должно быть, кто-то

спрятался у опор моста. Говорили нараспев, так тщательно изменив голос, что было даже непонятно, мальчишка это или девчонка.

— Половинка грейпфрута!

Еще много лет до Розы по временам доносились эти слова — внезапно, из проулка или затемненного окна. Она никогда не подавала виду, что слышит, но вскоре ей приходилось поднимать руку к лицу, вытирать пот с верхней губы. Когда строишь из себя что-то, приходится попотеть.

Она легко отделалась. Опозориться в школе было проще простого. Жизнь в старших классах, в резком чистом свете, изобиловала опасностями, и никто никогда ничего не забывал. Например, Роза могла оказаться девочкой, потерявшей прокладку. Эту прокладку, должно быть, кто-то из деревенских носил в кармане или за обложкой учебника, чтобы использовать посреди школьного дня. Так делали многие, кто жил далеко от школы. Так делала и сама Роза. В туалете для девочек был автомат по продаже прокладок, но он всегда пустовал — сколько ни бросай в него монеток, он ничего не выплевывал. В школе ходили легенды о двух деревенских, которые сговорились в обед пойти к завхозу и потребовать, чтобы он загрузил автомат. Без толку.

— Которой из вас он нужен? — спросил завхоз.

Девчонки обратились в бегство. Потом они рассказывали, что в каморке завхоза под лестницей стоит засаленный старый диван и скелет кошки. Девчонки клялись, что это правда.

Прокладку, видимо, уронили на пол — скорее всего, в гардеробе. Потом кто-то протащил ее контрабандой в стеклянную витрину в актовом зале, где стояли завоеванные школой спортивные кубки. Там ее увидела вся школа. Оттого что прокладку таскали и складывали, она утратила свежесть, помялась, и легко было вообразить, что она приобрела такой вид от трения о тело. Вышел большой скандал. На утреннем собрании директор упомянул «омерзительный предмет». Он поклялся обнаружить, обличить, подвергнуть бичеванию и исключить из школы преступника, поместившего «предмет» на всеобщее обозрение. Все девочки в школе заявляли, что непричастны. Теории плодились. Роза боялась, что она первый кандидат в хозяйки прокладки, и испытала облегчение, когда виноватой объявили угрюмую крупную девочку из деревенских, по имени Мюриель Мейсон. Она ходила в школу в платье из грубой шерстяной ткани, и от нее пахло немытым телом.

Теперь мальчишки спрашивали ее в лицо или кричали ей вслед:

— Эй, Мюриель, у тебя сегодня эти дела?

Однажды Роза услышала на лестнице, как одна старшая девочка говорит другой: «На месте Мюриель Мейсон я бы покончила с собой. Покончила бы с собой». Она говорила это не с жалостью, а с раздражением.

Каждый день, приходя домой, Роза рассказывала Фло, что сегодня было в школе. Фло как завороженная выслушала историю с прокладкой, и потом спрашивала, не открылось ли чего нового. О половинке грейпфрута Фло не узнала никогда. Роза рассказывала только о случаях, в которых проявила себя с лучшей стороны или была внешним наблюдателем. И Фло, и Роза придерживались того мнения, что ловушки и провалы — это для других. Стоило Розе покинуть место действия, перейти мост, превратиться в комментатора, и в ней происходила разительная перемена. Страх куда-то исчезал. Она говорила громко, скептически, расхаживала походкой «от бедра» в юбке из красно-желтой шотландки, даже хорохорилась.

Фло и Роза поменялись ролями. Теперь Роза несла домой истории, а Фло знала имена дей-

ствующих лиц и жаждала услышать про них что-нибудь новенькое.

Конь Николсон, Дел Фэрбридж, Коротышка Честертон, Флоренс Доди, Ширли Пикеринг, Руби Каррузерс. Фло ежедневно ждала новостей об их деяниях. Она звала их клоунами.

— Ну-ка, что твои клоуны вытворили сегодня?

Фло и Роза сидели на кухне — при открытых дверях в магазин, чтобы увидеть, если придет покупатель, и на лестницу, чтобы услышать, если позовет отец. Отец лежал в постели. Фло варила кофе или приказывала Розе взять пару бутылочек кока-колы из холодильника.

Вот типичная история из тех, что Роза приносила домой.

Руби Каррузерс была шлюховатая девчонка, рыжая, с сильной косиной. (Одно из капитальных различий между нашими временами и тогдашними — во всяком случае, в деревне и местах вроде Западного Хэнрэтти — заключалось в том, что косоглазых не пытались лечить и кривым зубам предоставляли торчать, как им вздумается.) Руби Каррузерс работала у Брайантов, владельцев скобяной лавки: она убиралась у них за харчи и стерегла дом, когда они уезжали: они часто ездили то на скачки, то на хоккей, то во Флориду.

Как-то раз, когда она была в доме Брайантов одна, трое мальчишек пришли ее навестить: Дел Фэрбридж, Конь Николсон и Коротышка Честертон.

— Чтобы посмотреть, не обломится ли им чего, — вставила Фло. Она взглянула на потолок и велела Розе говорить потише. Отец не терпел болтовни на эту тему.

Дел Фэрбридж был смазливый мальчик, полный самомнения и не очень умный. Он сказал, что зайдет в дом и запросто уболтает Руби, а еще попробует ее уговорить, чтобы она дала всем троим. Чего он не знал, так это того, что Конь Николсон уже назначил Руби встречу под верандой.

— Там небось пауки, — сказала Фло. — Но им, наверно, все нипочем.

Пока Дел блуждал по темному дому, ища Руби, она была под верандой с Конем, а Коротышка — он был в курсе заговора — сидел на стреме на ступеньках веранды и, конечно, внимательно прислушивался к ритмичным ударам и тяжелому дыханию.

Потом Конь вышел и сказал, что пойдет в дом поищет Дела — не для того, чтобы просветить его, но чтобы посмотреть, как сработала их шутка. По мнению Коня, это был самый важный момент

всего плана. Конь нашел Дела в буфетной, где тот пожирал маршмеллоу. Дел сказал, что Руби Каррузерс не стоит того, чтобы на нее поссать, что ему дают девки, которым она в подметки не годится, и что он пошел домой.

Коротышка тем временем заполз под веранду и занялся Руби.

— Господисусе! — воскликнула Фло.

Потом Конь вышел из дома на веранду, и Руби услышала топот над головой. Она спросила: «Кто это там?» — и Коротышка сказал: «Да это просто Конь Николсон». — «А ты тогда кто такой, черт тебя дери?» — закричала Руби.

Господисусе!

Роза не стала рассказывать, что было потом. Руби разозлилась, села на ступеньки веранды — вся извозюканная в земле, даже в волосах земля, — и отказалась от сигарет и кексов (упаковку кексов Коротышка стащил в продуктовом магазине, где работал после школы, и к этому времени она, должно быть, вся раздавилась). Мальчишки стали дразнить Руби, спрашивая, в чем дело, и наконец она сказала: «Я считаю, я имею право знать, кому даю».

— Она рано или поздно получит по заслугам, — философски изрекла Фло.

Другие люди тоже так думали. В школе было принято, случайно прикоснувшись к вещам Руби — особенно к одежде для физкультуры или кроссовкам, — бежать мыть руки, чтобы не заразиться дурной болезнью.

У отца, лежащего наверху, начался очередной приступ кашля. Приступы были очень сильными, но домашние к ним привыкли. Фло встала и подошла к подножию лестницы. Она стояла там и слушала, пока приступ не кончился.

— Это самое лекарство ему ни вот на столько не помогает, — заметила она. — Этот доктор и пластырь налепить толком не сможет.

Она до самого конца винила в болезни Розиного отца медицину, докторов.

— Если ты хоть что-то подобное позволишь себе с парнем, я тебя убью, — сказала она Розе. — Имей в виду.

Роза покраснела от ярости и пообещала, что раньше умрет.

— Надеюсь, — сказала Фло.

* * *

А вот типичная история из тех, что Фло рассказывала Розе.

Когда умерла мать, Фло было двенадцать лет и

отец отдал ее в люди. В зажиточную фермерскую семью, чтобы она там работала за харчи и ходила в школу. Но ее редко посылали в школу. Слишком много было работы по хозяйству. Фермер и его жена были неласковы и жестки.

— Если собираешь яблоки с дерева и одно пропустишь, они заставляли вернуться и обобрать весь сад. То же самое, когда собирали камни в поле. Если пропустишь хоть один, заставляли заново пройти все поле.

Хозяйка дома была сестрой епископа. Она всегда ухаживала за кожей, втирала в нее медово-миндальный лосьон Хиндса. С людьми она разговаривала высокомерно, саркастично и считала, что вышла замуж за человека ниже себя по положению.

— Но она была собой красавица, — рассказывала Фло, — и подарила мне одну вещь. Пару длинных атласных перчаток, светло-коричневых. Очень красивые были. Я их очень берегла, но все-таки потеряла.

Фло понесла обед мужчинам на дальнее поле. Хозяин открыл обед и спросил:

— А почему пирога нету?

— Кому нужен пирог, тот пускай сам его и печет, — ответила Фло, точно воспроизведя то, что

говорила хозяйка, укладывая обед, — интонацию и слова.

Неудивительно, что ей удалось так похоже изобразить эту женщину, — она вечно передразнивала ее, даже репетировала перед зеркалом. Удивительно было то, что Фло на этот раз себя выдала.

Хозяин удивился, но понял, что Фло повторяет чужие слова. Он отконвоировал ее обратно домой и потребовал от жены ответа: действительно ли она такое сказала. Он был крупным мужчиной с чрезвычайно дурным характером. Нет, это неправда, ответила сестра епископа. Девчонка — врунья, она только и ждет, как бы посеять раздор. Муж не добился от жены толку, а она потом, застав Фло одну, отвесила ей такую затрещину, что Фло пролетела через всю комнату и врезалась головой в шкаф. Ей рассекло кожу на голове. Рана со временем зажила сама (врача сестра епископа вызывать не стала, не хотела, чтобы пошли разговоры), и шрам остался у Фло до сих пор.

В школу она после этого уже не возвращалась.

В неполных четырнадцать лет Фло сбежала. Она прибавила себе лет и устроилась работать на перчаточную фабрику в Хэнрэтти. Но сестра епископа выведала, где Фло, и стала время от

времени туда являться. «Мы прощаем тебя, Фло. Ты от нас убежала, бросила нас, но для нас ты по-прежнему наша Фло, наш друг. Пожалуйста, навести нас, побудь с нами денек. Здесь, на фабрике, такой нездоровый воздух, особенно для молодой девушки. Тебе нужно на природу. Приходи нас повидать. Придешь? Обязательно приходи, прямо сегодня!»

И каждый раз, как Фло принимала приглашение, оказывалось, что на этот день намечена грандиозная варка варенья, или закрутка большой партии домашних консервов, или поклейка обоев, или весенняя уборка, или обмолот. Природу Фло во время этих визитов видела только через забор, когда выплескивала грязную воду от мытья посуды. Фло никак не могла понять, зачем продолжает приходить или почему сразу не уходит. Путь был долгий, и разворачиваться и шлепать всю дорогу обратно в город как-то не хотелось. И вообще, эти люди были какие-то беспомощные, просто жалко их становилось. Сестра епископа убирала стеклянные банки на хранение грязными. Принесешь их из погреба, а они все мохнатые от плесени, на дне присохли гнилые куски фруктов. Ну как не пожалеть таких людей?

Так получилось, что, когда сестра епископа умирала в больнице, Фло тоже там лежала. Ей должны были делать операцию на желчном пузыре (это событие Роза смутно помнила). Сестра епископа узнала, что Фло в той же больнице, и выразила желание с ней повидаться. Поэтому Фло позволила перегрузить себя на кресло-каталку и отвезти по коридору в другую палату, и, только увидела женщину на больничной койке — когда-то высокую, с гладкой кожей, а теперь всю костлявую и пятнистую, одурманенную лекарствами, изъеденную раком, — у нее сразу страшно потекла кровь из носу. Это было первое и последнее кровотечение из носу в ее жизни. Красная кровь так и хлестала, рассказывала она, что твои гирлянды на праздник.

Медсестры так и забегали по коридору туда-сюда. Казалось, эту кровь ничто не остановит. Когда Фло подняла голову, струя хлестнула прямо на постель умирающей, а когда опустила, кровь потекла ручьями по полу. Наконец ее всю обложили пузырями со льдом. Она так и не попрощалась с женщиной, лежащей на койке.

— Я с ней так и не попрощалась.

— А ты хотела?

— Ну да. О да. Еще как хотела.

* * *

Каждый вечер Роза приносила домой груз учебников. Латынь, алгебра, древняя история, история Средних веков, французский, география. «Венецианский купец». «Повесть о двух городах». «Короткие поэмы и стихотворения». «Макбет». Фло относилась к учебникам с неприязнью, как и к любым другим книгам. Казалось, неприязнь усиливается пропорционально толщине и весу учебника, темному колориту и мрачности обложки, а также длине и сложности слов в названии. «Короткие поэмы» привели Фло в ярость, потому что, открыв книгу, она обнаружила поэму в пять страниц длиной.

Фло коверкала названия. Роза считала, что Фло делает это нарочно. «Ода» произносилась с ударением на последнем слоге, а «Улисс» заканчивался долгим шепелявым «ф», словно главный герой был пьян.

Отец Розы был вынужден спускаться со второго этажа дома на первый, чтобы ходить в уборную. Он повисал на перилах и двигался медленно, но без остановок. На нем был бурый шерстяной халат с кисточками на поясе. Роза избегала смотреть отцу в глаза. Она боялась увидеть не столько

следы болезни, сколько дурное мнение о ней самой, написанное у него на лице. Безусловно, это для отца она приносила книги. Для того, чтобы перед ним похвалиться. И он смотрел на ее книги, он в жизни не мог пройти мимо книги без того, чтобы не взять ее в руки и не посмотреть название. Но говорил только: «Смотри, а то станешь чересчур умная».

Роза считала, что отец так задабривает Фло на случай, если та слышит. Фло в это время была в лавке. Впрочем, Роза видела, что отец всегда говорит с расчетом на возможное присутствие Фло, где бы она в этот момент ни находилась. Он старался подлизаться к Фло, предвидеть ее возможные возражения. По-видимому, он для себя все решил. Безопасней иметь Фло в союзниках.

Роза ему никогда не возражала. Когда он говорил, она машинально склоняла голову, сжимала губы — общее выражение лица было скрытным, но без явного неуважения. Она была осмотрительна. Но отец видел ее насквозь: ее непреодолимое желание красоваться, надежды на то, что она добьется высокого положения, головокружительные амбиции. Он все видел, и Розе было стыдно уже оттого, что она рядом с ним. Она чувствовала, что каким-то образом опозорила отца — позори-

ла его с момента своего рождения, а в будущем опозорит еще сильней. Но она не раскаивалась. Она осознавала свое собственное упрямство и не намерена была меняться.

Роза знала, что идеалом женщины для отца была Фло. Собственно, он не уставал повторять это. Женщина должна быть энергичной, практичной, экономной, всякое дело должно гореть у нее в руках; она должна иметь острый житейский ум; должна уметь торговаться, командовать людьми, видеть их насквозь, что бы они из себя ни строили. Но в то же время, что касается умственной жизни, женщина должна быть простодушной, почти как ребенок; презирать карты и длинные слова, книжную ученость; голова у нее должна быть очаровательным образом забита искореженными обрывками знаний, предрассудками и народными приметами.

— У женщин голова работает по-другому, — сказал однажды отец Розе, когда между ними царило перемирие и даже дружелюбие — Роза тогда была помоложе. Возможно, отец забыл, что Роза и сама в будущем станет женщиной. — Они верят в то, во что им нужно верить. Ход их мысли никак не проследить.

Это говорилось по поводу убеждения Фло, что

человек, ходящий по дому в калошах, непременно ослепнет.

— Зато они умеют управлять жизнью — такой уж у них талант. Это не в голове. В некоторых отношениях они ловчей мужчин.

Таким образом, преступление Розы частично состояло в том, что она — особа женского пола, но упорствует в заблуждении, не желая становиться женщиной правильного типа. Но это было еще не все. Настоящая беда заключалась в том, что в Розе сочетались и продолжались качества отца, которые он сам считал худшими. Все недостатки, что он успешно задушил, прекратил в себе, снова всплыли на поверхность в Розе, и она отнюдь не выказывала готовности бороться с ними. Она грезила и уходила в себя, она была тщеславна и обожала работать на публику; она жила исключительно воображением. Она не унаследовала от отца того, чем он гордился, на что полагался в жизни, — сноровку, обстоятельность и старание в любой работе. Правду сказать, Роза была чрезвычайно неуклюжа, халтурила, все время норовила упростить себе жизнь. Сам вид Розы — то, как она стоит, бултыхая руками в тазу для мытья посуды, мысли витают где-то далеко, задница уже толще, чем у Фло, косматые волосы торчат кое-как, — са-

мо зрелище, сам факт существования крупной, ленивой, поглощенной собою дочери, казалось, наполняет отца раздражением, меланхолией, почти отвращением.

Роза все это знала. На то время, пока отец проходил через комнату, она застывала совершенно неподвижно и видела себя его глазами. В эти минуты она тоже ненавидела самое пространство, занятое ее телом. Но стоило отцу выйти, и она приходила в себя. Она снова погружалась в собственные мысли или в глубины зеркала, у которого в том возрасте проводила много времени, нагромождая волосы в высокую прическу, поворачиваясь боком, чтобы полюбоваться линией бюста, или оттягивая кожу у висков, чтобы увидеть себя с раскосыми глазами — самую малость, зазывно раскосыми.

Она прекрасно знала, что чувства отца к ней этим не исчерпываются. Знала, что, вопреки почти неудержимому раздражению и мрачным прогнозам на ее будущее, он гордится ею; правда — вся, окончательная правда — заключалась в том, что он не хотел бы видеть ее иной и желал, чтобы она была такая, как есть. Во всяком случае, отчасти желал. Разумеется, он вынужден был постоянно отрицать это. Из смирения — и из духа

противоречия. Противоречивое смирение. Кроме того, ему надо было делать вид, что он почти во всем согласен с Фло.

Роза на самом деле не обдумывала все это так подробно и даже не хотела обдумывать. Ей было так же не по себе, как и отцу, от того, насколько они созвучны друг другу.

* * *

В тот день Фло сказала, когда Роза вернулась из школы:

— Хорошо, что ты пришла. Тебе придется остаться в лавке.

Отца надо было везти в Лондон, в больницу для ветеранов.

— Зачем?

— Не спрашивай. Доктор велел.

— Ему что, хуже?

— Не знаю. Я ничего не знаю. Этот болван-доктор говорит, что нет. Он пришел сегодня утром, осмотрел его и сказал, что надо ехать. Хорошо, что у нас есть Билли Поуп, — можно его попросить отвезти.

Билли Поуп приходился Фло кузеном и работал в мясной лавке. Одно время он жил прямо на бойне, в двух комнатушках с цементным

полом, и пахло от него, естественно, требухой, кишками и живыми свиньями. Но, видно, он был домовит от природы: он растил герань в старых жестянках из-под табака, на широких цементных подоконниках. Теперь он поселился в квартирке над мясной лавкой, скопил денег и купил «олдсмобиль». Это произошло вскоре после войны, когда покупка машины была громким событием. Придя в гости, Билли все время подходил к окну и говорил что-нибудь такое, чтобы привлечь внимание, вроде: «Сена она почти не ест, но и удобрений от нее не дождешься».

Фло гордилась и им, и машиной.

— Видишь, у него широкое заднее сиденье — на случай, если твоему отцу надо будет прилечь.

— Фло!

Это отец позвал. Когда он слег, то первое время звал Фло очень редко, и то робко, словно извиняясь. Но потом преодолел робость и стал звать ее часто. Она говорила, что он специально выискивает предлоги, чтобы заманить ее наверх.

— Интересно, как бы он без меня справлялся? — говорила она. — Пяти минут покоя мне не дает.

Она как будто гордилась этим, хотя часто заставляла отца ждать. Иногда она подходила к подножию лестницы и заставляла отца выкри-

кивать подробности — зачем именно она ему нужна. Она рассказывала покупателям в лавке, что он не может оставить ее в покое даже на пять минут и что она вынуждена менять ему постель дважды в день. Это была правда. Постельное белье отца промокало от пота. Поздно вечером Фло, или Роза, или они обе дежурили у стиральной машины, которая стояла в дровяном чулане. Иногда Роза видела пятна на нижнем белье отца. Она не хотела смотреть, но Фло извлекала белье, размахивала им, едва ли не тыча Розе в нос, кричала: «Погляди-ка!» — и цокала языком, устраивая целый спектакль неодобрения.

В эти минуты Роза ненавидела ее. И отца тоже. Его болезнь. Нищету или экономность, из-за которой они не могли сдавать вещи в прачечную. То, что их жизнь не была защищена решительно ни от чего. Уж об этом Фло заботилась.

* * *

Роза осталась в лавке. Покупатели не шли. На улице ветер швырялся песком, снег давно уже должен был выпасть, но все никак не выпадал. Роза слышала, как ходит наверху Фло — отчитывает, подбадривает, одевает отца. Наверно, укладывает его чемодан, ищет нужные вещи.

Роза положила на прилавок учебники и, чтобы отвлечься от домашних звуков, принялась читать рассказ из английской хрестоматии. Рассказ писательницы Кэтрин Мэнсфилд назывался «Прием в саду». В рассказе действовали бедняки. Они жили в проулке, который начинался на том конце сада. К ним проявляли сострадание. Все прекрасно. Но Розу этот рассказ рассердил вовсе не так, как должен был по замыслу автора. Роза не могла понять, отчего сердится. Но, видимо, ее чувства как-то были связаны с уверенностью, что Кэтрин Мэнсфилд никогда в жизни не заставляли смотреть на чужое загаженное белье. Пускай ее родственники вели себя жестоко и легкомысленно, но акцент, с которым они говорили, не вызывал отторжения в обществе. Сочувствие Кэтрин Мэнсфилд к беднякам покоилось на облаках материального благополучия, о котором сама писательница, возможно, сожалела, но Роза не могла уважать такие чувства. Она уже начинала презирать бедность, и это пройдет у нее лишь спустя много лет.

Она услышала, как в кухню вошел Билли Поуп и бодро закричал:

— Вы, наверно, все хочете знать, куда я подевался!

У Кэтрин Мэнсфилд наверняка не было родственников, которые говорили бы «хочете».

Роза дочитала рассказ. И взяла «Макбета». Она выучила некоторые монологи из этой пьесы. Она часто учила наизусть отрывки из Шекспира и стихи сверх того, что задавали в школе. Декламируя их, она не воображала себя актрисой, играющей леди Макбет на сцене; она воображала себя самой леди Макбет.

— Я пришел пешком! — орал Билли Поуп наверх. — Пришлось ее отогнать, чтоб ею там занялись.

Он был уверен: все сразу догадаются, что он говорит про свою машину.

— Не знаю, что с ней такое. Не работает на холостом ходу, сразу глохнет. Я не хотел ехать в город, если с ней чего-то не в порядке. Роза дома?

Билли Поуп хорошо относился к Розе еще с тех пор, как она была маленькая. Он все время давал ей десятицентовики и говорил: «Подкопи денег и накупи себе корсетов». Тогда она была еще совсем худая и плоская. Это он так шутил.

Он вошел в лавку:

— Ну что, Роза, ты хорошо себя ведешь?

Она односложно буркнула в ответ.

— Над учебниками сидишь? Хочешь стать учи-

тельницей?

— Может быть.

Роза отнюдь не собиралась в учительницы, но после такого заявления от нее удивительно быстро отвязывались.

— Печальный день у вас сегодня, — продолжал Билли Поуп, понизив голос.

Роза подняла голову и холодно взглянула на него.

— Я про то, что твой папа едет в больницу и все такое. Но его там живо поправят. У них для этого есть все машины. И доктора хорошие.

— Сомневаюсь, — сказала Роза. Это тоже внушало ей омерзение — манера людей намекать на что-то и быстро давать задний ход. Увертки. Так делали, говоря о смерти и о сексе.

— Они его поправят, и он вернется домой к весне.

— Если у него рак легких, то нет, — твердо сказала Роза. Она никогда раньше не произносила эти слова вслух, и тем более их не произносила Фло.

У Билли Поупа сделалось такое несчастное лицо, словно она сказала что-то очень неприличное и он за нее стыдился.

— Нельзя так говорить! Ни в коем случае, ты что! Он сейчас спустится вниз, и что, если он тебя

услышит?

Нельзя отрицать, что по временам Роза была счастлива своим положением. Суровое счастье: когда она не была слишком занята стиркой простыней и ей не приходилось прислушиваться к очередному приступу кашля. Она драматизировала собственную роль, думала о том, как она ясным взором видит будущее и ничему не удивляется, отвергает любой самообман, юная годами, но повзрослевшая от горького жизненного опыта. Именно с этим настроем она произнесла «рак легких».

Билли Поуп позвонил в автомастерскую. Оказалось, что машину починят только к вечеру. Решили, что вечером ехать не стоит: Билли переночует у них на диванчике в кухне, а утром вместе с Розиным отцом двинется в путь.

— Незачем спешить, я не собираюсь ради него прыгать, — сказала Фло, под «ним» подразумевая доктора.

Она вышла в лавку, чтобы взять банку лосося — сделать запеканку на ужин. Хотя Фло никуда не ехала и не собиралась, она надела чулки и переменила юбку с блузкой на чистые.

Пока Фло соображала ужин, они с Билли Поупом громко беседовали на кухне. Роза сидела на

высокой табуретке и мысленно декламировала, глядя в окно лавки на Западный Хэнрэтти, на пыль, которую ветер нес по улице, и на сухие ямы, оставшиеся от луж:

…сюда придите,
На груди женские мои, —
пить желчь,
Не молоко![5]

То-то они подскочили бы, если б ей вздумалось прокричать эти слова в кухню.

В шесть вечера она заперла лавку. Войдя в кухню, она с удивлением увидела там отца. До этого она его не слышала. Он не разговаривал и не кашлял. Он был одет в свой лучший костюм — необычного цвета, какого-то маслянисто-зеленого. Вероятно, этот костюм когда-то продавался со скидкой.

— Глянь, как вырядился, — сказала Фло. — Поди, думает, что выступает щеголем. И так доволен, что не хочет теперь обратно в постель.

Отец Розы улыбнулся — неестественно, покорно.

— Как ты теперь себя чувствуешь? — спросила

---

[5] Примечания: 5
Шекспир У. Макбет. Акт I, сц. 5. Перев. А. Радловой.

Фло.

— Нормально.

— Ну, во всяком случае, приступов кашля у тебя не было.

Свежевыбритое лицо отца казалось гладким и хрупким, как фигурки зверей, что Роза и ее одноклассники когда-то вырезали из желтого хозяйственного мыла.

— Может, мне пора уже встать и больше не ложиться.

— Вот это дело, — задорно подхватил Билли Поуп. — Хватит валяться. Вставай и уже не ложись. Работа не ждет.

На столе стояла бутылка виски. Ее принес Билли Поуп. Мужчины стали пить виски из стеклянных стаканчиков, в которых когда-то продавалась сырная паста. Сверху виски они доливали с полдюйма воды.

Пришел с улицы Брайан, сводный брат Розы; шумный, грязный после игры, окутанный холодным запахом уличного воздуха.

Как раз когда он вошел, Роза спросила, кивнув на бутылку виски:

— Можно мне тоже?

— Девочки этого не пьют! — ответил Билли Поуп.

— Если тебе дать, то и Брайан тут же начнет ныть, чтобы ему тоже дали, — сказала Фло.

— Можно мне тоже? — проныл Брайан, и Фло громогласно расхохоталась, задвинув собственный стакан за хлебницу:

— Вот видишь?

* * *

За ужином Билли Поуп сказал:

— В стародавние времена были люди, которые лечили. Но теперь про такое больше не слыхать.

— Жалко, что сейчас нельзя хоть одного найти, — заметил отец Фло, подавив очередной приступ кашля.

— Мой отец часто рассказывал про такого целителя, — сказал Билли Поуп. — Он эдак странно говорил, как из Библии. К нему пришел один глухой, и он его увидел и тут же исцелил от глухоты. А потом и говорит ему: «Слыши ли?»

— «Слышиши ли?» — предположила Роза.

Доставая хлеб из хлебницы, она осушила припрятанный Фло стаканчик и была уже добрее настроена ко всей своей родне.

— Во, точно! «Слышиши ли?» И этот такой, ага, я слышу. А целитель ему: «Веруеши ли?» И наверно, тот мужик не понял, о чем это он. И говорит:

«Во что?» Ну и этот целитель, он разозлился и отобрал у мужика слух обратно, раз — и все, и тот пошел домой глухой, как пришел.

Фло сказала, что там, где она жила девчонкой, была женщина, ясновидящая. По воскресеньям в конце дороги, где она жила, выстраивались рядами двуколки, а позже — машины. В этот день люди издалека приезжали, чтобы спросить у нее совета. Как правило, насчет потерянных вещей.

— А разве они не хотели поговорить со своими покойными родственниками? — спросил отец Розы, подзуживая Фло. Он любил так делать, когда она рассказывала. — Я думал, она могла помочь человеку поговорить с покойной родней.

— Наверно, эти люди были по горло сыты своими родственниками еще до того, как те умерли.

Ясновидящую спрашивали о потерянных кольцах, спрятанных завещаниях, пропавшем скоте. Куда все это девалось.

— К ней пришел один парень, мой знакомый, он бумажник потерял. Он работал на железнодорожной линии. И она ему говорит: ты помнишь, как неделю назад работал на путях, оказался возле сада и решил сорвать яблочко? Перепрыгнул через забор? Вот тут-то ты и уронил свой бумажник, прямо там, на месте, в высокой траве. Но

тут, это ясновидица говорит, подбежала собака, схватила бумажник и уронила его чуток подальше вдоль забора, там-то ты его и найдешь. А тот парень начисто позабыл и про сад, и как через забор лазил, и так удивился, что дал ей доллар. И пошел и нашел свой бумажник в том самом месте, где она сказала. Это все правда, он был мой знакомый. Но деньги оказались все изжеваны, в клочки, и когда он это увидел, то чуть не лопнул от злости, что дал ясновидящей целый доллар!

— Но ты-то сама к ней не ходила, — подсказал отец Розы. — Ты ведь таким людя́м не доверяешь?

Обращаясь к Фло, отец часто говорил по-деревенски. Еще он перенял деревенскую привычку поддразнивать собеседника, говоря заведомо противоположное истине или тому, что считалось истиной.

— Нет, я к ней никогда не ходила спрашивать, — сказала Фло. — Но один раз я к ней пошла. Мне надо было взять у нее зеленого луку. Моя мать болела и страдала нервами, и эта женщина велела нам передать, что зеленый лук помогает от нервов. Но оказалось, что это вообще не нервы, а рак, так что я не знаю, что хорошего нам было от этого зеленого луку.

Фло повысила голос и торопливо принялась рассказывать дальше, смущенная тем, что выдала свои чувства.

— И вот я должна была пойти к ней за луком. Она заранее надергала луку, вымыла и связала в пучок и говорит: не уходи еще, зайди в кухню, посмотри, что я для тебя приготовила. Ну я не знала, что у нее там, но побоялась перечить. Я думала, что она ведьма. Мы все так думали, вся школа. И вот я села на кухне, а она пошла в чулан, и вынесла большой шоколадный торт, и отрезала кусок, и дала мне. И мне пришлось сидеть и есть его. А она сидела и смотрела, как я ем. Я ничего от нее не запомнила, только руки. У нее были большущие красные руки, и вены эдак выпирали. И она все время крутила и ломала эти руки у себя на коленях. Я потом часто думала, что ей самой не мешало бы поесть зеленого луку, у нее тоже явно с нервами не в порядке… И потом я почувствовала, что вкус какой-то странный. У торта. Что-то с ним было не так. Я, правда, не перестала есть. Я ела и ела и, когда все доела, сказала спасибо. И скажу я вам, я как вылетела оттуда! По ее дороге я пошла медленно, потому что она наверняка смотрела мне в спину, но только я дошла до большой дороги, то как припустила! Но я все равно боялась, что

она следит за мной, невидимая или как-нибудь, и возьмет да прочитает мои мысли, а потом как приподнимет да шмякнет об дорогу, что и мозги наружу. Добежала я до дому, дверь открыла и как закричу: «Меня отравили!» Так я подумала. Что она заставила меня съесть отравленный пирог. Но пирог был просто плесневелый. Так моя мать сказала. У ясновидящей в доме сырость, а к ней, бывало, по нескольку дней никто не приходил, и пирог некому было съесть — хотя в другие дни у нее собирались толпы. И наверно, он просто у нее залежался… Но я в это не верила. Нет. Я была уверена, что съела яд и теперь непременно помру. Я пошла и села в амбаре, где зерно хранили. Я там себе устроила такой угол, про который никто не знал. Держала там всякий хлам. Осколки фарфора и бархатные цветы. Я их помню: они были со шляпы, которую испортило дождем. И вот я там села и стала ждать.

Билли Поуп засмеялся:

— И что, кто-нибудь пришел и выволок тебя оттуда?

— Я уже забыла. Наверно, нет. Да они бы меня и не нашли — я была в самой глубине, за мешками с кормом. Нет. Я не знаю. Наверно, в конце концов мне просто надоело ждать и я сама вышла.

— И прожила еще много лет, чтобы поведать нам эту историю, — сказал отец Розы.

Последнее слово ему пришлось проглотить в борьбе с длительным приступом кашля. Фло сказала, что хватит ему разгуливать и пора в постель, но он сказал, что приляжет на кухонном диванчике, и так и сделал. Фло и Роза убрали со стола и вымыли посуду, а потом, чтобы убить время, все четверо — Фло, Билли Поуп, Брайан и Роза — расселись вокруг стола и принялись играть в юкр. Отец задремал. Роза представила себе, как Фло сидит в углу амбара с осколками фарфора, мятыми бархатными цветами и прочими своими сокровищами и ждет — охваченная ужасом, постепенно убывающим, и душевным подъемом, и желанием увидеть, как смерть расколет ее день пополам.

Сейчас ждал отец Розы. Его мастерская была заперта, ему было больше не суждено открыть ни одну из своих книг, а завтра будет последний день в его жизни, когда он наденет ботинки. Вся родня уже свыклась с этой мыслью и в некотором роде сильней обеспокоилась бы, если бы он не умер. Никто не мог спросить, что думает обо всем этом сам отец. Он расценил бы подобный вопрос как наглость, желание выставиться, потакание

собственным чувствам спрашивающего. Роза была в этом уверена. Она была уверена, что он готов к Вестминстерской больнице — госпиталю для солдат-ветеранов, — к ее мужественной мрачности, пожелтелым занавескам, отгораживающим кровати, раковинам в пятнах ржавчины. И тому, что придет потом. Роза понимала: отец никогда не будет с ней в большей мере, чем сейчас. Сюрпризом оказалось то, что и после этого дня он был с ней, и не в меньшей мере.

* * *

Роза пила кофе, блуждая в свете искусственных ламп зелеными коридорами новой школы для старших классов. Шла встреча выпускников, посвященная столетию школы, — Роза не специально приехала на встречу, она, можно сказать, случайно попала с корабля на бал, вернувшись в родной город, чтобы разобраться с Фло. Роза натыкалась на людей, которые говорили ей:

— Ты знаешь, что Руби Каррузерс умерла? Ей удалили одну грудь, потом другую, но она была уже вся изъедена и вот умерла.

А другие говорили:

— Твоя фотография была в том журнале… как же его… он лежит у меня дома.

В новом здании школы была автомастерская для обучения будущих автомехаников и косметический салон для обучения будущих косметичек; библиотека; актовый зал; спортивный зал; странное сооружение вроде крутящегося фонтана для мытья рук в туалете для девочек. И еще работающий автомат по продаже прокладок.

Дел Фэрбридж стал гробовщиком.

Коротышка Честертон стал бухгалтером.

Конь Николсон заработал кучу денег на строительных подрядах и удалился от дел, чтобы заняться политикой. Он произнес речь, в которой заявил, что в школе должно быть поменьше французского языка и побольше религии.

Дикие лебеди

Фло велела Розе остерегаться Торговцев Белыми Рабынями. По ее словам, они действовали следующим образом: пожилая женщина, с виду — чья-то мать или бабушка, заговаривает с тобой в автобусе или поезде. И угощает тебя конфетой, в которую подложено снотворное. Ты скоро становишься вся сонная и говоришь бессвязно. Старуха кричит: «Помогите, моей дочери (или внучке) плохо, помогите нам сойти, чтобы она пришла в себя на свежем воздухе!» Подходит вежливый мужчина, притворяясь, что незнаком со старухой, и предлагает помощь. На ближайшей остановке они вдвоем выволакивают тебя из автобуса или поезда, и только тебя и видели. После этого тебя доставляют в Обиталище Белых Рабынь (опоенной снотворным и связанной, чтобы ты понятия не имела, где находишься) и там держат под замком, пока ты окончательно потеряешь человеческий облик, отчаешься в спасении, пьяные звероподобные мужчины изорвут тебе все внутри и заразят тебя ужасными болезнями, ты лишишься рассудка от употребления

наркотиков, и у тебя выпадут все волосы и зубы. Чтобы прийти в такое состояние, понадобится года три. Тогда ты и сама не захочешь вернуться домой — а может, уже не будешь помнить, где дом, и не найдешь дороги, даже если бы и хотела. И тебя попросту выбросят на улицу.

Фло пришила десятидолларовую бумажку в полотняном мешочке к бретельке Розиной комбинации. Другая вероятная опасность заключалась в том, что у Розы украдут кошелек.

Еще Фло велела особенно остерегаться людей в одежде священников. Хуже их никого нет. И Торговцы Белыми Рабынями, и разные воры и мошенники любят такую маскировку.

Роза сказала, что не знает, как отличить переодетого злоумышленника от настоящего священника.

Фло когда-то работала в Торонто. Подавальщицей в кофейне на центральном вокзале. Потому и знала столько всего. В те дни она видела дневной свет только по выходным. Но зато перевидала много всего другого. Она видела, как один человек вспорол другому живот ножом, поддернул рубашку и аккуратно взрезал, словно то был арбуз, а не живот. Владелец живота только сел и удивленно посмотрел, даже не успел вскрик-

нуть. Фло утверждала, что в Торонто на такое и внимания не обращают. Однажды у нее на глазах дрались две беспутные женщины (Фло называла их «беспутаными»), а какой-то мужчина над ними смеялся. Другие мужчины тоже останавливались, хохотали и подзуживали их, а они выдирали друг другу волосы пучками. В конце концов приехала полиция и забрала обеих, а они продолжали выть и вопить.

Еще она однажды видела, как ребенок умирает от припадка. Лицо у него было черное, как чернила.

— Ну а я не боюсь, — с вызовом сказала Роза. — Есть ведь полиция, в конце концов.

— Ага, полиция! Они-то первые тебя и взбутетенят!

Роза не верила ни слову из того, что говорила Фло, если это касалось секса.

Взять, например, похоронных дел мастера.

Маленький лысый человечек, очень аккуратно одетый, иногда заходил к ним в лавку и заискивающе обращался к Фло:

— Мне только пакетик конфет, пожалуйста. И может быть, несколько упаковочек жвачки. И парочку шоколадных батончиков. Вы не будете так добры их завернуть?

Фло издевательски-почтительным тоном уверяла его, что охотно выполнит просьбу. Она заворачивала покупки в плотную белую бумагу, так что они начинали походить на подарки. Покупатель долго выбирал товар, мурлыча что-то про себя и болтая с Фло, и потом долго мешкал у прилавка. Например, мог осведомиться о самочувствии Фло. Или, если в лавке была Роза, спрашивал, как она поживает.

— Ты что-то бледненькая. Юным девушкам нужен свежий воздух.

Фло он мог сказать:

— Вы очень тяжело работаете. Вы всю жизнь так тяжело работали!

— «Нечестивым же нет покоя», — безмятежно отзывалась Фло.

Когда он наконец уходил, Фло бросалась к окну. Вот и он, старый черный катафалк с фиолетовыми занавесками.

— Уж он сегодня выйдет на охоту! — говорила Фло, а катафалк неспешно — почти похоронным темпом — катился прочь.

Лысый человечек когда-то был похоронных дел мастером, но сейчас удалился на покой. Катафалк тоже удалился на покой.

Дело перешло к сыновьям, и они купили новый

катафалк. А на старом отставной похоронных дел мастер раскатывал теперь, охотясь за женщинами. Так говорила Фло. Роза в это не верила. Фло сказала, что он покупает жвачку и конфеты для женщин. Роза сказала, что он наверняка съедает их сам. Фло сказала, что его видели и слышали. В теплую погоду он ездит, опустив стекла, и распевает — для себя или для кого-то, сидящего в задней части катафалка и скрытого от посторонних глаз:

"Нежна лебяжья шея,

"Чело белей снегов...

Фло передразнивала поющего гробовщика. И изображала в лицах: вот женщина идет по пустынной дороге, а гробовщик ее обгоняет, или она отдыхает на перекрестке, а гробовщик едет мимо. Он рассыпается в комплиментах, угощает шоколадным батончиком, любезно предлагает подвезти. Конечно, все женщины, которые рассказывали о встречах с ним, утверждали, что он не на такую напал. Он никогда не настаивал, вежливо ехал себе дальше. Он заезжал к людям в гости и вполне удовлетворялся светской беседой, если вдруг муж оказывался дома. Жены говорили, что он никогда ни на что другое и не претендовал,

но Фло этому не верила.

— Некоторых женщин он обдурил, — утверждала она. — Немало таких.

Она любила вслух рассуждать о том, что там внутри катафалка. Плюш. И стены, и потолок, и пол обиты плюшем. Приглушенного фиолетового цвета, цвета занавесей катафалка, цвета темной сирени.

Вот чепуха, думала Роза. Ну кто поверит, что мужчина в этом возрасте на такое способен?

* * *

Роза должна была ехать в Торонто поездом одна, впервые в жизни. До этого она один раз была в Торонто с Фло, задолго до смерти отца. Они взяли с собой из дома бутерброды, а в поезде купили у разносчика шоколадное молоко. Оно оказалось прокисшим. Кислое шоколадное молоко. Роза упорно отхлебывала молоко небольшими глотками, отказываясь признать, что вожделенное лакомство ее так подвело. Фло понюхала молоко, потом обыскала весь поезд и нашла разносчика — беззубого старика в красной куртке, с висящим на шее лотком. Она предложила ему попробовать шоколадное молоко. А оказавшимся рядом пассажирам предложила это молоко понюхать.

Торговец дал ей бесплатно имбирного лимонада. Лимонад был чуточку тепловатый.

— Я ему все сказала, — объявила Фло, озираясь по сторонам, когда торговец ушел. — Таким людям надо все говорить.

Одна женщина с ней согласилась, но все остальные пассажиры смотрели в окна. Роза выпила имбирный лимонад. То ли от него, то ли из-за сцены с разносчиком, то ли из-за разговора, завязавшегося у Фло с поддержавшей ее женщиной (откуда они родом, и зачем едут в Торонто, и почему Роза такая бледная — потому что она по утрам страдает запором), то ли из-за того шоколадного молока, что Роза успела проглотить, ее стошнило в поездном туалете. Весь день она боялась, что люди учуют запах рвоты от ее пальто.

На этот раз Фло начала поездку с того, что приказала кондуктору: «Присматривайте за ней, она первый раз уезжает из дому!» — а потом огляделась вокруг и засмеялась — чтобы показать, что это она так пошутила. Потом ей пришлось выйти из вагона. Кажется, кондуктор, как и сама Роза, отнюдь не был расположен шутить, и у него не было времени ни за кем присматривать. Он попросил Розу показать билет, но помимо этого не сказал ей ни единого слова. Ей досталось место у

окна, и скоро она уже погрузилась в невероятное счастье. Она чувствовала, как съеживается Фло, как улетает вдаль Западный Хэнрэтти и как она сама с той же легкостью сбрасывает свое собственное утомительное «я». Маленькие городки, пролетающие за окном, — все менее и менее знакомые — вызывали у нее безумный восторг. Вот женщина в ночной рубашке стоит в проеме задней двери своего дома, не заботясь о том, что ее видят из поезда. Поезд шел на юг, из полосы снегов — в царство ранней весны, в более нежный пейзаж. В этих местах уже можно растить персики у себя на заднем дворе.

Роза мысленно перебирала вещи, которые должна купить в Торонто. Первым делом — для Фло. Специальные чулки для варикозных вен. Специальный клей — приклеивать ручки к кастрюлям. И полный набор костяшек домино.

Для себя Роза хотела купить крем-депилятор, чтобы убрать волосы с рук и ног. И еще, если получится, прибор с надувными подушечками, который уменьшает объем бедер и ягодиц. Роза подумала, что крем-депилятор наверняка продается и в аптеке в Хэнрэтти, но продавщица в аптеке дружила с Фло и рассказывала ей абсолютно все. Что же до прибора с подушечками,

его можно было заказать по почте, но на почте наверняка заметят такую посылку, а у Фло и там были знакомые. Еще Роза надеялась купить себе комплект тонких браслетов и свитер из ангоры. Она возлагала большие надежды на браслеты и этот светло-голубой свитер. Ей казалось, что они преобразят ее: что в браслетах и свитере она станет стройной и уверенной в себе, волосы превратятся из курчавых в волнистые, подмышки перестанут потеть, а кожа лица станет безупречно матовой.

Деньги на все эти покупки, а также на дорогу Роза получила как приз за сочинение на тему «Наука и искусство в мире будущего». К удивлению Розы, Фло захотела ознакомиться с сочинением и, читая, заметила, что приз Розе дали, видно, за то, что она проглотила словарь. Но, дойдя до конца, робко сказала: «Очень интересное».

В Торонто Роза должна была ночевать у Селы Маккинни. Села Маккинни была двоюродной сестрой отца Розы. Она вышла замуж за менеджера отеля и решила, что поднялась на ступеньку выше в обществе. Но в один прекрасный день менеджер отеля пришел домой, сел на пол в столовой между двух стульев и сказал: «Больше я из этого дома не выйду». Ничего особенного с ним не

случилось, он просто решил больше не выходить из дому. И не выходил до самой смерти. От этого Села Маккинни стала странной и нервозной. В восемь часов вечера она запирала двери. Еще она была очень скупая. На ужин обычно подавала овсянку с изюмом. Дом у нее был темный, узкий, и пахло в нем как в отделении банка.

Поезд постепенно заполнялся. В Брантфорде мужчина спросил разрешения сесть рядом с Розой.

— А сегодня прохладней, чем можно было ожидать, — сказал он.

Он предложил Розе секцию своей газеты. Роза поблагодарила и отказалась.

Потом, чтобы сосед не счел ее невоспитанной, она сказала, что сегодня и в самом деле прохладно. И стала дальше смотреть в окно вагона на весеннее утро. Здесь уже совсем не осталось снега. Кора деревьев и кустов казалась светлей, чем дома. Даже солнечный свет выглядел иначе. Он так же отличался от солнечного света в ее городке, как отличался бы солнечный свет на побережье Средиземного моря или в долинах Калифорнии.

— Какие окна грязные. Похоже, что управлению железной дороги ни до чего дела нет, — сказал мужчина. — Вы часто ездите поездом?

Она сказала, что нет.

На полях стояла вода. Сосед кивнул на окно и сказал, что в этом году талой воды много.

— Были обильные снега.

Роза обратила внимание, что он сказал «снега» — выразился поэтически. В ее родном городке говорили исключительно «снег».

— Вчера со мной случилось необычное происшествие. Я ехал на машине по сельской дороге. Я собирался навестить одну из своих прихожанок, даму, у которой больное сердце…

Роза бросила взгляд на воротничок соседа. Сосед был одет в обычную рубашку, темно-синий костюм и при галстуке.

— О да, — сказал он. — Я священник Объединенной церкви. Но я не всегда ношу пастырские одеяния. Только когда собираюсь проповедовать. Сегодня у меня выходной. Ну так вот, как я уже сказал, я ехал по сельской дороге и вдруг увидел канадских гусей на пруду. Я пригляделся и заметил, что с ними плавают еще и лебеди. Целая большая стая лебедей. Прекраснейшее зрелище. Наверно, это их весенний перелет, они перебираются на север. Восхитительная была картина. Я никогда ничего подобного не видел.

Роза не могла с восторгом откликнуться на

этот рассказ о диких лебедях, поскольку боялась, что священник переведет разговор на природу вообще, а потом на Бога, как и положено священнику. Но он не стал этого делать: остановился на лебедях.

— Прекраснейшее зрелище. Вам бы понравилось.

Роза решила, что ему где-то между пятьюдесятью и шестьюдесятью. Он был небольшого роста, энергичный, с квадратным полнокровным лицом и яркими волнами седых волос, зачесанных ото лба прямо назад. Когда Роза поняла, что он не собирается переходить на Бога, она решила как-то поблагодарить его за рассказ.

Она сказала, что лебеди, наверное, были прекрасны.

— Даже не настоящий пруд. Просто лужа из талой воды в поле. Мне удивительно повезло, что лужа образовалась именно у дороги, где я проезжал. И что птицы спустились на воду, и что я проехал мимо именно в это время. Просто повезло. Кажется, перелетные птицы делают привал на восточном конце озера Эри. Но раньше мне никогда не удавалось их увидеть.

Роза постепенно опять развернулась к окну, а сосед снова углубился в газету. Роза продолжала

слегка улыбаться — чтобы не показаться грубой, чтобы не выглядеть так, будто она полностью закрыта для разговора. Утро в самом деле было прохладное, и Роза сняла свое пальто с крюка, куда повесила его, войдя в вагон, и накрыла себе колени, как пледом. Свою сумку она поставила на пол, когда священник сел рядом, чтобы ему было просторней. Он стал разбирать газету на разделы, картинно встряхивая их и громко шурша. Розе показалось, что он из тех людей, которые все делают картинно. По-священнически. Он отбрасывал те разделы газеты, которые его в данный момент не интересовали. Угол газеты коснулся ноги Розы рядом с краем пальто.

Так сначала подумала Роза — что это угол газеты. Потом сказала себе: а что, если это рука? Она вполне могла вообразить подобное. Она иногда приглядывалась к рукам мужчин, к волосатым предплечьям, к сосредоточенным профилям. Она думала обо всем, что могут делать эти мужчины. Даже глупые. Например, торговец-водитель, который привозил к ним в лавку хлеб. Зрелость и уверенность манер, привычная спокойная ловкость за рулем хлебного фургона. Живот, нависающий над ремнем, не внушал Розе отвращения. В другое время Роза приглядывалась к учителю

французского языка в их школе. Он был никакой не француз, его фамилия была Макларен, но Роза думала, что преподавание этого языка его обтесало и сделало в самом деле похожим на француза. Стремительные движения, желтоватая кожа, острые худые плечи, крючковатый нос и печальные глаза. Роза видела мысленным взором, как он жадно, содрогаясь, впивает неторопливое наслаждение, идеальный властитель, утоляющий свои прихоти. Розе не давало покоя желание стать чьим-нибудь предметом. Чтобы ее мяли, ублажали, умаляли, истощали.

Но что, если это рука? Что, если это и впрямь рука? Роза слегка пошевелилась, отодвинулась, насколько хватало места, к окну. Кажется, ее воображение создало эту реальность — реальность, к которой сама Роза была отнюдь не готова. Розу это встревожило. Она сосредоточилась на своей ноге, на этом участке кожи, обтянутой чулком. Розе не хватало сил посмотреть туда. Давит что-то на ее ногу или нет? Она снова пошевелилась. Ее колени были плотно сжаты и остались плотно сжатыми. Да. Это рука. Это рука прижимается.

«Пожалуйста, не надо». Роза пыталась это выговорить. Она сформировала слова в уме, попробовала их, но не смогла вытолкнуть изо рта.

Почему? От стыда? От страха, что кто-нибудь услышит? Кругом было полно народу, все сиденья заняты.

Но дело было не только в этом.

Ей удалось посмотреть на соседа — не подняв головы, только осторожно повернув ее. Сосед откинул спинку сиденья назад и закрыл глаза. Рукав его темно-синего пиджака уходил под газету. Газету сосед положил так, что она перекрывала край Розиного пальто. Рука лежала под газетой, расслабленная, словно сосед вольготно вытянул ее во сне.

Конечно, Роза могла отогнуть край газеты и скинуть с себя пальто. Если сосед не спит, ему поневоле придется убрать руку. Если он спит, если он не уберет руку, Роза может шепотом извиниться и решительно переложить ее на его собственное колено. Это решение — такое очевидное и надежное — не пришло ей в голову. Потом она задумывалась — почему? Прикосновение руки священника не было ей желанно. Тогда — не было. Из-за этой руки Розе было не по себе, она злилась, испытывала легкое омерзение, чувствовала себя как в ловушке, настороже. Но она не могла взять верх над этой рукой, отвергнуть ее. Она не могла настаивать, что рука

лежит здесь, если владелец руки неявно утверждает, что никакой руки тут нет. Как могла Роза обвинять его, если он полулежал рядом, такой невинный, доверчивый, отдыхая после тяжелого дня, с таким довольным и здоровым лицом? Человек старше ее отца (если бы тот еще был жив). Человек, привыкший служить другим, любитель природы, восторгающийся дикими лебедями. Роза была уверена, что «Пожалуйста, не надо» будет подчеркнуто не замечено, как некая грубость или глупость с ее стороны. Она знала, что, как только выдавит из себя эти слова, сразу начнет надеяться, что он их не услышал.

Но было и еще кое-что. Любопытство. Неотвязней и настойчивей всякой похоти. Оно само как похоть — заставляет чуть отпрянуть назад и ждать, ждать слишком долго, рискуя практически всем, только чтобы узнать, что будет дальше. Узнать, что будет дальше.

Поезд проехал еще несколько миль, и рука очень нежно и деликатно, даже робко, начала прикасаться, исследовать. Сосед не спал. Или, даже если сам он спал, рука его не спала. Роза испытывала отвращение. Легкую рассеянную тошноту. Она представляла себе плоть: складки плоти, розовые рыла, толстые языки, тупые

пальцы, все двигаются, переползают, трутся, пульсируют, ища удовлетворения. Розе представились кошки в течке — как они потираются о верхушки забора и воют, жалуясь миру на свои страдания. В этом зуде, просовывании, лапанье было что-то незрелое, жалкое. Губчатые ткани, воспаленные оболочки, истязаемые нервные окончания, постыдные запахи; унижение.

Все это было лишь начало. Его рука, которую Роза не желала бы держать в своей, которую ни за что не согласилась бы пожать в знак приветствия, упорная терпеливая рука смогла в конце концов заставить травы шелестеть и ручьи — журчать, пробудить тайное наслаждение.

Но все же она не хотела. Несмотря ни на что, она все же не хотела. Пожалуйста, уберите руку, сказала она в окно. Не надо, пожалуйста, сказала она пням и амбарам. Рука поднялась по ее бедру через край чулка и нашла голое тело, поднялась еще выше, под пояс для чулков, нашла трусики и низ живота. Ноги были все еще сжаты, плотно сдвинуты вместе. Пока ноги были сжаты, Роза могла претендовать на невинность — она ничего не признавала. Она могла по-прежнему верить, что в силах немедленно остановить происходящее. Ничего не случится — ничего сверх того, что

уже случилось. Она никогда не раздвинет ноги.

Но она их раздвинула. Все же. Когда поезд пересекал Ниагарскую гряду над Дандасом и пассажиры глядели вниз на доледниковую долину, на рассыпанные беспорядочно, как обломки, холмы, покрытые серебристым лесом, а потом заскользил под горку, к берегам озера Онтарио, Роза сделала медленное, молчаливое и решительное заявление, которое, может быть, столь же разочаровало, сколь и удовлетворило владельца руки. Он не поднял век, его лицо не дрогнуло, а пальцы не колеблясь принялись за потайной упорный труд. Вторжение, приятие, солнечный свет, дробящийся на бескрайних водах озера; мили и мили голых садов вокруг Берлингтона, просыпающихся по весне.

Это был позор, попрошайничество. Но какая в том беда? — говорим мы себе в подобные моменты. Разве это кому-нибудь повредило? Чем хуже, тем лучше, твердим мы, оседлав гребень холодной волны жадности, жадного согласия. Чужая рука, корнеплоды или скромные кухонные орудия, упоминаемые в анекдотах. В мире полным-полно невинных с виду предметов, готовых открыть свое истинное лицо, скользких, услужливых. Роза старалась дышать потише. Она сама

не могла поверить в происходящее. Поезд пронес ее, жертву и пособницу, мимо фабрики варенья и джема «Гласско», мимо больших пульсирующих труб нефтяных заводов. И плавно въехал в пригороды, где постельное белье и полотенца для вытирания постыдных пятен похабно хлопали на ветру; где даже дети, казалось, играли на школьных дворах в непристойные игры; где даже водители грузовиков, остановившихся у шлагбаума, радостно тыкали большим пальцем в сжатый кулак другой руки. Такие хитроумные выходки, такие всеми любимые зрелища. Показались ворота и башни Канадской национальной выставки; раскрашенные купола и колонны чудодейственным образом парили на фоне розового неба закрытых Розиных век. А потом разлетелись праздничным фейерверком. Словно стая птиц — может быть, даже диких лебедей — проснулась разом под одним большим куполом и вылетела наружу, в небо, как взрыв.

Роза прикусила язык. Вскоре по вагону прошел кондуктор, будя пассажиров, возвращая их к жизни.

В темноте под вокзалом священник Объединенной церкви, освеженный отдыхом, открыл глаза, сложил газету и предложил Розе помочь

ей надеть пальто. Его галантность была самодовольной, пренебрежительной. Нет, сказала Роза больным языком. Он поспешил наружу из вагона, опередив ее. На вокзале Роза его не видела. Она вообще больше никогда его не встречала. Но он оставался, если можно так выразиться, на посту, всегда готовый скользнуть на место в критический момент, несмотря на существование — чуть позже — мужа или любовников. Что было на его стороне? Этого Роза так никогда и не поняла. Простота, наглость, извращенная притягательность человека, которому не хватает не то что красоты, а даже обычной взрослой мужественности? Когда он встал, оказалось, что он еще ниже ростом, чем думала Роза. Лицо — розовое, блестящее. В нем было что-то примитивное, нахальное, детское.

Интересно, он в самом деле священник или соврал? Фло говорила про людей, которые одеваются как священники, а на самом деле таковыми не являются. Про настоящих священников, одетых не как священники, она не говорила ничего. Или — еще страннее — про людей, которые не настоящие священники, но притворяются настоящими, но одеты в обычную одежду. В любом случае то, что Роза подошла так близко к определенной возможности, было чрезвычайно

неприятно. Роза шла по центральному вокзалу, и полотняный мешочек с десятью долларами терся о ее кожу. Роза знала, что будет чувствовать это трение целый день напролет, как напоминание.

Она не могла не вспоминать наставления Фло — даже теперь. Поскольку Роза была на центральном вокзале, она вспомнила рассказ Фло про девушку по имени Мэвис, которая работала здесь, на вокзале, в сувенирном магазине, когда сама Фло трудилась тут же в кофейне. У Мэвис были бородавки на веках, которые выглядели как зарождающийся ячмень, но они не превращались в ячмень, а проходили сами. Может, Мэвис их удаляла — Фло ее не спрашивала. Без бородавок Мэвис была очень красивая. Она была похожа на одну известную киноактрису того времени. Актрису звали Фрэнсис Фармер.

Фрэнсис Фармер. Роза никогда про такую не слыхала.

Да, так ее звали. И однажды Мэвис пошла и купила себе большую шляпу с полями, закрывающими один глаз, и платье целиком из кружева. И поехала на выходные в Джорджиан-Бэй, в пансионат на берегу залива. Она записалась там под именем Флоренс Фармер. Чтобы все подумали, что она на самом деле та актриса, но назвалась

Флоренс, потому что приехала отдыхать и не хотела, чтобы ее узнали. У нее был мундштук для сигарет — черный с перламутром. Ее могли арестовать, сказала Фло. За такую наглость.

Роза едва удержалась, чтобы не пройти мимо сувенирного магазина и не посмотреть — вдруг Мэвис до сих пор там работает и Роза сможет ее узнать. Розе казалось, что это достойный восхищения поступок — так преобразовать себя. Рискнуть; сделать так, чтобы тебе это сошло с рук; отправиться на нелепые приключения в своей собственной шкуре, но под совсем новым именем.

Деванищенка

Патрик Блэтчфорд был влюблен в Розу. Это стало у него навязчивой идеей, доходящей до фанатизма. Для Розы его чувство было источником непрестанного удивления. Патрик хотел на ней жениться. Он ждал ее после занятий, вдвигался в пространство и шел рядом, так что всем желающим с ней поговорить приходилось считаться с его присутствием. Он молчал, когда рядом были друзья или однокурсники Розы, но пытался встретиться с ней глазами, чтобы холодным удивленным взглядом выразить свое мнение об их разговоре. Розе это льстило и в то же время пугало ее. Девочка по имени Нэнси Фоллз, подруга Розы, неправильно произнесла при нем фамилию Меттерних. Потом Патрик сказал Розе: «Как ты можешь дружить с подобными людьми?»

Нэнси и Роза вместе пошли и сдали кровь в больнице Виктории. Каждой заплатили по пятнадцать долларов. Бóльшую часть денег они потратили на вечерние туфли — сексапильные серебристые сандалии. Потом — поскольку от сдачи крови наверняка худеешь — девушки по-

шли и съели мороженого с горячей шоколадной подливой в кафе Бумерса. Почему Роза не смогла заступиться за Нэнси перед Патриком?

Патрику было двадцать четыре года, он учился в магистратуре и собирался стать преподавателем истории. Он был высокий, худой, светловолосый и красивый, несмотря на бледно-красное родимое пятно, которое каплями стекало по виску и щеке. Патрик извинился за это пятно и сказал, что с возрастом оно поблекнет. Когда ему будет сорок, оно исчезнет совсем. Его не родимое пятно портит, подумала Роза. (Что-то действительно портило его красоту или, во всяком случае, уменьшало ее; Розе все время приходилось напоминать себе, что Патрик красивый.) В нем была какая-то нервозность, дерганость, разлад. Когда он нервничал, его голос срывался, а в присутствии Розы он, кажется, нервничал все время. Он сбивал тарелки и чашки со столов, проливал напитки, опрокидывал вазочки с арахисом, рассыпая содержимое, словно комик. Он не был комиком; его устремления были весьма далеки от этого. Он приехал из Британской Колумбии. Его семья была богата.

Когда они с Розой собирались в кино, он приходил за ней заранее. Зная, что пришел раньше времени, он не стучался. Он садился на ступеньки

перед дверью доктора Хеншоу. То было зимой, уже в темноте, но у двери висел небольшой каретный фонарь.

— Ой, Роза! Иди посмотри! — восклицала доктор Хеншоу тихим голосом, в котором звучал смех, и они вдвоем смотрели вниз из окна кабинета.

— Бедный юноша, — деликатно говорила доктор Хеншоу.

Ей было семьдесят с чем-то лет. В прошлом преподаватель английского языка, она была требовательна к мелочам и энергична. Она хромала, но до сих пор по-юношески очаровательно склоняла голову набок. Голову венчали уложенные короной седые косы.

Она звала Патрика бедным потому, что он был влюблен, и еще, может быть, потому, что он был самцом, брал напором и совершал оплошности. Даже отсюда, сверху, видно было, что он, сидящий на холоде, упрям и жалок, решителен и зависим.

— Сторожит дверь, — сказала доктор Хеншоу. — Ох, Роза!

Другой раз она беспокойно воскликнула:

— Мне кажется, он выбрал совсем неподходящую для себя девушку!

Розе эти слова не понравились. Ей не нрави-

лось, что доктор Хеншоу смеется над Патриком. То, что Патрик сидит на ступеньках, ей тоже не нравилось. Он сам напрашивался, чтобы над ним смеялись. Он был самым уязвимым человеком из всех, кого Роза когда-либо знала, — и сам ставил себя в такое положение, поскольку совершенно не умел защищаться. Но одновременно с этим он все время сурово судил окружающих и был заносчив.

* * *

— Ты — ученый, Роза, — часто говорила доктор Хеншоу. — Тебе это будет интересно.

И читала вслух что-нибудь из газеты или, чаще, из «Канадского форума» или «Ежемесячного атлантического журнала». Доктор Хеншоу когда-то возглавляла городской отдел образования, она была одним из основателей Федерации сотрудничающих общин[6]. Она до сих пор заседала в разных комитетах, писала письма в газеты и рецензии на книги. Отец и мать доктора Хеншоу были врачами-миссионерами; она родилась в

[6] Примечания: 6

Федерация сотрудничающих общин (CCF) — канадская политическая партия, стоявшая на социал-демократических позициях. Основана в 1932 г. в Альберте (провинция Калгари). В 1961 г. трансформировалась в Новую демократическую партию Канады (NDP).

Китае. Дом у нее был маленький и совершенный. Натертые полы, яркие коврики, китайские чаши, вазы и пейзажи, черные резные ширмы. Многое из этого Роза тогда еще не умела оценить. Она не видела большой разницы между нефритовыми фигурками животных, стоящими на камине у доктора Хеншоу, и украшениями, выставленными в витрине ювелирной лавки в Хэнрэтти, хотя уже ощущала разницу между любой из этих фигурок и безделушками, что Фло покупала в магазине «Все за 5 и 10 центов».

Роза не могла понять, нравится ли ей жить у доктора Хеншоу. По временам, когда приходилось сидеть в столовой, расстелив полотняную салфетку на коленях, и есть из тонких белых тарелок, стоящих на красивых голубых сервировочных ковриках, Роза терялась. Надо сказать, что она все время не наедалась, и у нее завелась привычка покупать пончики и шоколадки и прятать у себя в комнате. В столовой на окне висела клетка, внутри которой прыгала канарейка на жердочке, а доктор Хеншоу направляла разговор. Она говорила о политике и о писателях. Она упоминала Фрэнка Скотта и Дороти Ливси. Она сказала, что Роза непременно должна прочитать их творения. Она все время приказывала Розе

читать то или это. Роза мрачно пообещала себе, что и не подумает. Сейчас она читала Томаса Манна. Сейчас она читала Толстого.

До знакомства с доктором Хеншоу Роза никогда не слыхала выражения «рабочий класс». Она принесла его домой.

— Наша часть города, похоже, будет последней, где проведут канализацию, — заметила Фло.

— Разумеется, — невозмутимо ответила Роза. — Здесь живет рабочий класс.

— Рабочий класс? — переспросила Фло. — Ты попробуй заставь кого-нибудь из тутошних работать.

Жизнь у доктора Хеншоу в определенном смысле повлияла на Розу. Роза перестала воспринимать родной дом как нечто естественное, как само собой разумеющийся фон. Возвращение домой означало в буквальном смысле выход на резкий, пронзительный свет. Фло установила люминесцентные лампы в лавке и на кухне. Еще в углу кухни стоял торшер, который Фло выиграла в бинго; абажур торшера был навеки замотан полосками целлофана. По мнению Розы, что лучше всего получалось у дома доктора Хеншоу и у дома Фло, так это дискредитировать друг друга. В очаровательных комнатках доктора Хеншоу Розу

не покидало ноющее воспоминание о родном доме, словно тяжелый ком в желудке. А дома сознание, что где-то есть порядок и соразмерность, обнажало постыдную прискорбную нищету людей, которые даже бедняками себя не считали. Бедность не означала сплошные лишения, как, кажется, думала доктор Хеншоу; бедность — это не просто когда у тебя чего-то мало. Бедность — это поставить у себя в доме уродливые люминесцентные лампы и хвалиться ими. Бедность — это постоянные разговоры о деньгах, ядовитые шпильки в адрес людей, купивших себе обновки, и намеки на то, как они собираются за них платить. Бедность — это гордость и зависть, вспыхивающие из-за какой-нибудь мелочи вроде пластиковых занавесок, имитирующих кружево: Фло купила такие на переднее окно. Бедность — это когда в ванной вешаешь одежду на гвоздь за дверью и слышишь каждый звук, доносящийся из туалета. Бедность — это стены, украшенные высказываниями, набожными, оптимистичными или слегка похабными.

ГОСПОДЬ ПАСЕТ МЯ

ВЕРУЙ В ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА, И СПАСЕН БУДЕШИ

Зачем у Фло висели эти таблички? Она была совсем не религиозна. Но такое принято было вешать — эти изречения в домах попадались так же часто, как календари.

ЭТО МОЯ КУХНЯ — ЧТО ХОЧУ, ТО И ДЕЛАЮ

СОБИРАТЬСЯ В КРОВАТИ БОЛЬШЕ ЧЕМ ПО ДВОЕ — ОПАСНО И ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ

Последнюю мудрость принес Билли Поуп. Что сказал бы Патрик, увидев все это? Что подумал бы человек, которого оскорбило неправильное произнесение фамилии Меттерниха, о байках Билли Поупа?

Билли Поуп работал в мясной лавке Тайда. Теперь он чаще всего рассказывал про беженца-бельгийца, которого они взяли на работу, — он действовал Билли на нервы, нахально распевая французские песни и наивно мечтая о том, чтобы преуспеть в Канаде и купить собственную мясную лавку.

— Ты не думай, что могешь сюда приехать и о себе воображать, — сказал бельгийцу Билли Поуп. — Покамест ты работаешь на нас, и не думай,

что когда-нибудь мы будем работать на тебя.

На этом, по словам Билли Поупа, бельгиец заткнулся.

Патрик время от времени говорил, что раз ее родные живут всего милях в пятидесяти, Роза должна его с ними познакомить.

— У меня только мачеха.

— Жаль, что я не успел познакомиться с твоим отцом.

Роза в разговорах с Патриком нахально описала отца как читателя исторических трудов, историка-любителя. Не то чтобы ложь, но весьма далеко от истины.

— Кто твой опекун? Твоя мачеха?

Розе пришлось сказать, что она не знает.

— Но ведь твой отец должен был назначить тебе опекуна в своем завещании. Кто управляет его имением?

Имением. Роза всегда думала, что имение — это кусок земли и богатый дом посередине, как у лордов в Англии.

Патрику такое неведение показалось очаровательным.

— Да нет, это его деньги, акции и все такое. То, что он оставил.

— Я не думаю, что он что-нибудь такое оста-

вил.

— Не говори глупостей, — сказал Патрик.

* * *

А иногда доктор Хеншоу говорила:

— Ты ученый, дорогая, тебе это не будет интересно.

Обычно имелось в виду какое-нибудь мероприятие в университете: сходка болельщиков, футбольный матч, танцы. И обычно доктор оказывалась права: Розе было неинтересно. Но она не спешила это признать. Она не искала подобного определения для себя, и оно не доставляло ей удовольствия.

На стене вдоль лестницы висели выпускные фотографии всех остальных девочек-стипендиаток, живших у доктора Хеншоу до Розы. В основном они стали учительницами, а потом матерями. Одна — врачом-диетологом, две — библиотекарями, одна — преподавателем английского, как сама доктор Хеншоу. Розе не нравился их вид — расплывчатые кроткие благодарные улыбки, крупные зубы и девственные прически валиком. Казалось, они навязывают ей своего рода мертвенное светское благочестие. Среди них не было ни актрис, ни бойких журналисток; ни одна из

них не добилась жизни, которой Роза хотела бы для себя. Она хотела представлять на публике. Она думала, что хочет быть актрисой, но никогда не пробовала играть на сцене, а к университетскому театральному кружку даже подходить боялась. Она знала, что не умеет ни петь, ни танцевать. Ей очень хотелось бы играть на арфе, но у нее не было музыкального слуха. Она хотела быть знаменитой, стройной и умной, предметом зависти. Она сказала доктору Хеншоу, что, будь она мужчиной, хотела бы стать иностранным корреспондентом.

— Тогда именно им ты и должна стать! — воскликнула доктор Хеншоу; Розу это встревожило. — Будущее широко открыто для женщин. Ты должна сосредоточиться на изучении языков. Ты должна изучать политологию. И экономику. Может быть, у тебя получится устроиться на лето в газету работать. У меня там друзья.

Розу испугала перспектива работы в газете, а вводный курс экономики ей страшно не понравился, и она искала предлог, чтобы его бросить. Делиться мечтами с доктором Хеншоу было очень опасно.

* * *

В жилички к доктору Хеншоу она попала случайно. Доктору уже назначили девочку, но та заболела; у нее оказался туберкулез, и она уехала в лечебницу. Доктор Хеншоу пришла в университетскую канцелярию за списком других стипендиаток-первокурсниц на второй день регистрации.

Роза была в учебной части как раз перед этим, спрашивала, где проводится собрание стипендиатов. Она потеряла извещение, которое ей прислали. Встречу проводил казначей университета — он должен был рассказать стипендиатам о том, как зарабатывать деньги, как жить экономно и как хорошо они должны учиться, если хотят и дальше получать стипендию.

Роза выяснила номер аудитории и пошла наверх по лестнице на второй этаж. Ее догнала другая девушка и спросила:

— Ты тоже в три-ноль-двенадцатую?

Они пошли вместе, рассказывая друг другу, у кого какая стипендия. Розе еще негде было жить — она остановилась в Христианской ассоциации молодых женщин. У нее на самом деле вообще не было денег на пребывание в университете. Была

только стипендия, которая покрывала плату за учебу, приз графства, на который она собиралась купить учебники, и еще пособие в триста долларов, на которое она должна была жить, и все.

— Тебе придется найти работу, — сказала девушка.

У нее пособие было больше, потому что она изучала естественные науки (все деньги сейчас там, серьезно сказала она, все деньги в науке), но она надеялась устроиться работать в университетскую столовую. Комнату она снимала в частном секторе, в подвале. Сколько ты платишь за комнату, сколько стоит электроплитка? — начала спрашивать Роза, беспокойно крутя в голове расчеты.

У девушки волосы были уложены валиком. Креповая блузка пожелтела и лоснилась от стирки и глажки. Груди — большие, обвисшие. Наверно, под блузкой — грязно-розовый лифчик с застежкой сбоку. На одной щеке у девушки было шелушащееся пятно.

— Кажется, пришли, — сказала она.

В двери было окошечко. Через него виднелись другие стипендиаты, которые уже собрались и ждали. Розе показалось, что она увидела еще четверых или пятерых девочек с такими же

сутулыми фигурами зрелых женщин, как у ее спутницы, и нескольких ясноглазых самодовольных мальчиков с младенческими личиками. Как будто существовало правило, что девушки-стипендиатки должны выглядеть на сорок лет, а мальчики-стипендиаты — на двенадцать. Конечно, за один беглый взгляд через окошечко в двери Роза не могла разглядеть экзему, желтые пятна под мышками, перхоть, налет на зубах, похожий на плесень, и корочки гноя в уголках глаз. Она только подумала, что увидела все это. Но в аудитории висело мрачное облако — тут Роза не ошибалась — ужасное облако угодливости и кротости. Лишь благодаря угодливости и кротости сидящие тут люди могли дать столько правильных ответов, то есть ответов, угодных экзаменаторам. Как же еще могли они отличиться и попасть сюда? И Роза делала то же самое, что и они.

— Мне нужно в туалет, — сказала она.

Она представила себе, как работает в студенческой столовой. Ее фигура, и без того плотная, кажется еще шире в зеленой форменной одежде, лицо раскраснелось, волосы слиплись от жары. Она раскладывает по тарелкам жареную курицу и рагу, обслуживая тех, кто глупее и богаче ее. От

остального человечества ее отделяют прилавки с подогреваемой едой, униформа, тяжелый честный труд, которого никто не должен стыдиться, публично провозглашенный ум и бедность. Мальчикам все это еще как-то может сойти с рук. И то с трудом. Для девочек такое сочетание смертельно. Бедность у девушек непривлекательна, кроме случаев, когда она сочетается с милой слабостью на передок и глупостью. Ум у девушек непривлекателен, кроме случаев, когда он сочетается с элегантностью, с аристократизмом. Правда ли это и была ли Роза настолько глупа, чтобы из-за этого огорчаться? Ответ на оба вопроса — да.

Она вернулась на первый этаж, где коридоры полнились обычными студентами, не стипендиатами. От этих студентов никто не ожидал, что они будут учиться только на отлично, выражать благодарность и жить экономно. Невинные и возбуждающие зависть, в новых фиолетово-белых блейзерах и фиолетовых вязаных шапочках, положенных первокурсникам, они толпились вокруг регистрационных столов и перекрикивались — перебрасывались напоминаниями, путаными обрывками информации, абсурдными обзывательствами. Роза шла меж них, охваченная злобой, высокомерием и отчаянием. Юбка ее

зеленого вельветового костюма на ходу все время забивалась между ног. Материал слишком тонкий: надо было потратиться и купить поплотнее. Теперь Роза думала, что и жакет сидит не очень, хотя дома ей казалось, что с ним все в порядке. Весь костюм сшила портниха в Хэнрэтти, приятельница Фло, которая считала своей главной задачей скрыть фигуру. Когда Роза спросила, нельзя ли сделать юбку поуже, портниха ответила: «Ты что, хочешь, чтобы все видели твою „мадам Сижу“?» Роза постеснялась сказать, что это ее не пугает.

Еще эта портниха сказала: «А я думала, теперь, когда ты кончила школу, ты найдешь работу и будешь помогать дома».

Розу остановила женщина, идущая по коридору:

— Ты ведь одна из стипендиаток?

Женщина оказалась ассистенткой секретаря-регистратора. Роза подумала, что ее сейчас будут ругать за прогул собрания, и решила сказать, что ей стало плохо. Она уже и лицо соответствующее сделала. Но женщина сказала:

— Пойдем со мной скорей. Я хочу тебя кое-кому представить.

Доктор Хеншоу в это время с милой улыбкой на

лице изводила сотрудников учебной части. Она предпочитала бедных девочек, очень способных, но при этом миловидных.

— Возможно, что сегодня твой счастливый день, — сказала женщина, ведя Розу за собой. — Если только ты можешь сделать выражение лица поприятней.

Роза терпеть не могла подобные указания, но послушно улыбнулась.

Через час доктор Хеншоу уже отвела ее к себе, поселила в доме с китайскими ширмами и вазами и сообщила, что она, Роза, — ученый.

* * *

Роза устроилась на работу в библиотеку колледжа, а не в столовую. Доктор Хеншоу дружила с заведующим библиотекой. Роза работала по субботам, во второй половине дня. Она занималась стеллажами — ставила книги на место. Осенью по субботам во второй половине дня библиотека была почти пуста из-за футбола. Через распахнутые узкие окна виднелись утопающий в листве кампус, футбольное поле, подсохшая осенняя земля. В окна влетали обрывки далеких песен и выкриков.

Здания колледжа были совсем не старые, а

только построены под старину. Они были каменные. У здания факультета искусств была башня, а в библиотеке — окна со створками, как будто за ними должны были стоять лучники, отстреливаясь от врага. Больше всего в университете Розе нравились две вещи: эти здания и книги в библиотеке. Жизнь, которая обычно кипела в библиотеке, а сейчас утекла прочь, сосредоточившись вокруг футбольного поля, и испускала все эти звуки, казалась Розе неуместной и отвлекающей. Вопли и речевки болельщиков — чистый идиотизм, если вслушаться в слова. Что толку было строить здания, полные достоинства, если теперь в них звучат такие глупости?

Но Роза знала, что высказывать это мнение вслух ни в коем случае нельзя. Если кто-нибудь сочувствовал ей за то, что она вынуждена работать по субботам и не может ходить на футбол, она с жаром соглашалась.

Однажды мужчина схватил ее за голую ногу выше носка и ниже подола юбки. Это случилось в секции сельскохозяйственной литературы, ближе к дальнему концу стеллажей открытого доступа. В открытый доступ пускали только преподавателей, студентов магистратуры и сотрудников, хотя, наверно, худой человек мог бы

влезть с улицы через окно первого этажа. Роза видела мужчину, который сидел на корточках, разглядывая книги на нижней полке, чуть дальше по ряду. Когда она потянулась наверх, ставя книгу на место, мужчина прошел позади нее. Он нагнулся и схватил Розу за ногу одним плавным движением, застав ее врасплох, и тут же исчез. Ощущение пальцев, впившихся в кожу, прошло не сразу. Розе это прикосновение не показалось сексуальным — оно скорее было похоже на шутку, но не дружескую, а злую. Она слышала, как он бежит прочь, — а может, чувствовала по дрожи металлических полок. Потом вибрация прекратилась. Он не издавал никаких звуков. Роза прошла по залу, заглядывая меж стеллажей и в закутки для работы. Допустим, она его увидит или наткнется на него, завернув за угол, — что она тогда собирается делать? Она не знала. Но ей необходимо было его искать, словно в детской игре, исход которой очень важен. Она поглядела вниз, на собственную твердую розоватую икру. Удивительно, что кто-то вдруг решил запятнать, покарать эту ногу.

В закутках обычно работали студенты магистратуры — даже в субботу днем. Реже попадался преподаватель. Но сейчас все закутки, куда за-

глядывала Роза, были пусты, пока она не дошла до углового. Она без стеснения заглянула туда, к этому времени уже не ожидая никого увидеть. И тут же вынуждена была извиниться.

В закутке сидел молодой человек с книгой на коленях. На полу тоже лежали книги, кругом были разложены бумаги. Роза спросила, не пробегал ли кто мимо. Юноша сказал, что нет.

Она рассказала ему, что случилось. Не от испуга или отвращения, как он, кажется, думал впоследствии, но лишь потому, что должна была кому-нибудь рассказать: все происшествие было ужасно странно. Она совсем не готова была к реакции юноши. Длинная шея и лицо покраснели так, что красное родимое пятно на щеке потонуло в румянце. Юноша был худой и светловолосый. Он вскочил, забыв про книгу на коленях и про бумаги. Книга грохнулась на пол. Вставая, он отодвинул большой ворох бумаг, и они опрокинули чернильницу.

— Какая низость! — воскликнул он.

— Ловите чернила! — сказала Роза.

Он потянулся за чернильницей и сбил ее на пол. К счастью, она была закрыта крышкой и не разбилась.

— Он сделал вам больно?

— Нет, нет.

— Пойдемте наверх. Надо сообщить об этом.

— О нет!

— Нельзя, чтобы ему это сошло с рук. Такое не следует допускать.

— Сообщать некому, — с облегчением сказала Роза. — Заведующий по субботам уходит в двенадцать.

— С вами правда все в порядке?

— О да.

— Я буду здесь все время. Если он вернется, просто позовите меня.

Это и был Патрик. Даже старайся она специально влюбить его в себя, не нашла бы лучшего способа. Он был приверженцем идеалов рыцарства, хотя и высмеивал их притворно, произнося некоторые слова так, словно они заключены в кавычки. «Прекрасный пол», — говорил он. «Благородная девица в беде». Прибежав к нему в закуток с этой историей, Роза стала благородной девицей, попавшей в беду. Притворная ирония Патрика никого не обманывала: ясно было, что он жаждет жить в мире рыцарей и дам, тяжких оскорблений и самоотверженной преданности.

После этого она видела его в библиотеке по субботам, и еще они часто сталкивались на кампусе

или в столовой. Патрик каждый раз подчеркнуто приветствовал ее, вежливо и заботливо спрашивая, как она поживает, таким тоном, словно ждал, что на нее опять напали или она еще не оправилась после первого нападения. При виде Розы он всегда густо краснел, и она думала, что его так смущает воспоминание о ее рассказе. Потом оказалось, что он краснеет, потому что влюблен.

Он выяснил ее имя и адрес. Позвонил ей в дом доктора Хеншоу и пригласил в кино. Когда он сказал: «Говорит Патрик Блэтчфорд», Роза сначала не могла понять, кто это, но тут же узнала высокий дрожащий, словно обиженный, голос. Она согласилась пойти с ним в кино. Отчасти из-за доктора Хеншоу, которая вечно распространялась о том, как хорошо, что Роза не теряет времени на мальчиков.

Вскоре после того, как они начали встречаться, Роза сказала:

— Вот смешно было бы, если бы оказалось, что это ты меня схватил за ногу тогда в библиотеке.

Патрик не счел это смешным. Он был в ужасе, что Роза может такое о нем подумать.

Она сказала, что пошутила. Что это был бы удачный поворот в сюжете, например в рассказе Моэма или фильме Хичкока. Они только что

посмотрели хичкоковский фильм.

— Знаешь, если бы Хичкок снимал фильм на подобный сюжет, одна половина твоей личности была бы ненасытным маньяком, хватающим женщин за ноги, а другая — робким книжным червем.

Это ему тоже не понравилось.

— Так ты меня видишь? Книжным червем?

Ей показалось, что его голос стал ниже, в нем словно послышалось рычание, Патрик вздернул подбородок, словно шутя. Но он очень редко с ней шутил: он считал, что шутки неуместны, когда человек влюблен.

— Я не говорила, что ты книжный червь или хватаешь женщин за ноги. Это была просто идея для сюжета.

Через некоторое время он сказал:

— Наверно, я выгляжу не очень мужественным.

Такое открытое признание своей слабости потрясло Розу и выбило ее из колеи. Как он рискует! Неужели жизнь его не научила, что нельзя открывать свои слабые места? Впрочем, возможно, что он вовсе и не рисковал. Он знал, что Роза в ответ должна будет сказать что-нибудь ободряющее. Хотя ей ужасно не хотелось этого делать. Ей ужас-

но хотелось сказать: «Ну да. Наверно, не очень».

Но это было бы неправдой. Он казался ей мужественным. Потому что так рисковал. Только мужчина может быть таким беспечным и вместе с тем — требовательным.

— Мы с тобой из двух разных миров, — сказала она ему в другой раз. И тут же почувствовала себя персонажем пьесы. — Моя семья очень бедная. Если бы ты видел место, где я жила, ты бы счел его ужасной дырой.

Теперь уже она вела себя нечестно и притворялась, что сдается на его милость; потому что, конечно же, он не мог теперь сказать «ой, ну, если ты бедная и жила в дыре, то я аннулирую свое предложение».

— Но я рад, — сказал Патрик. — Я рад, что ты бедная. Ты такая красивая. Как дева-нищенка.

— Кто?

— Ну ты же знаешь, король Кофетуа и дева-нищенка. Картина такая. Разве ты не знаешь эту картину?

У Патрика был приемчик — впрочем, нет, у Патрика не было приемчиков, у него была манера выражать удивление, презрительное удивление, когда люди не знали чего-то, что знал он. И такое же удивление, смешанное с презрением,

он выражал, когда люди зачем-то знали что-то такое, чего не знал он. И его высокомерие, и его смирение были странно преувеличенными. Со временем Роза решила, что высокомерие Патрика проистекало от его богатства. Хотя именно богатством самим по себе Патрик никогда не кичился. Когда она познакомилась с сестрами Патрика, они оказались точно такими же — у них вызывали отвращение люди, ничего не знающие о лошадях и яхтах, и ровно такое же отвращение — те, кто разбирался, скажем, в музыке или политике. Собравшись вместе, Патрик и его сестры способны были только излучать презрение. Но разве Билли Поуп или Фло не страдали таким же высокомерием? Возможно. Впрочем, разница между ними была, и заключалась она в том, что Билли Поуп и Фло были не защищены. Их многое раздражало, уязвляло: беженцы, радиопередачи на французском языке, перемены вокруг. Патрик же и его сестры вели себя так, словно их ничто не может уязвить. Когда они ссорились за столом, их голоса звучали совершенно по-детски: они требовали свою любимую еду и жаловались, что на стол подали еду, которую они не любят, — совсем как дети. Им никогда не приходилось кому-то уступать, работать над собой, заискивать перед

кем-либо. И никогда не придется. Все потому, что они богаты.

Роза сначала понятия не имела, насколько богат Патрик. Этому никто не верил. Все думали, что она расчетливая и хитрая, а она была настолько далека от этого, что на самом деле не имела ничего против, пускай считают ее хитрой. Оказалось, что до нее другие девушки пытались расставлять Патрику сети, но, в отличие от нее, не нашли волшебного слова. Девушки постарше, девушки из престижного университетского сестричества, которые раньше ее вообще не замечали, стали поглядывать на нее удивленно и с уважением. Даже доктор Хеншоу, когда увидела, что дело обстоит гораздо серьезней, чем она думала, и усадила Розу для разговора по душам, предположила, что Роза охотится за деньгами.

— Конечно, привлечь внимание наследника торговой империи — серьезное достижение, — сказала доктор Хеншоу одновременно иронично и серьезно. — Я отнюдь не презираю богатства. Иногда мне даже хочется быть богатой.

Она что, всерьез думает, что она бедная?

— Я полагаю, что ты научишься использовать это богатство на добрые цели. Но, Роза, как же твои прежние устремления? Твои занятия, твой

диплом? Неужели ты готова так скоро обо всем этом забыть?

Слова «торговая империя» были некоторым преувеличением. Семья Патрика владела сетью универсальных магазинов в Британской Колумбии. Патрик же сказал Розе, что у его отца «несколько магазинов». Когда Роза говорила о двух мирах, она предполагала, что у родителей Патрика большой солидный дом, вроде домов в том районе, где жила доктор Хеншоу. Розе представлялись богатые торговцы из Хэнрэтти. Она не могла осознать, какая ей выпала удача, потому что для нее удачей было бы понравиться сыну владельца мясной или ювелирной лавки — говорили бы, что она сделала хорошую партию.

Роза посмотрела на ту картину. Нашла ее в альбоме по искусству в библиотеке. Она разглядывала деву-нищенку, кроткую, с аппетитными выпуклостями, с робкими белыми ступнями. Ее млечную покорность, ее беспомощность и благодарность. Значит, такой Патрик видит Розу? Такой она может быть? Для этого ей нужен такой король, смуглый и резкий даже в страсти, умный и дикий. Его яростная любовь, пожалуй, растопит Розу так, что от нее останется одна лужица. Уж он не станет извиняться. Такой человек не будет

шарахаться в сторону, не будет робеть, как постоянно делает Патрик.

Она не могла отказать Патрику. Просто не могла. Дело было не в количестве денег, а в количестве любви, которое Патрик предлагал, а Роза не могла отвергнуть; она верила, что жалеет его и обязана ему помочь. Он словно подошел к ней в толпе, неся огромный, простой и ослепительно сияющий предмет — может быть, большое яйцо из сплошного серебра, что-то совершенно бесполезное в хозяйстве и чудовищно тяжелое, — и теперь совал этот предмет ей, умоляя разделить с ним тяжкую ношу. Если она оттолкнет предложенное, как он сможет нести такую тяжесть? Но в этой аналогии чего-то не хватало. В ней ничего не говорилось про собственную Розину жадность — не к деньгам, но к поклонению. Размер, вес и блеск того, что Патрик называл любовью (и Роза ему верила), не могли не впечатлить ее, хотя она никогда и не просила такого. Казалось маловероятным, что ей предложат подобное сокровище еще раз. Сам Патрик, не переставая ее боготворить, как-то обиняками признавал, что ей очень повезло.

Она всегда думала, что с ней такое случится, что кто-нибудь посмотрит на нее и полюбит всецело

и бесповоротно. В то же время она думала, что нет, никто на свете ее не полюбит и не захочет, и до сих пор так оно и было. Человека хотят не за то, что он делает, а за то, что в нем есть, а как узнаешь, есть это в тебе или нет? Она смотрела на себя в зеркало и думала: возлюбленная, жена. Дивные мягкие слова. Как они могут быть применимы к ней, Розе? Это было чудо; это была ошибка. Это было то, о чем она мечтала; это было не то, чего она хотела.

Она стала сильно уставать, мучилась раздражительностью и бессонницей. Она пыталась мысленно восхищаться Патриком. Его худое, светлокожее лицо в самом деле очень красиво. Он, наверно, очень много знает. Он проверяет студенческие работы и ставит оценки, он участвует в экзаменационных советах, он заканчивает диссертацию. От него пахнет трубочным табаком и грубой шерстью (этот запах был Розе приятен). Ему двадцать четыре года. Среди всех парней Розиных знакомых девушек он был самый старший.

Потом, безо всякого перехода, она представила себе, как он говорит: «Наверно, я выгляжу не очень мужественным». Или: «Ты меня любишь? Правда любишь?» Он смотрел на нее испуганно

и угрожающе. Потом, когда она сказала «да», он воскликнул, что ему ужасно повезло, им обоим ужасно повезло, и стал рассказывать про своих друзей и их девушек, сравнивая их романы со своей любовью к Розе, в свою пользу. Роза раздраженно дергалась и чувствовала себя очень несчастной. Ее тошнило от себя самой так же, как и от Патрика, ее тошнило от зрелища, которое они представляли собой в этот момент, когда шагали по заснеженному парку в центре города и она грела руки без перчаток у Патрика в кармане. Внутри ее кто-то кричал злобные, жестокие гадости, и ей нужно было что-то делать, чтобы удержать их внутри. Она принялась щекотать и дразнить Патрика.

У задней двери дома доктора Хеншоу, в снегу, Роза поцеловала Патрика, попыталась заставить его открыть рот, вытворяла с ним безнравственные вещи. Он целовал ее мягкими губами, робким языком; он не то что держал ее в объятиях, а скорее валился на нее, и Роза никак не могла найти в нем силу.

— Ты такая красивая. У тебя прекрасная кожа. Такие светлые брови. Ты такая хрупкая.

Розе было приятно это слушать. Кому угодно было бы приятно. Но она предостерегающе ска-

зала:

— Не такая уж я и хрупкая на самом деле. Я довольно плотная.

— Ты не знаешь, как я тебя люблю. Есть одна книга, она называется «Белая богиня». Каждый раз, видя обложку, я думаю о тебе.

Она вывернулась из его объятий. Наклонилась, черпнула горсть снега из сугроба, который намело у крыльца, и нахлобучила Патрику на голову.

— Ты мой Белый бог!

Он затряс головой, сбрасывая снег. Роза набрала еще снегу и швырнула в Патрика. Он не засмеялся, а удивился и встревожился. Она стряхнула снег у него с бровей и слизала — с ушей. Она смеялась, хотя ощущала скорей отчаяние, чем веселье. Она сама не знала, почему вдруг сделала такое.

— Доктор Хеншоу, — прошипел Патрик. Нежный поэтический голос, которым Патрик расписывал ее красоты, умел мгновенно исчезать, безо всяких промежуточных стадий сменяясь раздраженным менторским тоном. — Доктор Хеншоу тебя услышит!

— Доктор Хеншоу считает тебя весьма достойным юношей, — мечтательно произнесла Роза. — По-моему, она в тебя влюблена.

Это была правда: доктор Хеншоу действительно так говорила. И он действительно был достойным юношей. Но подобные Розины разговоры были для него невыносимы. Она подула на снег, застрявший у него в волосах.

— Может, тебе пойти и лишить ее невинности? Я уверена, что она до сих пор девушка. Вон ее окно. Давай, давай!

Она взъерошила ему волосы, потом скользнула рукой внутрь пальто и пощупала ширинку.

— У тебя встал! — торжествующе сказала она. — Ой, Патрик! У тебя встал на доктора Хеншоу!

Роза никогда в жизни не произносила ничего подобного и не вела себя таким образом. Даже близко не подходила.

— Заткнись! — прошипел истязаемый Патрик.

Но она не могла заткнуться. Она подняла голову и громко прошептала, словно обращаясь к окну второго этажа:

— Доктор Хеншоу! Идите посмотрите, что Патрик вам приготовил!

Злонамеренной рукой она снова схватила его за ширинку.

Чтобы остановить ее, чтобы заставить замолчать, Патрик стал с ней бороться. Одной рукой он зажал ей рот, а другой отталкивал ее руку от

своей промежности. Широкие рукава его пальто хлопали по Розе, как крылья. Как только он начал сопротивляться, она успокоилась — именно этого она от него и хотела: чтобы он начал как-то действовать. Но нужно было продолжать сопротивление, пока Патрик не докажет, что он сильнее. Она боялась, что у него это не получится.

Но он в самом деле оказался сильнее. Он давил на нее — вниз, вниз, и она опустилась на колени, а потом уткнулась лицом в снег. Он заломил ей руки за спину и повозил лицом по снегу. Потом отпустил и этим чуть все не испортил.

— Роза! Тебе больно? Роза, прости меня!

Она, шатаясь, встала и придвинула облепленное снегом лицо вплотную к лицу Патрика:

— Поцелуй меня! Поцелуй снег! Я тебя люблю!

— Правда? — жалобно спросил он, смахнул снег с уголка ее губ и поцеловал ее — растерянно, что было вполне понятно. — Правда любишь?

Тут загорелся свет, затопив их обоих и истоптанный снег, и голос доктора Хеншоу зазвучал у них над головами:

— Роза! Роза!

Она звала терпеливо, ободряюще, словно Роза потерялась в тумане рядом с домом и ей нужен

был ориентир, чтобы выбраться.

* * *

— Роза, ты его любишь? — спросила доктор Хеншоу. — Подумай хорошенько. Любишь?

Ее голос был очень серьезен и полон сомнений. Роза набрала воздуху и ответила так, словно ее переполняло спокойствие:

— Да, люблю.

— Ну что ж…

Роза просыпалась посреди ночи и ела шоколадные батончики.

Ее тянуло на сладкое. Часто посреди занятий в университете или во время сеанса в кино она принималась мечтать о шоколадных кексах, пирожных и особенном торте, который доктор Хеншоу покупала в «Европейской кондитерской»: он был напичкан сгустками насыщенного горького шоколада, который вытекал на тарелку. Стоило ей начать думать о себе и Патрике, стоило ей пообещать себе разобраться наконец в своих чувствах, как начинались эти позывы.

Она полнела, и между бровями у нее расцвело созвездие прыщиков.

В спальне было холодно — она располагалась над гаражом, и в ней было три окна. Во всем

остальном это была очень приятная комната. Над кроватью висели фотографии в рамках — греческие небеса и развалины. Снимки сделала сама доктор Хеншоу, когда путешествовала по Средиземноморью.

Роза писала эссе о пьесах Йейтса. В одной пьесе феи сманивали юную невесту в свою страну, прочь от выгодного, невыносимого брака.

«Убегай, дитя людей…» — читала Роза, и глаза у нее наполнялись слезами — она плакала о себе, словно сама и была той застенчивой, уклончивой невестой, слишком прекрасной для растерянных крестьян, поймавших ее в ловушку. На самом деле это она была крестьянкой и пугала Патрика с его возвышенной душой, но он не стремился к побегу.

Она сняла одну из греческих фотографий и испортила обои, начав писать на них стихи: эти строчки пришли к ней, когда она жевала шоколад в постели, а ветер из Гиббонс-парка молотил в гаражную дверь:

Бездумно несу во чреве
Дитя шального безумца…

Дальше этих двух строчек она так и не пошла, а порой задумывалась, не имела ли в виду «Безум-

на, несу во чреве…». Стереть стихи с обоев она, впрочем, тоже не пыталась.

* * *

Патрик снимал квартиру на паях с двумя другими кандидатами в магистры. Он жил очень просто, у него не было машины, и он не принадлежал ни к какому студенческому братству. Его одежда выглядела поношенной, как у всех научных работников. Он дружил с сыновьями учителей и священников. Он сказал, что отец практически лишил его наследства за то, что он подался в интеллектуалы. И что он никогда в жизни не пойдет работать в семейный бизнес.

Они пришли к нему домой среди дня, зная, что обоих соседей в это время не будет. В квартире было холодно. Они быстро разделись и залезли в кровать Патрика. Настал решающий момент. Они цеплялись друг за друга, дрожа и хихикая. Хихикала Роза. Она чувствовала, что обязана быть игривой. Она страшно боялась, что у них не получится, что им суждено великое унижение, обличение их неумелых обманов и стратегий. Но обманы и стратегии были уделом исключительно Розы. Патрик никогда не был обманщиком: несмотря на чудовищную стеснительность, он

умудрялся извиняться; после некоторого количества невиданных пыхтений и трепыханий он затих. Роза ему отнюдь не помогала: вместо того чтобы честно лежать бревном, она извивалась и трепетала, неумело изображая фальшивую страсть. Она была рада, когда все кончилось; эту радость ей подделывать не пришлось. Они сделали то, что делали другие, — то, что положено делать влюбленным. Роза подумала, что это стоит отпраздновать. Для нее это значило поесть чего-нибудь вкусного: мороженое у Бумерса, яблочный пирог с горячим коричным соусом. И ее совершенно застало врасплох предложение Патрика — остаться в кровати и попробовать еще раз.

Когда появилось наслаждение — в пятый или шестой сеанс постельной гимнастики, — Розу это совершенно выбило из колеи, она перестала изображать страсть и затихла.

— Что случилось? — встревожился Патрик.

— Ничего! — сказала Роза, снова имитируя лучезарную страсть и внимание к партнеру.

Но она все время забывала, отвлекаясь на неожиданные новые явления, и в конце концов сдалась напору и уже не могла обращать внимание на Патрика. Когда она снова вспомнила о

его присутствии, то начала так горячо выражать свою благодарность, что он даже растерялся. Теперь она была ему по-настоящему благодарна и хотела попросить прощения (хотя и не могла сказать об этом) за прежнюю поддельную благодарность, за то, что думала о нем снисходительно и сомневалась в его способностях.

Но почему же я все время в нем сомневаюсь, спросила она себя, поудобней устроившись в кровати, когда Патрик ушел делать растворимый кофе. Неужели нельзя в самом деле испытывать те чувства, которые она имитирует? Если такой сексуальный сюрприз оказался возможным, то, наверно, возможно все. От Патрика помощи ждать не приходилось: его рыцарство и самоумаление в сочетании с выговорами, которые он делал Розе, как-то расхолаживали. Но разве главная вина тут — не ее? Разве причина — не в ее убеждении, что человек, способный в нее влюбиться, обязательно должен иметь какой-то непоправимый изъян и в конце концов обнаружить свою глупость? Поэтому Роза подмечала все глупости в поведении Патрика, хотя сама думала, что ищет сильные стороны, причины для восхищения. В эту минуту, в его кровати, в его комнате, среди его книг и одежды, его щеток

для обуви, его пишущей машинки, наклеенных им на стены карикатур (Роза разглядела их, и они оказались на самом деле забавными, то есть он в принципе умел смеяться, только не при ней), она смогла увидеть его умным, симпатичным человеком с чувством юмора. Не герой и не дурак. Она понадеялась, что у них все же получится быть обыкновенными. Вот если бы, вернувшись с кухни, он не принялся благодарить, поглаживать и боготворить Розу! На самом деле Розе не нравилось, когда ее боготворили: ее привлекала лишь сама идея того, что ее можно боготворить. С другой стороны, ей не нравилось, когда он начинал ее поправлять и критиковать. Он очень многое собирался в ней изменить.

Патрик ее любил. Что же он в ней любил? Не ее акцент, который он изо всех сил старался облагородить; впрочем, Роза часто бунтовала вопреки рассудку, заявляя против всякой очевидности, что говорит вовсе не по-деревенски, что так говорят все. Не ее вымученную сексуальную смелость (он испытал такое же облегчение, выяснив, что Роза девственница, как она — выяснив, что он знает, что делать в постели). Она могла заставить его поморщиться одним вульгарным словом, одним произношением врастяжечку. Двигаясь

и говоря, она непрерывно уничтожала себя в его глазах, однако он видел ее насквозь — через все ее дымовые завесы — и любил некий послушный образ, невидимый для самой Розы. А планы у него были масштабные. Ее сельский говор можно исправить, друзей — дискредитировать и удалить, вульгарность — излечить постоянными замечаниями. А как же вся остальная Роза? Ее энергия и лень, ее тщеславие, неудовлетворенность, амбиции? Все это она скрывала. Он понятия не имел. Какие бы сомнения ни питала Роза на его счет, она не хотела, чтобы он ее разлюбил.

Они совершили две совместные поездки.

Первую — в Британскую Колумбию, на поезде, на пасхальные каникулы. Патрику деньги на билет послали родители. За Розу заплатил сам Патрик, потратив накопления с банковского счета и заняв у соседа по квартире. Патрик велел Розе не говорить его родителям, что за ее билет платил он. Она поняла: он хочет скрыть от них ее бедность. Он ничего не знал о женской одежде, иначе понял бы, что нечего и пытаться. Хотя Роза сделала все, что могла. Она заняла у доктора Хеншоу плащ, чтобы не мокнуть на дождливом побережье. Плащ был длинноват, но в остальном смотрелся вполне нормально — у доктора

Хеншоу были молодежные вкусы в одежде. Роза сдала еще крови и купила пушистый ангорский свитер, персиковый, который ужасно лез. В нем она выглядела точно как девушка из захолустного городка, считающая, что одета шикарно. Такие вещи всегда доходили до Розы уже после покупки.

Родители Патрика жили на острове Ванкувер, недалеко от Сиднея. Примерно пол-акра стриженой зеленой травы — зеленой среди зимы, Роза считала март зимним месяцем — спускались к каменной стене, узкому галечному пляжу и соленой воде. Дом был наполовину каменный, наполовину фахверковый. В тюдоровском стиле и других стилях тоже. Окна гостиной, столовой и алькова-кабинета все выходили на море, и из-за сильных ветров, иногда дующих с моря, во всех окнах было вставлено толстое стекло: наверно, закаленное, подумала Роза, как в автомобильном салоне в Хэнрэтти. Стена столовой, выходящая на море, была одним сплошным окном, и плавный изгиб образовывал нечто вроде эркера; смотреть через толстое криволинейное стекло было все равно что через горлышко бутылки. У буфета тоже был выпуклый, округлый сверкающий живот; буфет казался большим, как лодка.

Размер и особенно толщина бросались в глаза повсюду. Толщина полотенец и ковров, ручек столовых приборов. И непроницаемая тишина. В доме царила подавляющая и пугающая роскошь. Примерно через день Роза уже чувствовала себя настолько лишней, что у нее ослабели запястья и щиколотки. Взять за обедом вилку и нож было целым делом; отрезать и прожевать кусочек идеального ростбифа — практически непосильной задачей; при подъеме по лестнице у Розы начиналась одышка. Роза не знала раньше, что дом может душить человека, может даже задушить до смерти. Хотя ей приходилось бывать в чрезвычайно недружелюбных строениях.

В первое утро мать Патрика повела Розу смотреть усадьбу. Она показала Розе теплицу и домик, где жила «пара» — очаровательный, увитый плющом, со ставнями на окнах, размерами больше, чем весь дом доктора Хеншоу. «Пара», то есть слуги, муж и жена, изъяснялись деликатней, держались скромней и с бóльшим достоинством, чем любой из жителей Хэнрэтти, которых Роза помнила. Впрочем, в этом отношении слуги превосходили даже семейство Патрика.

Еще мать Патрика показала ей розарий и огород. Там было много низких каменных стен.

— Это Патрик построил, — сказала мать Патрика. Все, что приходилось объяснять, она объясняла с брезгливым равнодушием. — Он построил все эти стены.

Роза ответила с деланой уверенностью, с желанием угодить и неуместным энтузиазмом:

— Он, должно быть, истинный шотландец. — (Патрик был шотландец, несмотря на фамилию: семья Блэтчфорд происходила из Глазго.) — Ведь скотты всегда были лучшими каменщиками. Может быть, у него в роду были мастера по камню?

Роза совсем недавно узнала слово «скотты» и постаралась его ввернуть. Потом она кривилась, вспоминая эти усилия, вымученную простоту и веселость, такие же дешевые и подражательные, как ее одежда.

— Нет, — сказала мать Патрика. — Не думаю, что они были каменщиками.

Она испускала что-то вроде тумана: облако обиды, неодобрения, недовольства. Роза подумала: может быть, она обиделась на предположение, что предки ее мужа занимались физическим трудом. Узнав мать Патрика поближе (точнее, пронаблюдав ее подольше — узнать ее поближе было невозможно), Роза поняла, что она терпеть не может никаких фантазий, предположений и

умозаключений в разговорах. Любая тема, кроме непосредственно наблюдаемых фактов — еды, погоды, приглашений в гости, мебели, слуг, — казалась ей расхлябанностью, признаком дурного воспитания и вообще была опасна. Допустимы были реплики типа «Сегодня тепло», но ни в коем случае не «Такая теплая погода напоминает мне о том, как мы…». Мать Патрика терпеть не могла, когда что-то кому-то о чем-то напоминало.

Она была единственным ребенком лесопромышленника-магната, одного из первых на острове. И родилась в северном поселении, которого уже не существовало. Но каждый раз, как Патрик пытался выспросить у нее о прошлом — простейшие вещи вроде того, какие пароходы ходили вдоль побережья, в каком году жители покинули поселение, где проходила первая железная дорога, по которой вывозили лес, — мать раздраженно отвечала:

— Не знаю! Откуда мне знать такое?

Чувств сильнее этого раздражения она в свою речь не допускала.

Отец Патрика тоже не разделял его интереса к прошлому. По-видимому, многие — почти все — черты сына казались отцу дурными предзнаменованиями.

— Для чего тебе все это знать? — заорал он с того конца стола.

Он был коротенький, с квадратными плечами, поразительно воинственный. Патрик пошел в мать — она была высокая, красивая и элегантная в настолько приглушенном стиле, насколько это вообще возможно; казалось, при выборе одежды, макияжа и прически она стремится к полной, совершенной нейтральности.

— Потому что я интересуюсь историей, — сказал Патрик гневным, надменным голосом, в котором все же слышался нервный надлом.

— Потому что я интересуюсь историей! — немедленно передразнила его сестра Мэрион, идеально воспроизведя интонации брата вплоть до надлома. — Историей!

Сестры, Джоан и Мэрион, были моложе Патрика, но старше Розы. В отличие от Патрика, они не проявляли нервозности, в их броне самодовольства не было ни трещинки. Чуть раньше, тоже за столом, они допросили Розу:

— Ты ездишь верхом?

— Нет.

— Занимаешься парусным спортом?

— Нет.

— Играешь в теннис? Гольф? Бадминтон?

— Нет. Нет. Нет.

— Может быть, она интеллектуальный гений, как Патрик, — сказал отец.

И Патрик, к стыду и ужасу Розы, принялся выкрикивать на весь стол перечень завоеванных ею стипендий и наград. На что он надеялся? Неужели он настолько глуп, что думает, будто эта похвальба их впечатлит, вызовет что-то, кроме дальнейшего презрения? Семья вроде бы сплотилась против Патрика, против его хвастливых выкриков, его нелюбви к спорту и телевидению, его так называемых интеллектуальных интересов. Но этот союз был лишь временным. Неприязнь отца к дочерям казалась незначительной лишь рядом с его неприязнью к Патрику. Отец и к ним обращал гневные тирады, когда улучал время: он издевался над тем, сколько времени дочери проводят за спортивными играми, жаловался на дороговизну их спортивного инвентаря, яхт, лошадей. И дочери тоже грызлись между собой — из-за никому, кроме них, не понятных вопросов: счета в матче, взятой взаймы и невозвращенной вещи, ущерба. И все хором жаловались матери на еду, которая была обильна и восхитительна. Мать старалась говорить с другими членами семьи как можно меньше, и, по правде сказать,

Роза ее понимала. Она никогда не думала, что столько недоброжелательства может быть собрано в одном месте. Билли Поуп терпеть не мог инородцев и обожал ворчать. Фло была капризна, несправедлива и любила посплетничать. Отец, когда был жив, порой безжалостно судил людей и мог питать к ним упорную неприязнь. Но по сравнению с семьей Патрика Розина родня была сборищем довольных жизнью весельчаков.

— Они что, всегда такие? — спросила она у Патрика. — Или это из-за меня? Я им не нравлюсь.

— Ты им не нравишься, потому что я тебя выбрал, — сказал Патрик с некоторым удовлетворением.

Они лежали на каменистом пляже уже после захода солнца, в плащах, обнимались, целовались и — безуспешно в таком неудобном антураже — посягали на нечто большее. Роза испачкала плащ доктора Хеншоу водорослями. Патрик сказал:

— Теперь ты понимаешь, почему ты мне нужна? Ты мне так нужна!

* * *

Роза повезла его в Хэнрэтти. Визит оправдал ее худшие ожидания. Фло вылезла из кожи вон и приготовила парадный обед: запеченный кар-

тофель, репа, толстые деревенские колбаски (из мясной лавки, особый подарок Билли Поупа). Патрик ненавидел еду с грубой текстурой и даже не стал притворяться, что ест. Стол был покрыт пластиковой скатертью и освещен люминесцентными лампами. Посреди стола водрузили украшение, купленное специально для такого торжественного случая: пластмассовый лебедь ядовито-зеленого лаймового цвета, с прорезями в крыльях, куда были вставлены сложенные разноцветные бумажные салфетки. Билли Поуп, когда ему велели взять салфетку, засопел и отказался. За исключением этого инцидента, он вел себя удручающе хорошо. Его — их обоих, его и Фло, — достигла весть о триумфе Розы. Весть пришла от людей из высшего общества Хэнрэтти, иначе Билли и Фло не поверили бы. Покупатели в мясной лавке — дамы, внушающие благоговейный трепет, такие как жена зубного врача и жена ветеринара, — сказали Билли Поупу, что, по слухам, Роза поймала миллионера. Роза знала, что завтра Билли Поуп выйдет на работу в лавку, распираемый историями о миллионере, миллионерском сынке, и все эти истории будут вертеться вокруг самого Билли Поупа — вокруг того, как смело и непринужденно держался он в

сложной ситуации.

— Мы его усадили и покормили колбасками, нам без разницы, из какой он семьи!

Роза знала, что и Фло потом порасскажет всякого, — от нее не укрылась нервозность Патрика, она сможет передразнить его голос и то, как он размахивал руками, опрокинув бутылку кетчупа. Но пока что оба, Фло и Билли, сгорбились над столом в полнейшем унынии. Роза попыталась завести разговор — ее голос звучал с ненатуральной живостью, словно она была репортером, который пытается что-то вытянуть из пары простоватых деревенских жителей. Роза стыдилась стольких вещей сразу, что и сосчитать не могла. Ей было стыдно за эту еду, лебедя и пластиковую скатерть; стыдно за Патрика, мрачного сноба, который ошарашенно скривился, когда Фло протянула ему подставку с зубочистками; стыдно за Фло, с ее робостью, лицемерием и притворством; а больше всего — за себя. Она даже не могла разговаривать так, чтобы это звучало естественно. В присутствии Патрика она не могла деградировать и снова заговорить, как Фло, Билли Поуп и весь Хэнрэтти. И вообще, местный выговор теперь резал ей ухо. Казалось, что разница даже не в произношении, а в самом подходе к разговору.

Разговаривать значило кричать; слова следовало произносить по отдельности, подчеркивая каждое, чтобы перестреливаться ими с собеседником. А уж сами слова были словно позаимствованы из плохой комедии о деревенской жизни. «Погодь чудок», — говорили местные. Они в самом деле так говорили. Видя их глазами Патрика и слыша их его ушами, Роза тоже не могла не изумляться.

Она пыталась вывести разговор на местную историю — ей казалось, что Патрику это будет интересно. И действительно, у Фло в конце концов развязался язык, она не могла долго хранить молчание, как бы ни стеснялась. Но разговор принял оборот, которого совершенно не ожидала Роза.

— На той линии, где я жила девчонкой, — сказала Фло, — там было ужасть как много самоубивцев.

— Линия — это концессионная дорога, в лесу, — пояснила Роза Патрику.

Она боялась того, что будет дальше, и вполне обоснованно, ибо вслед за этим Патрик услышал о человеке, перерезавшем себе горло, свое собственное горло, прямо от уха до уха, о другом человеке, который застрелился, но в первый раз не наделал себе достаточно вреда и потому зарядил ружье, выстрелил снова и добился своего, и

еще об одном человеке, который повесился, но не на веревке, а на цепи, да не простой, а такой, какую надевают на трактор, и очень удивительно, что ему не оторвало голову.

Фло сказала «оторвало́ голову́».

Затем она перешла к женщине, которая хоть и не была самоубийцей, зато пролежала мертвой у себя в доме целую неделю, причем летом. Фло попросила Патрика представить себе эту картину. Все это, сказала Фло, произошло не дальше пяти миль от места, где родилась она сама. Она не пыталась привести Патрика в ужас — во всяком случае, не больше, чем допускалось светскими приличиями, — а всего лишь предоставляла свои «верительные грамоты». Она вовсе не хотела расстроить гостя. Но разве он мог это понять?

— Ты была права, — сказал Патрик, когда они уезжали из Хэнрэтти на автобусе. — Это действительно дыра. Ты, наверно, рада, что выбралась отсюда.

Роза немедленно почувствовала, что он не должен был такое говорить.

— Конечно, это не родная твоя мать, — продолжал Патрик. — Твои настоящие родители не могли быть такими.

Эти его слова Розе тоже не понравились, хотя

сама она думала именно так. Она видела, что он пытается изобрести для нее более благородное происхождение — может быть, что-то вроде домов его бедных друзей: книги, поднос с чайным сервизом, штопаное столовое белье, поношенное изящество. Гордые, измученные жизнью, образованные люди. Что он за трус, гневно подумала Роза, но знала, что струсила тут она, не умея не стыдиться своей собственной родни, кухни и всего этого. Много лет спустя Роза научится смешить или пугать прогрессивно настроенных людей на званых обедах зарисовками из своего детства. Но пока что ее одолевали смятение и уныние.

Но именно в это время зародилась ее верность. Теперь, когда Роза была уверена, что выбралась отсюда, каждое ее воспоминание начал обволакивать защитный слой верности. Каждое воспоминание, лавку, весь городок, даже плоскую, кое-где поросшую кустами, ничем не примечательную местность. Роза тайно противопоставляла родные места Патриковым видам на океан и горы, особняку из камня и дерева. Ее верность была гораздо более гордой и упрямой, чем у него.

Но оказалось, что он ничем не пожертвовал.

* * *

Патрик вручил ей кольцо с бриллиантом и объявил, что бросает историю ради нее, Розы. Он войдет в отцовский бизнес.

— Но ведь ты же ненавидишь отцовский бизнес, — удивилась Роза.

Он сказал, что не может себе позволить подобную позу — теперь, когда ему надо содержать жену.

По-видимому, желание Патрика жениться — даже на Розе — его отец воспринял как доказательство психического здоровья. Этой семье, при всем ее недоброжелательстве, была не чужда щедрость. Отец предложил Патрику место в одном из своих магазинов и тут же пообещал купить молодой чете дом. Патрик был столь же не способен отвергнуть предложение отца, как Роза — предложение Патрика, и тоже по причинам, имеющим мало общего с меркантильностью.

— У нас будет такой же дом, как у твоих родителей? — спросила Роза. Она в самом деле думала, что, может быть, им полагается начинать в таком же стиле.

— Ну, может быть, не сразу… Не совсем такой…

— Я не хочу такой дом, как у них! Я не хочу

жить так, как они!

— Мы будем жить так, как ты захочешь. В таком доме, который тебе нравится.

Главное, чтобы это не была дыра, зловредно подумала Роза.

Теперь едва знакомые девушки останавливали ее и просили показать кольцо, восхищались им, желали Розе счастья. Снова приехав на выходные в Хэнрэтти (на этот раз, слава богу, без Патрика), она повстречала на главной улице жену дантиста.

— О, Роза, как замечательно! Когда ты снова приедешь? Мы собираемся устроить чаепитие в твою честь! Все дамы города хотят устроить для тебя чаепитие!

Эта женщина до того ни слова не сказала Розе, даже и виду не подавала, что знает ее в лицо. Но теперь перед Розой открывались пути, барьеры теряли неприступность. А она — в этом заключалось самое худшее, весь позор, — вместо того чтобы гордо пройти мимо, краснела, игриво вертела на пальце кольцо и говорила, что да, это замечательная мысль. Когда Розе говорили, что она, должно быть, невероятно счастлива, она действительно чувствовала себя счастливой. Проще не бывает. Она лучилась ямочками на

щеках, сверкала бриллиантом и совершенно без труда превращалась в невесту. «Где же вы будете жить?» — спрашивали ее, и она отвечала: «О, в Британской Колумбии!» Это добавляло еще больше волшебства в ее сказку. «Там в самом деле так красиво, как рассказывают? Там никогда не бывает зимы?» — спрашивали ее. «О да! О нет!» — восклицала она.

* * *

Роза проснулась рано, встала, оделась и вышла через боковую дверь гаража доктора Хеншоу. Было еще очень рано, и автобусы не ходили. Роза пересекла весь город пешком и оказалась у дома Патрика. Она шла через парк. Вокруг памятника Англо-бурской войне резвились и скакали две борзые, а рядом стояла пожилая женщина, держа в руках поводки. Только что взошедшее солнце играло на светлых собачьих боках. Трава была мокрая. Цвели белые и желтые нарциссы.

Дверь открыл взъерошенный Патрик, в пижаме в серую и бордовую полоску. Он сонно хмурился:

— Роза! Что случилось?

Она не могла ничего выговорить. Он втянул ее в квартиру. Она обняла его, спрятала лицо у него на груди и драматическим голосом сказала:

— Патрик, пожалуйста, можно я не буду выходить за тебя замуж?

— Ты заболела? Что случилось?

— Пожалуйста, можно я не буду выходить за тебя замуж? — повторила она еще менее убедительно.

— Ты с ума сошла.

Неудивительно, что он так подумал. Ее голос прозвучал ужасно неестественно, глупо, вкрадчиво. Стоило Патрику открыть дверь и предстать перед Розой во плоти — сонные глаза, пижама, — она поняла, что пришла свершить нечто чудовищное и невозможное. Ей придется объяснить Патрику все, и, конечно, она не могла этого сделать. Она не могла объяснить ему свою насущную нужду. Не могла найти нужный тон голоса, выражение лица.

— Ты расстроена? Что случилось?

— Ничего.

— Как ты вообще добралась?

— Пешком.

Розе хотелось в туалет, но она противилась этому позыву. Ей казалось, что визит в уборную как-то ослабит убедительность ее позиции. Но она больше не могла терпеть. Она даровала себе свободу. И сказала:

— Погоди минуту, мне надо в туалет.

Когда она вышла, Патрик включил электрочайник и отмерял растворимый кофе. У Патрика был смирный и растерянный вид.

— Я еще не проснулся толком, — сказал он. — Так. Садись. Первым делом скажи мне, у тебя ПМС?

— Нет.

Но она тут же огорченно поняла, что да и что он может об этом догадаться, потому что месяц назад они беспокоились из-за ее задержки.

— Ну хорошо, если у тебя не ПМС и тебя ничего не расстроило, тогда что все это значит?

— Я не хочу замуж, — сказала она, струсив перед жестокостью слов «Я не хочу замуж за тебя».

— Когда ты это решила?

— Давно. Сегодня утром.

Они говорили шепотом. Роза посмотрела на часы. Было несколько минут восьмого.

— Когда встают остальные?

— Часов в восемь.

— Молоко для кофе у тебя есть? — Она пошла к холодильнику.

— Тихо, не хлопай дверцей, — предостерег Патрик, но было поздно.

— Извини, — сказала она странным, глупым

голосом.

— Мы с тобой ходили гулять вчера вечером, и все было хорошо. Сегодня утром ты приходишь и заявляешь мне, что не хочешь замуж. Почему ты не хочешь замуж?

— Просто не хочу. Не хочу замуж, и все.

— А чего ты хочешь?

— Не знаю.

Патрик пристально и строго смотрел на нее, отхлебывая кофе. Он, который когда-то вымаливал у нее признание — «Ты меня любишь? Правда любишь?» — теперь даже не упомянул о любви.

— Зато я знаю.

— Что?

— Я знаю, кто тебя надоумил.

— Никто!

— О нет. Спорю на что угодно, это доктор Хеншоу.

— Нет.

— Некоторые люди о ней не очень хорошего мнения. Они считают, что она оказывает влияние на девушек. Она не любит, чтобы девушки, которые живут в ее доме, встречались с парнями. Верно ведь? Ты же сама мне говорила. Она не хочет, чтобы они были нормальные.

— Ничего подобного.

— Роза, что она тебе сказала?

— Ничего она мне не говорила! — Роза расплакалась.

— Точно?

— Ох, Патрик, ну послушай меня, пожалуйста, я не могу за тебя выйти, пожалуйста, я не знаю почему, не могу, прости меня, поверь мне, я не могу, — лепетала Роза, рыдая, и Патрик со словами: «Ш-ш-ш! Соседей разбудишь!» — не то вынес, не то выволок ее из кухни к себе в комнату.

В комнате Роза села на кровать. Патрик закрыл дверь. Роза прижала руки к животу и стала раскачиваться взад-вперед.

— Роза, да что такое? Что случилось? Ты больна?

— С тобой так тяжело об этом разговаривать!

— О чем?

— О том, о чем я только что с тобой говорила.

— Я тебя спрашиваю — у тебя что, туберкулез нашли или еще что-нибудь?

— Нет!

— Может, у тебя в семье какая-то болезнь, о которой ты мне не рассказала? Наследственное безумие? — заботливо спросил Патрик.

— Нет! — Роза продолжала раскачиваться и рыдать.

— Так что же тогда?

— Я тебя не люблю! Я тебя не люблю. Я тебя не люблю. — Она упала на кровать и зарылась головой в подушку. — Прости. Прости меня. Я ничего не могу поделать.

Через минуту-другую Патрик сказал:

— Ну что ж, не любишь — значит не любишь. Я не могу тебя заставить. — Голос звучал натужно и зло, и это не вязалось с разумным смыслом слов. — Я просто не могу понять, знаешь ли ты, чего хочешь. По-моему, нет. По-моему, ты понятия не имеешь, чего хочешь. Ты просто не в себе.

— Мне не обязательно знать, чего я хочу, чтобы знать, чего я не хочу! — сказала Роза, перевернувшись лицом вверх. Это придало ей смелости. — Я тебя никогда не любила.

— Ш-ш-ш. Соседей разбудишь. Давай закончим этот разговор.

— Я тебя никогда не любила. И никогда не хотела любить. Это все ошибка.

— Хорошо, хорошо, я понял.

Патрик был так бледен, что родимое пятно казалось раной, и от этого Розе только еще сильнее хотелось говорить.

— Почему я обязана тебя любить? Почему ты делаешь вид, что если я тебя не люблю, значит

со мной что-то не так? Ты меня презираешь. Ты презираешь мою семью и мое происхождение и думаешь, что собираешься меня осчастливить…

— Я тебя полюбил, — сказал Патрик. — Я тебя не презираю. О Роза! Я тебя боготворю!

— Ты тряпка, — сказала Роза. — Ты ханжа.

Эти слова доставили ей огромное наслаждение, и она соскочила с постели. Ее переполняла энергия. Это было еще не все. У нее в запасе были ужасные вещи.

— Ты даже не знаешь толком, что делать в постели! Я хотела сбежать с самого начала. Но мне было тебя жаль. Ты не смотришь, куда идешь, ты вечно все опрокидываешь только потому, что тебе плевать, ты не хочешь ничего замечать — так ты поглощен собой. И еще ты вечно хвалишься, и это у тебя получается ужасно глупо — ты даже хвалиться не умеешь, если бы ты по правде хотел произвести впечатление на людей, ты бы так никогда не делал, а ты так хвалишься, что все над тобой смеются!

Патрик сел на кровать и посмотрел на Розу снизу вверх. Лицо его было открыто для любых ее слов. Она хотела все сильней бить его словами, говорить вещи все хуже и хуже, безобразней и злее. Она сделала вдох, набрала воздуху — чтобы

остановить все то, что поднималось сейчас в ней, и не дать ему выйти наружу.

— Я не хочу тебя видеть больше никогда в жизни! — злобно сказала она. Но у двери повернулась и произнесла: — Прощай.

* * *

Патрик написал ей записку: «Я не понимаю, что произошло в тот день, и хочу поговорить с тобой об этом. Но я считаю, мы должны подождать две недели и посмотреть, что будет».

Роза совсем забыла, что надо вернуть ему кольцо. Выйдя тем утром из многоэтажного дома, где располагалась квартира Патрика, Роза обнаружила, что кольцо до сих пор у нее на пальце. Она не могла вернуться, а посылать кольцо почтой не хотела — оно было слишком ценное. Она продолжала его носить — главным образом потому, что не хотела рассказывать доктору Хеншоу, что случилось. Получив записку Патрика, Роза обрадовалась. Она сможет отдать ему кольцо, когда они встретятся.

Она думала о том, что сказал Патрик про доктора Хеншоу. Конечно, в этих словах была доля истины, иначе почему Розе так не хочется рассказывать доктору Хеншоу о расторжении по-

молвки — так не хочется выслушивать разумные одобрительные слова доктора, ее сдержанные поздравления, в которых сквозит облегчение?

Она сказала доктору Хеншоу, что решила не встречаться с Патриком, пока готовится к экзаменам. Видно было, что даже эта весть доктору приятна.

Роза никому не сказала, что ее положение изменилось. Она не только от доктора Хеншоу хотела это скрыть. Ей хотелось, чтобы ей по-прежнему завидовали: это чувство было для нее так ново.

Она попыталась понять, что ей делать дальше. Оставаться у доктора Хеншоу она не могла. Казалось очевидным, что раз она сбежала от Патрика, то должна бежать и от доктора Хеншоу. Ей не хотелось также оставаться в университете, где все знают о ее расторгнутой помолвке. Девушки, которые ее поздравляли, будут говорить, что с самого начала знали: ее триумф — это ненадолго, Патрик на самом деле не для нее. Ей придется искать работу.

Заведующий библиотекой предложил ей работу на лето, но, вероятно, по протекции доктора Хеншоу. Возможно, как только Роза съедет от доктора, предложение потеряет силу. Роза знала, что сейчас ей нужно не к экзаменам готовиться,

а бегать по городу, ища работу — клерка в страховой конторе, телефонистки в компании «Белл», продавщицы в универсальном магазине. Эта мысль ее напугала. Роза продолжала готовиться к экзаменам. Учеба — это единственное, что Роза умела. В конце концов, она не кто-нибудь, а студент-стипендиат.

В субботу, работая в библиотеке, она увидела Патрика. Это произошло не случайно. Роза спустилась на нижний этаж, пытаясь бесшумно ступать по спиральной железной лестнице. Среди стеллажей было место, где она могла стоять почти в полной темноте и смотреть, что происходит в закутке у Патрика. Она так и сделала. Его лица не было видно. Она видела его длинную розовую шею и старую рубашку из шотландки, которую он носил по субботам. Его длинную шею. Его костлявые плечи. Он больше не раздражал Розу и не пугал ее: она была свободна. Она могла смотреть на него как на любого другого человека. Могла оценивать его. До сих пор он вел себя достойно. Не пытался взять ее на жалость, не запугивал ее, не осыпал просительными письмами и телефонными звонками. Не стал приходить и сидеть на пороге дома доктора Хеншоу. Он был достойным человеком, но он никогда не

узнает, как Роза к этому отнеслась, как она за это благодарна. Теперь она стыдилась за все, что тогда наговорила. Тем более это была неправда. Ну, почти все неправда. Он знал, что делать в постели. Розу так тронул вид Патрика, привел ее в такое кроткое и мечтательное расположение души, что ей захотелось подарить ему что-нибудь — нежданное сокровище. Сделать так, чтобы он больше не был несчастен.

Тут ей представилась картина, которая неотразимо на нее подействовала: она бесшумно подбегает к закутку Патрика, обнимает его сзади за шею и возвращает ему все. Примет ли он ее дар? Вдруг он всего этого больше не хочет? Роза представила себе, как они, плача и смеясь, объясняются между собой, прощают. Я тебя люблю, я тебя правда люблю, все хорошо, я вела себя ужасно, я не хотела, я просто сошла с ума, я тебя люблю, все хорошо. Это было чудовищное искушение, которому она едва могла противостоять. Ей хотелось броситься стремглав. С утеса в пропасть? Или в теплые объятия мягкой травы и цветов? Роза не знала.

В конце концов она не смогла устоять перед искушением. И сдалась.

* * *

Потом, пересматривая этот эпизод своей жизни и обсуждая его с другими — ибо Роза, как большинство наших современников, прошла через период свободного обсуждения своих самых интимных решений с друзьями, любовниками и незнакомыми гостями на чужих приемах и они делали то же самое по отношению к ней, — она говорила, что ею овладело дружеское сочувствие, что она не вынесла вида беззащитно склоненной шеи. Потом она проанализировала ситуацию более глубоко и стала говорить, что это все жадность, жадность. Она говорила, что подбежала к Патрику, повисла у него на шее, развеяла его подозрения, целовала его, плакала и вернулась в прежнюю роль лишь потому, что не знала, как будет жить без его любви и его обещания о ней заботиться; она боялась окружающего мира и не могла придумать никакого другого плана на дальнейшую жизнь. Когда же она мыслила в терминах экономики или беседовала с людьми, которые мыслили так же, то говорила, что выбор — это роскошь, доступная лишь представителям среднего класса. Будь у нее деньги на билет до Торонто, ее жизнь обернулась бы по-другому.

Ерунда, говорила она еще позже, это все ерунда, настоящая причина в тщеславии, чистое тщеславие и больше ничего, она хотела воскресить Патрика и вернуть ему счастье. Узнать, по силам ли ей это. Она не могла отказаться от возможности так испытать свои чары. Затем она объясняла, что заплатила за это сполна. Говорила, что они с Патриком прожили в браке десять лет, и за это время сцена первого разрыва и примирения периодически повторялась, причем Роза говорила Патрику все те же слова, что и в первый раз, и многое другое, что приходило ей в голову. Она надеется теперь, что не рассказывала собеседникам (но подозревает, что рассказывала) о своей привычке биться головой о столбик кровати и о том, как расколотила соусницу, швырнув ее сквозь окно столовой; о том, что она была так испугана содеянным, чувствовала такое отвращение к себе, что потом лежала в кровати, тряслась и просила и умоляла Патрика о прощении. Которое он ей даровал. Иногда она кидалась на него; иногда он бил ее. На следующее утро они вставали рано и готовили особый завтрак. Садились за стол, ели яичницу с беконом и пили фильтрованный кофе, измотанные, растерянные, пристыженно заботясь друг о друге.

«Как ты думаешь, что провоцирует эту реакцию?» — спрашивали они друг друга.

«Может, нам куда-нибудь поехать отдохнуть? Вместе?»

«Или по отдельности?»

Напрасная трата усилий, лицедейство, как выяснилось потом. Но тогда это помогало. Успокоившись, они говорили, что большинство женатых пар наверняка проходит через то же самое. И действительно, по-видимому, среди их знакомых такое бывало абсолютно у всех. Патрик и Роза не могли отделиться друг от друга, пока не ранят друг друга достаточно сильно, почти насмерть. И пока Роза не пойдет работать и не начнет сама зарабатывать деньги. Так что, возможно, главная причина их ссор была весьма банальной.

Иногда Роза думала, но никому никогда об этом не говорила, что причина была не в жалости, не в жадности, трусости или тщеславии, но в чем-то совершенно ином, в некой картине счастья, возникающей у нее в голове. После всего, что Роза открывала собеседникам, об этом она рассказать не могла. Что весьма странно, и Роза не в силах объяснить этот феномен. Она не имеет в виду, что в их браке были и обычные, мирные периоды,

длинные, заполненные суетой отрезки домашнего ремонта, отпуска, семейных обедов, хождения по магазинам и беспокойства из-за болезни ребенка. Она имеет в виду, что иногда, без причины и без предупреждения, счастье или возможность такового заставали их врасплох. Как будто они оказывались в иной шкуре, хотя и точно такой же на вид, — словно в тени их обычных «я», едва заметные, существовали другой Патрик и другая Роза, лучезарно добрые и невинные. Может быть, именно этого Патрика Роза увидела, освободившись от него и незаметно заглянув в его закуток в библиотеке. Может быть. Нужно было там его и оставить.

* * *

Она знала, что увидела именно этого Патрика; знает теперь, потому что это случилось еще раз. Она оказалась среди ночи в аэропорту Торонто. Они с Патриком уже лет девять как развелись. Роза к этому времени стала известной телеведущей, и бóльшая часть населения страны знала ее в лицо. Она интервьюировала политиков, актеров, писателей, прочих знаменитостей и множество обычных людей, сердитых на правительство, полицию или профсоюз за какую-нибудь несправед-

ливость. Иногда она беседовала со свидетелями странных явлений, с людьми, видевшими НЛО или морских чудовищ, с авторами необычных рекордов, владельцами необычных коллекций или с людьми, соблюдающими какой-нибудь причудливый старинный обычай.

В этот раз она была одна. Ее никто не встречал. Она прилетела из Йеллоунайфа, и ее самолет опоздал. Она была измученная и помятая. Она увидела Патрика — он стоял спиной к ней у прилавка в кофейне. На нем был плащ. Патрик отяжелел за эти годы, но Роза все равно его сразу узнала. И испытала все то же чувство — что с этим человеком ее что-то связывает, что, проделав некий магический, но вполне осуществимый трюк, они смогут найти друг друга и начать снова доверять друг другу и что она, Роза, может запустить это волшебство — нужно лишь подойти, коснуться его плеча, осыпать его внезапным счастьем.

Конечно, этого она делать не стала. Но все же остановилась. Она уже стояла, когда он развернулся, направляясь к одному из пластмассовых столиков с вогнутыми сиденьями — они располагались кучкой перед прилавком кофейни. Худоба и потрепанная одежда ученого, чопорно-автори-

тарный вид исчезли. Патрик как-то разгладился и наполнился — превратился в модно одетого, приятного, ответственного, чуть самодовольного мужчину. Родимое пятно выцвело. Роза подумала о том, какой измученной и потасканной выглядит сама — мятый плащ, длинные седеющие волосы свисают на лицо, под глазами размазана вчерашняя тушь.

Он состроил ей рожу. Отвратительную рожу, лицо дикаря, объявляющее «не подходи»: выражение инфантильное, эгоистичное и при этом неслучайное. Точно рассчитанный по времени взрыв отвращения и ненависти. В это было трудно поверить. Но Роза все видела.

Иногда, беседуя с кем-нибудь перед телекамерой, Роза чувствовала, что собеседнику очень хочется скорчить рожу. Это проявлялось у самых разных людей — у ловких политиков, у красноречивых епископов с либеральными взглядами, у филантропов, увенчанных лаврами, у домашних хозяек, ставших свидетелями природных катастроф, у рабочих, которые кого-нибудь героически спасли или не получили положенной им пенсии по инвалидности. Они жаждали опозориться, состроить рожу или сказать непристойность. Может, они хотели бы скорчить

именно такую гримасу, как Патрик? Чтобы кому-то показать? Чтобы всем показать? Впрочем, они ничего не показывали; не представлялось такой возможности. Нужны были особые обстоятельства. Мертвенное, словно потустороннее, место, глухая ночь, тяжкая, до невменяемости, усталость и внезапное, словно галлюцинация, появление твоего истинного врага.

Она поспешила прочь, по длинным пересекающимся разноцветно окрашенным коридорам. Ее трясло. Она видела Патрика; Патрик видел ее; он состроил эту рожу. Но у Розы не укладывалось в голове, что она может быть врагом. Разве мог кто-либо ее так сильно ненавидеть — в тот самый миг, когда она готова была подойти, исполненная доброй воли, улыбаясь и признаваясь, что совсем обессилена, окутанная облаком застенчивой веры в цивилизованное разрешение конфликтов?

О, Патрик мог. Еще как мог.

Баловство

Роза влюбилась в Клиффорда на вечеринке, где он и Джослин были хозяевами, а Роза с Патриком — гостями. Они к этому времени были женаты уже года три, а Клиффорд и Джослин примерно на год дольше.

Клиффорд и Джослин жили за пределами Западного Ванкувера, в летнем домике, кое-как утепленном для зимы (тогда такое часто встречалось). Эти домики стояли на коротких кривых улочках между скоростным шоссе и морем. Дело было в марте, мартовским темным дождливым вечером. Отправляясь в гости, Роза нервничала. Ее чуть не стошнило, пока они ехали через Западный Ванкувер. Она глядела, как неоновые вывески плачут в лужах на дороге, и слушала угрожающее тиканье дворников. Потом Роза часто вспоминала этот вечер и видела себя в машине рядом с Патриком: на ней была низко вырезанная черная блузка и черная бархатная юбка, и Роза надеялась, что этот наряд окажется уместным. Она жалела, что они вместо вечеринки не пошли попросту в кино. Она понятия не

имела, что ее жизнь вот-вот изменится.

Патрик тоже нервничал, хотя и не признался бы в этом. Светская жизнь была непонятным и часто неприятным делом для них обоих. Они приехали в Ванкувер, никого там не зная. И теперь целенаправленно «разрабатывали» потенциальных знакомых. Роза не могла бы сказать, зачем они это делают: оттого ли, что в самом деле хотят иметь друзей, или из убеждения, что обязаны их иметь. Они нарядно одевались и ходили с визитами или же прибирались у себя в гостиной и ждали людей, которые должны были прийти к ним. Иногда возникали устойчивые графики обмена визитами. Когда приходили гости, сначала подавались напитки, а часов в одиннадцать или в полдвенадцатого — время ползло невыносимо медленно — Роза выходила на кухню, варила кофе и готовила какую-нибудь еду. Обычно квадратики поджаренного хлеба, на которые она клала ломтик помидора, сверху — ломтик сыра, потом кусочек бекона и все вместе подставляла на несколько минут под гриль и скрепляла зубочисткой. Ничего другого в плане угощения ей не удавалось придумать.

Им было проще завести дружбу с людьми, симпатичными Патрику, чем с людьми, симпа-

тичными Розе, потому что Роза отлично умела приспосабливаться — то есть мастерски лицемерила, — а Патрик вообще не умел. Но Джослин и Клиффорд были друзьями Розы. Во всяком случае, Джослин была ее подругой. И Джослин, и Роза понимали, что подружиться домами им не удастся, лучше и не пробовать. Патрик уже заочно воспылал неприязнью к Клиффорду, потому что Клиффорд был скрипачом; без сомнения, и Клиффорд уже успел невзлюбить Патрика за то, что тот работал в сети универсальных магазинов, принадлежащей его семье. В те дни барьеры между людьми были еще прочны и незыблемы: между людьми искусства и бизнесменами, между мужчинами и женщинами.

Роза не была знакома ни с кем из друзей Джослин, но знала, что это музыканты, журналисты, университетские преподаватели и даже одна писательница, из чьей пьесы сделали радиопостановку. Розе казалось, что все время, пока они с Патриком сидят в гостиных — нанося визиты или принимая визитеров у себя, — по-настоящему остроумные, интеллигентные люди, не без основания презирающие их, ведут беспорядочный образ жизни и веселятся на приемах где-то в других местах. Теперь ей представился шанс

увидеть этих людей, но ее желудок бунтовал и ладони потели.

* * *

Джослин и Роза познакомились в родильном отделении центральной больницы Северного Ванкувера. После того как родилась Анна, Розу отвезли обратно в палату, и первым человеком, которого она там увидела, была Джослин. Джослин сидела в постели и читала дневники Андре Жида. Роза узнала книгу по цветовой гамме обложки — она до этого видела ее на полках в универсальных магазинах. Андре Жид был в списке литераторов, чьи произведения она собиралась изучить. В то время она читала только великих писателей.

У Джослин была одна черта, которая немедленно поразила и ободрила Розу. Джослин выглядела совершенно как студентка, и даже атмосфера палаты в родильном отделении на нее никак не подействовала. У Джослин были длинные черные косы, тяжелое бледное лицо, очки с толстыми стеклами и полное отсутствие миловидности, а по лицу было видно, что ей удобно и она полностью поглощена книгой.

Женщина в кровати рядом с Джослин расска-

зывала о своей системе расположения продуктов в кухонных шкафчиках. Иногда она пропускала что-нибудь — например, рис или коричневый сахар — и тогда начинала с самого начала, предварительно убедившись, что слушатели находятся с ней на одной волне: «Помните самую верхнюю полку справа от плиты, где я держу суп в пакетиках, но не консервированный суп, тот у меня стоит внизу с консервами, так вот, прямо на соседней с ней полке…»

Другие женщины пытались тоже вставить словечко и рассказать, где какие продукты лежат у них, но у них ничего не получалось, или их вскоре перебивали. Джослин сидела, читала и крутила пальцами кончик косы, словно в библиотеке, в университете, словно занималась изысканиями для научного труда и мир других женщин ее не поймал. Розе очень хотелось быть такой же.

Она была еще оглушена родами. Закрывая глаза, она каждый раз видела солнечное затмение — огромный черный шар с огненной каемкой. Это была голова младенца, окруженная кольцом боли, как раз перед тем, как Роза вытолкнула ее наружу. На эту картину раздражающими волнами наплывали кухонные полки неутомимой рассказчицы, просевшие под тяжестью консерв-

ных банок и пакетов. Но тогда Роза могла, открыв глаза, увидеть Джослин, черно-белую, с косами, падающими на казенную ночную рубашку. Джослин была единственным в поле зрения Розы человеком с достаточно серьезным и спокойным видом, подобающим случаю.

Скоро Джослин вылезла из кровати, продемонстрировав длинные белые ноги, небритые, и живот, еще растянутый после беременности. Она накинула полосатый купальный халат. Вместо пояса она подвязала его мужским галстуком. И пошлепала босиком по больничному линолеуму. Прибежала медсестра и велела ей надеть тапочки.

— У меня нет тапочек.

— Но какая-то обувь у вас есть? — ядовито спросила медсестра.

— О да, у меня есть обувь.

Джослин вернулась к своей кровати, полезла в стоящий рядом металлический шкафчик и достала пару больших, грязных, разношенных мокасин. И пошла, так же нахально шлепая ступнями, как раньше.

Розе ужасно захотелось с ней познакомиться.

На следующий день и у Розы уже было что читать — «Последнего пуританина» Джорджа

Сантаяны. К несчастью, книга была библиотечная, и заглавие на обложке вытерлось и выцвело, так что Джослин вряд ли восхитилась бы Розиным выбором литературы, как раньше Роза — выбором Джослин. Роза не знала, как заговорить с соседкой.

Женщина, которая вчера объясняла им про свои кухонные шкафчики, сегодня рассказывала о том, как пользуется пылесосом. Она заявила, что очень важно использовать все насадки, потому что у каждой из них свое назначение и, в конце концов, за них деньги плачены. Многие люди используют не все насадки. Она описала, как чистит пылесосом шторы в гостиной. Другая женщина сказала, что тоже пробовала это делать, но у нее материя сбивается комом. Первая объяснила: это потому, что вторая все делает неправильно.

Роза поймала взгляд Джослин над краем книги.

— Надеюсь, дорогая, вы полируете ручки своей кухонной плиты, — тихо сказала она.

— Разумеется, дорогая, — ответила Джослин.

— Вы полируете их каждый день?

— Раньше я полировала их два раза в день, но теперь, когда у меня прибавление в семействе, я даже не знаю, найду ли на это время.

— Вы используете специальную пасту для полировки ручек плиты?

— Конечно! И специальные салфетки для полировки ручек плиты, которые продаются в особых упаковках.

— Это хорошо. Многие люди их не используют.

— Многие люди пользуются чем попало.

— Старыми посудными полотенцами.

— Старыми засопливленными носовыми платками.

— Старыми соплями!

Их дружба расцвела мгновенно. Такая роскошная духовная близость часто возникает в казенных заведениях: школах, лагерях, тюрьмах. Они прогуливались по коридорам, нарушая приказы медсестер. Они раздражали других женщин, которые их не понимали. Они читали друг другу вслух и хохотали навзрыд, как девчонки. Читали они не Жида и Сантаяну, но бульварные романы про любовь, найденные в комнате ожидания.

— Здесь написано, что можно купить фальшивые икры, — сказала Роза. — Правда, не понимаю, как их можно скрыть. Наверно, их крепят ремешками к ногам. А может, просто запихивают в чулки, но ведь, наверно, их сразу видно снаружи?

— К ногам? — переспросила Джослин. — Ремешками к ногам? Ах, икры! Фальшивые икры! Я подумала про фальшивую икру. Фальшивые рыбьи яйца!

Этого было достаточно, чтобы обе покатились со смеху:

— Фальшивые рыбьи яйца!

— Фальшивые сиськи, фальшивые попы, фальшивые рыбьи яйца!

— Чего только не придумают!

Женщина с пылесосом сказала, что они вечно перебивают и портят разговор другим и вообще она не видит, что такого смешного в неприличных словах. Она сказала, что, если они не перестанут так себя вести, у них испортится молоко.

— Я вот думаю, может, мое уже прокисло, — сказала Джослин. — Оно какого-то очень противного цвета.

— Какого? — спросила Роза.

— Ну… какого-то синеватого.

— Господи! Может, у тебя там чернила!

Женщина с пылесосом пообещала рассказать медсестре, что они поминают имя Господа всуе. Она сказала, что она не ханжа, но… Она вопросила, достойны ли они быть матерями. Как Джослин

будет стирать пеленки, если она и халат свой явно ни разу не стирала?

Джослин ответила, что она индеанка и будет пользоваться мхом.

— Похоже на то, — заметила женщина.

После этого Джослин и Роза часто начинали фразы с «Я не ханжа, но...».

— Я не ханжа, но посмотри на этот пудинг!

— Я не ханжа, но у этого ребенка, по-моему, полный набор зубов!

Медсестра спросила, не пора ли им повзрослеть.

На прогулках по коридорам Джослин рассказала, что ей двадцать пять лет, что сына она назовет Адам, что у нее уже есть двухлетний мальчик по имени Джером, что ее мужа зовут Клиффорд и что он профессиональный скрипач. Джослин была родом из Массачусетса и окончила Уэллсли[7]. Ее отец был психиатром, а мать — педиатром. Роза в ответ рассказала, что она родом из маленького городка в Онтарио, а Патрик — с острова Ванкувер и что его родители не одобряют их брака.

— В городке, откуда я родом, — рассказывала Роза, несколько преувеличивая, — все говорят

---

[7] Примечания: 7

Уэллсли — престижный частный университет для женщин, расположенный в штате Массачусетс недалеко от Бостона.

«хочете». «Чего вы хочете кушать?»

— «Хочете»?

— Да. Это множественное число второго лица от глагола «хотеть».

— А. Как в Бруклине. И как у Джеймса Джойса. А где работает Патрик?

— В семейном магазине. Его семья владеет магазином.

— Так ты вышла замуж в богатую семью? А чего ты тогда рожаешь в больнице?

— Мы только что потратили все деньги на такой дом, какой хотелось Патрику.

— А тебе не хотелось?

— Не так, как ему.

Она еще ни разу не произносила этого вслух.

Они пустились в дальнейшие беспорядочные откровения.

Джослин ненавидела свою мать. Мать заставляла ее спать в комнате с кисейными занавесками и поощряла коллекционирование уток. К тринадцати годам у Джослин собралась, наверно, самая большая в мире коллекция уток — резиновых, глиняных, деревянных, нарисованных и вышитых. Кроме этого, Джослин написала омерзительно вундеркиндовскую, как она выразилась, историю под названием «Удивительные

и жуткие приключения Великого Селезня Оливера», которую ее мать «реально отпечатала и разослала друзьям и родственникам на Рождество».

— Она из тех, кто все кругом заливает тошнотворной елейностью. Как будто из нее сироп сочится. Она никогда не разговаривает нормальным голосом, вообще никогда. Она ужасно слащавая. Омерзительно слащавая. Конечно, она очень популярный педиатр. Со всеми этими ее омерзительно ласковыми кличками для каждой части человеческого тела.

Роза, которая в детстве была бы безумно рада кисейным занавескам, изучала мир Джослин: существующие в нем тонкие грани, способы оскорбить. По-видимому, в сравнении с ним мир самой Розы был гораздо более груб и шаток. Она сомневалась, сможет ли рассказать Джослин про Хэнрэтти, но решила попробовать. Она широкими мазками описала Фло и лавку. Она чуточку преувеличила их бедность. Оказалось, что это совершенно не нужно. Подлинные факты ее детства были достаточно экзотичны для Джослин, которая, как ни странно, позавидовала Розе.

— Твое детство какое-то более настоящее, — сказала Джослин. — Я знаю, что это у меня

романтизм играет.

Они заговорили о своих юношеских устремлениях. (Обе были совершенно уверены, что их юность уже прошла.) Роза сказала, что хотела быть актрисой, но она такая трусиха, что боится даже подойти к сцене. Джослин хотела стать писательницей, но ей мешали постыдные воспоминания о селезне Оливере.

— Потом я встретила Клиффорда, — сказала она. — И когда увидела, что такое настоящий талант, поняла, что мое писательство — обыкновенная блажь. Я сделаю гораздо больше, если помогу Клиффорду пестовать его дар, или что я там делаю для него, черт его дери. Он по-настоящему талантливый. Иногда он бывает попросту ужасен. Но ему это сходит с рук, потому что он по-настоящему талантлив.

— По-моему, это романтическая ерунда, — твердо и завистливо сказала Роза. — То, что одаренным людям нужно многое прощать.

— Правда? Но великим художникам всегда все прощают.

— Только не женщинам.

— Но женщины обычно не бывают великими художниками… не на одном уровне с мужчинами.

Так думали тогда самые образованные, самостоятельно мыслящие, даже радикально настроенные молодые женщины той эпохи. Роза не разделяла эти идеи — в частности, потому, что не получила хорошего образования. Джослин сказала ей — гораздо позже, — что одна из причин, почему с Розой так интересно беседовать, — то, что у нее есть идеи, но она необразованна. Роза удивилась и сказала, что училась в университете Западного Онтарио. По смущенному лицу подруги, которое вдруг как-то закрылось, утратило непосредственность — редкий для нее случай, — Роза поняла, что Джослин как раз это и имела в виду.

После их разногласий по поводу художников вообще и мужчин и женщин художников Роза хорошенько рассмотрела Клиффорда, когда он вечером пришел навестить жену. Она сочла, что у него вялый, невротичный вид человека, явно привыкшего, что его желания исполняются. Позже, узнав, сколько такта требуется от Джослин, сколько сил, чисто физической энергии она тратит на семейную жизнь (именно Джослин чинила протекающие краны и прочищала забитые трубы), Роза полностью убедилась, что Джослин растрачивает себя понапрасну, идет не в ту сто-

рону. Впрочем, Роза подозревала, что Джослин, со своей стороны, не видит особого смысла в ее браке с Патриком.

* * *

На вечеринке оказалось поначалу проще, чем ожидала Роза. Она боялась, что окажется чересчур парадно одетой: она хотела надеть тореадорские брючки, но Патрик этого не потерпел бы. Но здесь лишь немногие девушки были в слаксах. Остальные — в чулках, серьгах, нарядах, очень похожих на Розин. Как на любом сборище молодых женщин той поры, три-четыре были заметно беременны. Большинство мужчин были в костюмах и при галстуках, как и Патрик. Роза испытала большое облегчение. Она не просто хотела, чтобы Патрик выглядел своим среди прочих гостей; она хотела, чтобы он примирился с существованием этих людей и понял, что они не уроды какие-нибудь. В студенческие годы Патрик водил ее на концерты и в театры и вроде бы не питал чрезмерных подозрений в адрес выступающих артистов. Наоборот, ему, кажется, нравились театры и музыка, потому что его семья их ненавидела, а в то время — как раз когда он выбрал Розу — у него был краткий период бунта

против семьи. Однажды он повез Розу в Торонто, и они пошли в Королевский онтарийский музей, в китайский храмовый зал, и сели там перед фресками. Патрик рассказывал Розе, как эти фрески привезли по кусочкам из провинции Шаньси. Он явно очень гордился своими познаниями и в то же время был очаровательно, обезоруживающе скромен, нехарактерно для себя, и признался, что все это услышал здесь же от экскурсовода. Лишь пойдя работать, он завел непререкаемые мнения и стал осуждать людей оптом. Современное искусство — шарлатанство. Авангардные пьесы — грязь. У Патрика была особая манера произносить «авангардные» — он жеманничал и брызгал слюной, так что слово выходило омерзительно претенциозным. Роза считала, что он прав. В каком-то смысле она понимала, что он имеет в виду. Она видела чересчур много разных сторон вопроса; Патрик этим не страдал.

За исключением периодических жестоких ссор, она была очень кротка с Патриком и старалась быть у него на хорошем счету. Это было нелегко. Даже до того, как они поженились, Патрик завел привычку читать ей полные упреков лекции в ответ на простой вопрос или констатацию факта. Иногда в те дни Роза специально задавала во-

просы в надежде, что он проявит какие-нибудь выдающиеся познания и даст ей повод повосхищаться, но обычно она в конце концов жалела, что спросила: ответ был слишком длинный, преподносился уничтожающим тоном и никаких особых глубин мудрости не содержал. Роза искренне хотела восхищаться Патриком и уважать его, но каждая попытка оказывалась прыжком в неизвестность.

Позже Роза думала, что на самом деле уважала Патрика, но не так, как он хотел, чтобы его уважали; и любила его, но не так, как он хотел, чтобы его любили. Но тогда она этого не знала. Она думала, что хотя бы отчасти знает его, и думала, что знает: он на самом деле не хочет становиться тем, во что так трудолюбиво себя переделывает. Такую самонадеянность можно, конечно, назвать уважением, а такую бесцеремонность — любовью. Но эти чувства не сделали Патрика счастливым.

Кое-кто из мужчин был в джинсах и свитере или водолазке. Один из них, весь в черном, был Клиффорд. На дворе стояла эпоха битников из Сан-Франциско. Джослин звонила Розе по те-

лефону и читала ей «Вой»[8]. В черной одежде Клиффорд выглядел очень загорелым, а волосы у него были слишком длинные по сравнению с тогдашней модой и светлые, почти такие же светлые, как небеленый хлопок. Глаза тоже были очень светлые, яркие, серо-голубые. Розе он показался маленьким, похожим на кота, отчасти женственным; она только надеялась, что Патрик не воспылает к нему слишком сильным отвращением.

Из алкогольных напитков подавали пиво и винный пунш. Джослин, отличная повариха, мешала в кастрюле джамбалайю. Роза сходила в туалет — чтобы на время освободиться от Патрика, который как будто нарочно за нее цеплялся (Роза решила, что он сторожит ее, и не подумала, что, может быть, он просто робеет). Когда она вышла из туалета, Патрик куда-то делся. Она выпила три стакана пунша — один за другим, — и ее представили писательнице, автору пьесы. К удивлению Розы, эта женщина была одной из самых бесцветных и стеснительных гостей.

---

[8] Примечания: 8

«Вой» (иногда переводится как «Вопль», *англ.* Howl) — поэма Аллена Гинзберга, которая считается самым известным произведением бит-поколения (наравне с романами «В дороге» Д. Керуака и «Голый завтрак» У. Берроуза).

— Мне понравилась ваша пьеса, — сказала Роза.

По правде сказать, Розу сочинение писательницы поставило в тупик, а Патрик счел пьесу отвратительной. На первый взгляд она была про женщину, пожирающую собственных детей. Роза знала, что это символ, но не могла понять, что именно он символизирует.

— Да, постановка была ужасная! — сказала писательница. От застенчивости, волнения и желания поговорить о пьесе она обрызгала Розу пуншем. — Они все сделали так буквально. Я боялась, что выйдет чернуха, а мне нужна была тонкость. Мне нужно было совсем другое, не то, что вышло в постановке.

Она принялась объяснять Розе, что именно было не так с постановкой, — неправильно подобрали актеров, выкинули самые важные, жизненно важные, строчки. Розе было лестно слушать эти подробности, и она попыталась незаметно вытереть брызги пунша.

— Но вы-то поняли, что я хотела сказать? — спросила писательница.

— О да!

Клиффорд налил Розе еще стакан пунша и улыбнулся ей:

— Роза, ты сегодня выглядишь чрезвычайно аппетитно.

Слово «аппетитно» как-то странно звучало в устах Клиффорда. Возможно, он был пьян. А может, он ненавидел вечеринки, как сказала Джослин, и потому надел маску, играл роль — роль человека, который всем девушкам говорит, что они аппетитны. Возможно, он умело притворялся — Роза подумала, что она тоже скоро станет такой умелой притворщицей. Она продолжала разговаривать с писательницей и мужчиной, который оказался преподавателем английской литературы семнадцатого века. Она хотела прикинуться такой, как они, — бедной и умной, с радикальными взглядами, непочтительной к авторитетам.

В узком коридоре страстно обнимались мужчина и девушка. Когда кому-нибудь нужно было пройти, парочке приходилось разделяться, но они продолжали впиваться друг в друга страстными взглядами и даже ртов не закрывали. При виде этих раскрытых мокрых ртов Роза вздрогнула. Ее никогда в жизни так не обнимали, она никогда не открывала рот вот так. У Патрика французские поцелуи вызывали отвращение.

Маленький лысый человечек по имени Сирил

расположился у двери в туалет и целовал каждую выходящую оттуда девушку со словами: «Рад вас видеть, дорогая, спасибо, что зашли, спасибо, что ушли!»

— Сирил ужасен, — сказала писательница. — Он думает, что обязан вести себя как поэт. Но не может придумать ничего лучше, чем околачиваться вокруг сортира и пугать людей. А сам думает, что ведет себя как бунтарь.

— Он поэт? — спросила Роза.

Лектор по английской литературе ответил:

— Он сказал мне, что сжег все свои стихи.

— Какая пламенная страсть к поэзии! — сказала Роза.

Она была страшно довольна собой, что придумала это, и собеседниками — за то, что они засмеялись.

Преподаватель начал рассуждать о шутках типа «Я буду мартини, сухо сказал он».

— Мне никогда ничего подобного в голову не приходит, — скорбно сказала писательница. — Я слишком забочусь о языке.

Из гостиной доносились громкие голоса. Роза узнала голос Патрика — он взмывал над спором, заглушая всех остальных. Роза открыла рот, чтобы сказать что-нибудь, что угодно, отвлечь

внимание на себя, — она знала, что катастрофа неминуема. Но как раз в это время в коридоре появился высокий кудрявый мужчина, явно в приподнятом настроении. Он бесцеремонно распихал по сторонам целующихся влюбленных и поднял руки, призывая ко всеобщему вниманию.

— Послушайте-ка, — сказал он, обращаясь ко всей кухне, — там в гостиной этот тип, вы не поверите, что он говорит. Слушайте.

В гостиной, видимо, шла речь об индейцах. Сейчас разговором полностью завладел Патрик.

— Их надо забирать, — говорил он. — Забирать у родителей сразу после рождения и помещать в цивилизованную среду. Давать им образование. И тогда они вырастут ничем не хуже белых.

Без сомнения, он считал, что выражает либеральные взгляды. Если собравшиеся сочли их поразительными — попробовали бы они разговорить его на другие темы, такие как казнь супругов Розенберг, или суд над Элджером Хиссом, или необходимость ядерных испытаний.

— Но вы знаете, у них, вообще-то, есть своя собственная культура, — мягко заметила какая-то девушка.

— Их культура кончилась, — ответил Патрик. — Капут.

Он в последнее время полюбил это словечко. Он пользовался расхожими словами, штампами, речевыми оборотами из газетных статей — например, «массовая переоценка» — с таким смаком и такой обезоруживающей важностью, словно сам их придумал или, по крайней мере, лично придавал им вес и блеск, употребляя их в речи.

— Они хотят стать цивилизованными. Во всяком случае, те, что поумнее, — продолжал он.

— Ну, вы понимаете, может быть, они не считают себя особенно нецивилизованными, — произнесла девушка с леденящим утрированным смирением, которого Патрик, впрочем, не заметил.

— Некоторые люди нуждаются в том, чтобы их подтолкнули.

Услышав самодовольный, наставительный тон Патрика, мужчина в кухне воздел руки и восторженно и недоверчиво покачал головой:

— Слушайте, это, наверно, сокредовский политик!

По правде сказать, Патрик в самом деле голосовал за партию «Социальный кредит».

— Так вот, хотите вы того или нет, но этих людей надо за шиворот втащить в двадцатый век,

даже если они будут вопить и брыкаться!

— Вопить и брыкаться? — повторил кто-то.

— Вопить и брыкаться! В двадцатый век! — сказал Патрик, который никогда не упускал возможности повторить свои же слова.

— Какое интересное выражение. И какое человеколюбивое.

Неужели он не понимает, что его загнали в угол и теперь провоцируют, чтобы посмеяться? Но Патрик, загнанный в угол, начинал лишь сильнее метать громы и молнии. Роза не могла больше этого слушать. Она пошла по заднему коридору, заваленному сапогами, шубами, детскими бутылочками, тазиками и игрушками, которые Джослин и Клиффорд выволокли сюда, расчищая место для приема гостей. Вышла в заднюю дверь и встала, пылая и дрожа, в холодной влажной ночи. В груди у нее бурлила мешанина чувств. Роза была унижена и стыдилась Патрика. Но она знала, что больше всего чувствует себя униженной из-за его манеры держаться, а потому начинала подозревать в себе некую испорченность, легкомыслие. Она злилась на других людей, которые были умнее Патрика или, по крайней мере, соображали быстрей, чем он. Ей хотелось думать про них плохо. Что им индейцы, в конце-то концов?

Возможно, столкнувшись лицом к лицу с живым индейцем, Патрик повел бы себя куда достойней их. Это умопостроение было весьма шатким, но Розе хотелось верить, что оно истинно. Патрик — хороший человек. Он придерживается неправильных воззрений, но человек он хороший. Роза верила, что в глубине, в сердцевине Патрик прост, чист, надежен. Но как добраться до этой сердцевины — даже не для того, чтобы показать ее другим, а чтобы заново увериться самой?

Хлопнула задняя дверь дома, и Роза испугалась, что это Джослин пришла ее искать. Джослин была не из тех, кто поверит в сердцевину Патрика. Она считала Патрика жестоковыйным, твердолобым и вообще клоуном.

Но это была не Джослин. Это был Клиффорд. Розе не хотелось с ним говорить. Слегка пьяная, убитая горем, с мокрым от дождя лицом, она поглядела на Клиффорда неприветливо. Но он обнял ее и стал укачивать:

— Ах, Роза. Крошка моя. Ничего. Роза.

Вот так Клиффорд.

Минут пять они целовались, бормотали, дрожали, прижимались и прикасались друг к другу. Потом вернулись в дом, к кучке людей, стоящих у парадной двери. Там был Сирил. Он спросил:

— Эй, ух ты, где это вы двое пропадали?

— Гуляли под дождиком, — хладнокровно ответил Клиффорд — тем же небрежным голосом, вроде бы чуть враждебным, которым он раньше сообщил Розе, что она выглядит чрезвычайно аппетитно.

В гостиной уже перестали дразнить Патрика. Беседа стала расхлябанней, пьянее, безответственней. Джослин раскладывала по тарелкам джамбалайю. Роза пошла в ванную, чтобы высушить волосы и обновить стершуюся от поцелуев помаду на губах. Она преобразилась, стала неуязвимой. Первым, кто попался ей на выходе из ванной, был Патрик. Ей захотелось сделать его счастливым. Ей было уже все равно, что он говорил раньше или что скажет когда-нибудь потом.

— Кажется, мы с вами незнакомы, сударь, — сказала она тоненьким кокетливым голоском, какой иногда использовала, когда они оба были в игривом настроении. — Но вы можете поцеловать мне руку.

— Я сражен! — сердечно воскликнул Патрик и в самом деле сжал ее в объятиях и поцеловал, то есть громко чмокнул в щеку.

Он всегда целовался с чмоканьем. И всегда при этом больно впивался локтем в какую-нибудь

часть Розиного тела.

— Ну как, тебе тут нравится? — спросила Роза.

— Да, неплохо, неплохо.

Конечно, весь остаток вечера Роза играла с Клиффордом, следя за ним и притворяясь, что не следит, и ей казалось, что он делает то же самое. Несколько раз их ничего не выражающие взгляды встречались, и Роза получала ясную, буквально с ног сшибающую весть. Теперь она видела Клиффорда совсем по-другому. Тело, что раньше казалось маленьким и ручным, стало легким, скользким и полным энергии, словно рысь или пума. Он был загорелый — это от горных лыж. Он катался на горе Сеймур. Дорогое хобби, но Джослин не могла ему отказать, потому что у него были проблемы с имиджем. Ему как скрипачу трудно было поддерживать свой мужской имидж в обществе. Так говорила Джослин. Она рассказала Розе все о детстве Клиффорда: артритик-отец, мелочная лавочка в глубинке штата Нью-Йорк, жестокие нравы нищей округи. Детство было тяжелое: неуместный талант, зависть родителей, насмешки одноклассников. Это детство его озлобило, сказала Джослин. Но Роза уже не верила, что Джослин — главный специалист по Клиффорду.

* * *

Вечеринка состоялась в пятницу вечером. На следующее утро, когда Патрик и Анна завтракали, зазвонил телефон.

— Как ты? — спросил Клиффорд.

— Хорошо.

— Я хотел тебе позвонить. Я подумал, вдруг ты решила, что я был пьян или что-нибудь такое. Я не был пьян.

— Нет-нет.

— Я думал про тебя всю ночь. Я и раньше о тебе думал.

— Да.

Кухня сияла ослепительным светом. Розе казалось, что вся сцена у нее перед глазами — Патрик и Анна за столом, кофейник с потеками на боку, банка варенья — сейчас взорвется от счастья, предвкушения и ощущения надвигающейся опасности. У Розы так пересохло во рту, что она едва могла говорить.

— Сегодня прекрасный день, — сказала она. — Мы с Патриком и Анной, может быть, поднимемся на гору.

— Патрик дома?

— Да.

— О боже. Какой я идиот. Я забыл, что никто, кроме меня, по субботам не работает. Я сейчас на репетиции. Ты можешь притвориться, что это не я? Что это Джослин.

— Конечно.

— Я люблю тебя, — сказал Клиффорд и повесил трубку.

— Кто это был? — спросил Патрик.

— Джослин.

— А ей обязательно звонить, когда я дома?

— Она забыла. Клиффорд ушел на репетицию, и она забыла, что другие люди сегодня не работают.

Роза наслаждалась именем Клиффорда у себя на губах. Умение обманывать, скрывать пришло к ней как по волшебству и словно доставляло наслаждение само по себе.

— Я не знала, что они заняты и по субботам тоже, — сказала она, чтобы еще немного поговорить про Клиффорда. — Наверно, у них ужасно длинная рабочая неделя.

— Они работают не больше нормальных людей, просто у них часы распределены по-другому. Судя по его виду, он вообще не способен к работе.

— Говорят, он хорош. Как скрипач.

— А выглядит как полный идиот.

— Тебе так кажется?

— А тебе нет?

— Я, по-моему, вообще никогда о нем особо не задумывалась.

* * *

Джослин позвонила в понедельник и пожаловалась, что не понимает, зачем вообще устраивает вечеринки, — в доме до сих пор бардак по колено.

— А Клиффорд тебе не помогал убирать?

— Шутишь? Я его почти не видела все выходные. В субботу он репетировал, а в воскресенье выступал. Он говорит, что это я устраиваю вечеринки, а значит, разгребаться после них должна тоже я. Это правда. На меня накатывает жажда тусоваться, и тогда я не успокоюсь, пока не соберу у себя толпу. Патрик был очень интересный.

— Очень.

— У него очень эффектная внешность, правда?

— Таких навалом. Просто они тебе не попадались.

— Вот я бедняжка.

Этот разговор ничем не отличался от других разговоров Розы с Джослин. Их беседы, их дружба — все могло идти как прежде. Роза не считала, что

ее связывают какие-либо обязательства перед подругой, мешая частично присвоить Клиффорда. Существовал Клиффорд, которого знала Джослин и образ которого рисовала в разговорах с Розой; и был также Клиффорд, которого знала Роза теперь. Роза считала, что Джослин, возможно, кое в чем ошибается. Например, когда заявляет, что детство озлобило Клиффорда. То, что Джослин называла озлобленностью, казалось Розе другим качеством, одновременно сложнее и проще: это всего лишь потертость жизнью, гибкость, изворотливость, злопамятность, свойственные целому общественному классу. Из которого происходил Клиффорд. И Роза тоже. Джослин вела во многом тепличную жизнь и потому сохранила строгость и невинность. В некоторых отношениях она походила на Патрика.

С этого дня Роза чувствовала, что она и Клиффорд принадлежат к одному сорту людей, а Джослин и Патрик, несмотря на всю свою взаимную непохожесть и неприязнь, — к другому. Джослин и Патрик были целостны и предсказуемы. Они относились к жизни, которой жили, со всей возможной серьезностью. По сравнению с ними Клиффорд и Роза были прохиндеями.

Что сделала бы Джослин, влюбись она в жена-

того мужчину? Еще не успев впервые коснуться его руки, она бы, скорее всего, созвала совещание. Она пригласила бы Клиффорда, и своего возлюбленного, и его жену, и, весьма вероятно, своего психотерапевта. (Несмотря на разрыв с семьей, Джослин считала, что каждый человек, переходя в новую стадию жизни или адаптируясь к ней, обязан пройти курс психотерапии; сама она посещала психотерапевта раз в неделю.) Джослин стала бы рассматривать возможные последствия; она глядела бы фактам в лицо. Она никогда не стала бы урывать наслаждение тайком. У нее не было в жизни случая научиться что-либо делать тайком. Поэтому было очень маловероятно, что она когда-нибудь полюбит другого. Она была не жадная. Патрик тоже был теперь не жаден — во всяком случае, не жаден до любви.

Если любить Патрика значило видеть в нем что-то хорошее, бесхитростное, спрятанное в глубине, то любить Клиффорда означало нечто совершенно иное. Розе не нужно было верить, что Клиффорд — хороший человек, и она совершенно точно знала, что он не бесхитростен. Никакое проявление двуличия, бессердечия не задело бы ее (при условии, что оно направлено на других людей, не на саму Розу). Но во что же она тогда

была влюблена, чего она от него хотела? Она хотела фокусов, сверкающих, как драгоценности, секретов, нежного празднования похоти, фейерверка адюльтера. И все это — после пяти минут под дождем.

* * *

Месяцев через шесть после той вечеринки Роза целую ночь пролежала без сна. Рядом спал Патрик — в их общем доме из камня и кедровых бревен, в пригороде под названием Капилано-Хайтс, на склоне Куропаточьей горы. В следующую ночь рядом с ней будет спать Клиффорд — в Пауэлл-Ривер, где он должен гастролировать со своим оркестром. Розе не верилось, что это случится на самом деле. То есть она всем сердцем верила, что это случится, но такая возможность не укладывалась в известный ей миропорядок.

За все эти месяцы Клиффорд и Роза так и не оказались вместе в постели. Заняться любовью вне постели у них тоже не получилось. Вот как обстояло дело: у Джослин и Клиффорда не было машины. У Розы и Патрика машина была, но Роза не умела водить. Работа Клиффорда была хороша тем, что предоставляла ему свободу в самые разные часы, но как он мог в эти часы повидаться с

Розой? Поехать на автобусе через мост Львиные Ворота, пройти средь бела дня по улице в пригороде, где жила Роза, мимо панорамных окон соседских домов? Но ведь Роза могла бы нанять бебиситтера, придумать визит к зубному врачу, сесть на автобус, идущий в город, встретиться с Клиффордом в ресторане и пойти с ним в гостиницу? Да, но они не знали, в какую гостиницу им можно пойти; они боялись, что, если придут без багажа, им укажут на дверь или сдадут их полиции нравов, а та посадит их в участок и вызовет Патрика и Джослин, чтобы забрали своих супругов. И еще у них не было денег на гостиницу.

Впрочем, Роза все же съездила в Ванкувер под видом визита к дантисту, и они с Клиффордом посидели в кафе — в закутке со стенами, выкрашенными в черный цвет, целуясь и обнимаясь прямо на глазах у всех, причем в это кафе захаживали ученики и коллеги-музыканты Клиффорда. Какой риск! В автобусе по дороге домой Роза глядела вниз, на свое платье, на пятно пота, расцветшее между грудей, до обморока счастливая собственным великолепием и мыслью о том, как она рисковала. В другой раз, очень жарким августовским днем, она ждала в проулке за театром, где репетировал Клиффорд, а потом они

вцепились друг в друга слепо, как в бреду, но им хотелось гораздо большего. Они увидели открытую дверь и скользнули туда. Там стояли штабеля ящиков. Клиффорд и Роза как раз начали искать, где бы примоститься, когда к ним обратился мужской голос:

— Простите, что вы хотели?

Оказалось, что они ввалились на склад в задней части магазина обуви. Голос был ледяной и вселил в них ужас. Полиция нравов. Полицейский участок. Платье Розы было расстегнуто до пояса.

Однажды они встретились в парке, куда Роза часто водила Анну на качели. Роза и Клиффорд сидели на скамье, держась за руки под прикрытием широкой ситцевой юбки Розы. Они сплели пальцы и сжимали их до боли. Внезапно их напугала Анна — она подкралась сзади к скамье и закричала:

— Бу-у-у! Я вас поймала!

Клиффорд смертельно побледнел.

На пути домой Роза сказала Анне:

— Было очень смешно, когда ты прыгнула на нас из-за спинки скамейки. Я думала, ты еще на качелях.

— Я знаю, — ответила Анна.

— Что ты имела в виду, когда сказала, что ты

нас поймала?

— Что я вас поймала, — сказала Анна и захихикала.

Это хихиканье показалось Розе пугающе дерзким и проницательным.

— Хочешь эскимо? Я хочу! — весело произнесла Роза, думая о шантаже и подкупе, о том, как через двадцать лет Анна выудит эту историю из памяти для своего психотерапевта.

Потом у Розы долго подкашивались ноги, ее мутило, и она боялась, что Клиффорд теперь к ней охладеет. Он в самом деле к ней охладел, но лишь ненадолго.

* * *

Как только рассвело, она выбралась из постели и пошла посмотреть, какая погода на улице — летная ли. Небо было чистое, ни следа тумана, из-за которого в это время года часто приходится откладывать рейсы. Никто, кроме Клиффорда, не знал, что Роза едет в Пауэлл-Ривер. Они вдвоем спланировали это шесть недель назад, когда стало известно о гастролях Клиффорда. Патрику Роза сказала, что едет в Викторию, повидаться с университетской подругой. В последние несколько недель Роза притворялась, что общается с этой

подругой. Она обещала вернуться завтра вечером. Завтра была суббота. За Анной присмотрит Патрик.

Роза пошла в столовую, проверить, на месте ли отложенные ею деньги из детского пособия. Деньги лежали на дне серебряного блюда для маффинов. Тринадцать долларов. Роза собиралась прибавить эти деньги к тому, что Патрик дал ей на поездку в Викторию. Патрик охотно давал ей деньги, когда она просила, но ему нужно было знать, сколько и на что именно. Однажды, когда они шли по улице, Роза решила зайти в аптеку; она попросила у Патрика денег, а он сказал — строго, но не строже обычного: «Зачем тебе?» — и Роза расплакалась, потому что собиралась купить спермицидный крем. С тем же успехом она могла рассмеяться. Сейчас она именно рассмеялась бы. С тех пор как Роза влюбилась в Клиффорда, она ни разу не ссорилась с Патриком.

Она еще раз посчитала в уме, сколько денег ей понадобится. Билет на самолет, деньги на автобус из ванкуверского аэропорта, и еще на автобус (а может быть, придется брать такси) до Пауэлл-Ривер, и еще немножко на еду и кофе. За гостиницу заплатит Клиффорд. Мысль об этом наполнила Розу сексуальной негой, податливостью, хотя она

знала, что Джерому нужны новые очки, а Адаму — резиновые сапожки. Роза подумала о безликой, гладкой, широкой кровати, которая уже существует, уже ждет ее и Клиффорда. Давным-давно, еще в молодости (сейчас ей было двадцать три года), она часто думала о безликих кроватях, купленных на время, о запертых дверях, и эти мысли дарили ей роскошь надежды. И теперь она опять о них думала, хотя в период от той эпохи до этой, от ее замужества до начала новой эры все связанное с сексом ее раздражало примерно так же, как современное искусство раздражало Патрика.

Она неслышно обходила дом, планируя сегодняшний день как серию последовательных действий. Принять ванну, нанести масло на тело после ванны, напудриться, положить в сумочку противозачаточный колпачок и спермицидный крем. Не забыть деньги. Тушь для ресниц, крем для лица, губная помада. Роза стояла на верхней из двух ступенек, ведущих вниз, в гостиную. Стены гостиной были цвета зеленого мха, камин белый, а занавески и чехлы на мебели — с шелковистым узором из серых, зеленых и желтых листьев на белом фоне. Каминную полку украшали две вазы, настоящий веджвуд, белые, с ободками из зеленых листьев. Патрик очень

любил эти вазы. Иногда, вернувшись домой с работы, он шел прямо в гостиную и двигал их в ту или другую сторону — ему казалось, что кто-то нарушил их идеальную симметрию.

— Кто-то трогал эти вазы?

— Ну конечно. Как только ты уходишь на работу, я бросаюсь к камину и принимаюсь их возить туда-сюда.

— Я про Анну. Ты, случайно, ей не позволяла их трогать?

Патрику не нравилось, когда она говорила о вазах с недостаточной серьезностью.

Он думал, что она не ценит их дом. Он не знал, но, может быть, догадывался, что́ Роза сказала Джослин, когда та первый раз пришла в гости и они встали там же, где Роза стояла сейчас, глядя сверху вниз на гостиную.

— Вот как сын владельца универмага представляет себе роскошь.

От такого предательства смутилась даже Джослин. К тому же это было не совсем правдой. Патрик мечтал о большей элегантности. Другой неправдой было то, что интерьер соответствовал вкусу только Патрика, а Роза была совершенно ни при чем. В доме было полно вещей, которые Розе когда-то нравились. Она залезала под пото-

лок и полировала мокрой тряпкой, обмакнув ее в соду, стеклянные капли-подвески люстры в столовой. Люстра казалась Розе красивой — капли отбрасывали на стену голубые и лиловые тени. Но люди, которыми Роза восхищалась, не вешали у себя в столовой люстр. У них и столовой-то, как правило, не было. А если была, то ее освещали тонкие белые свечи, торчащие из черного металлического канделябра, сделанного в Скандинавии. Или толстые, тяжелые свечи в винных бутылках, покрытых натеками разноцветного воска. Люди, которыми восхищалась Роза, были непременно бедней ее. Ей это казалось дурной шуткой — сначала она всю жизнь прожила в бедности в местах, где бедностью хвалиться было не принято, а теперь чувствует себя виноватой по совершенно противоположной причине. Например, в разговорах с Джослин, которая умеет вложить столько яда и презрения в слова «зажиточный средний класс».

Но если бы она не знала никаких других людей, если бы не нахваталась всякого от Джослин — разве дом тогда разонравился бы ей? Да. Она в любом случае начала бы к нему охладевать. Когда какие-нибудь гости приходили к ним впервые, Патрик всегда устраивал экскурсию

по дому, показывая люстру, гостевой санузел со встроенными светильниками, расположенный в прихожей, просторные гардеробные и двери с жалюзи, выходящие на внутренний дворик. Патрик так гордился домом, так старался подчеркнуть его мельчайшие преимущества, словно это он, а не Роза вырос в нищете. Розе с самого начала не нравились эти экскурсии; она молча плелась следом за гостями или отпускала уничижительные реплики, которые Патрику не нравились.

Потом она вообще начала оставаться в кухне, но все равно слышала голос Патрика и знала наперед каждое слово, которое он скажет. Она знала, что он подтянет кверху портьеры в столовой и укажет на небольшой фонтан с подсветкой, поставленный им в саду, — фигура Нептуна с фиговым листком. Роза точно знала, что сейчас услышит: «Вот наш ответ на новое модное поветрие — бассейны на участках пригородных домов!»

* * *

Искупавшись, Роза потянулась за бутылочкой, как ей показалось, детского масла. Прозрачная жидкость потекла по грудям и животу, кусаясь и обжигая. Роза посмотрела на этикетку и увидела,

что это вовсе не детское масло, а растворитель лака для ногтей. Она смахнула с себя жидкость, облилась холодной водой и принялась отчаянно тереться полотенцем, думая о загубленной коже, больнице, пересадке, шрамах, заслуженной каре.

В дверь ванной зацарапалась дочь — сонно, но настойчиво. Роза на этот раз заперлась, хотя обычно, принимая ванну, не запиралась. Она открыла дверь.

— Ты спереди вся красная, — сказала Анна, взгромождаясь на унитаз.

Роза нашла детское масло и стала мазаться, чтобы унять раздражение кожи. Она перестаралась, вылила на себя слишком много и посадила жирное пятно на новый лифчик.

* * *

Она думала, что Клиффорд напишет ей с гастролей, но он не написал. Вместо этого он позвонил из Принс-Джорджа и заговорил очень деловито:

— Когда ты попадаешь в Пауэлл-Ривер?

— В четыре.

— Хорошо. Значит, садишься на автобус, или что у них там, и едешь в город. Ты там когда-нибудь бывала?

— Нет.

— Я тоже нет. Я только знаю название нашей гостиницы. Но там тебе ждать нельзя.

— А может, на автовокзале? В любом городе есть автовокзал.

— Хорошо, значит, на автовокзале. Я тебя оттуда заберу — наверно, часов в пять, — и мы тебя поселим в какую-нибудь другую гостиницу. Я очень надеюсь, что в Пауэлл-Ривер их больше одной.

Коллегам по оркестру он собирался сказать, что проведет эту ночь у знакомых, живущих в Пауэлл-Ривер.

— Я могу пойти послушать, как ты играешь, — сказала Роза. — Можно ведь?

— Да. Конечно.

— Я очень незаметно проберусь. Сяду в последних рядах. Переоденусь старушкой. Я очень люблю слушать, как ты играешь.

— О'кей.

— Ты не возражаешь?

— Нет.

— Клиффорд?

— Да?

— Ты по-прежнему хочешь, чтобы я приехала?

— Ох, Роза.

— Я знаю. Просто у тебя голос какой-то такой…

— Я в холле гостиницы. Меня ждут. Они дума-

ют, что я разговариваю с Джослин.

— Хорошо. Я знаю. Я приеду.

— Пауэлл-Ривер. На автовокзале, в пять часов.

Это было совсем не похоже на их обычные телефонные разговоры.

Обычно их слова звучали жалобно и глупо; или они заводили друг друга так, что вообще не могли разговаривать спокойно.

— Мне дышат в затылок.

— Я знаю.

— Давай поговорим о чем-нибудь другом.

— А о чем?

— У вас там туман?

— Да. А у вас тоже туман?

— Да. Ты слышишь туманную сирену?

— Да.

— Правда, ужасный звук?

— Меня он не раздражает. Даже чем-то нравится.

— Джослин его ужасно не любит. Знаешь, как она его называет? Звук вселенской тоски.

Поначалу они вообще избегали упоминать о Патрике и Джослин. Потом говорили о них отрывисто, деловито, словно те — взрослые, старшие, которых надо обхитрить. Теперь же упоминали их почти нежно, с любовью, как родители

— детей.

* * *

Автовокзала в Пауэлл-Ривер не обнаружилось. Роза села в аэропортовский микроавтобус с четырьмя другими пассажирами (все мужчины) и сказала водителю, что ей нужно на автовокзал.

— Вы знаете, где это?

— Нет, — ответила она.

Она уже чувствовала, что все взоры обратились на нее.

— Вы хотели пересесть на автобус?

— Нет.

— Просто вам нужно на автовокзал?

— У меня там назначена встреча.

— Я понятия не имел, что здесь есть автовокзал, — встрял один из пассажиров.

— Здесь его нет, насколько мне известно, — сказал водитель. — Есть автобус на Ванкувер, он уходит утром, а обратно приезжает вечером. Он останавливается у дома престарелых. Тут есть такой приют для престарелых лесорубов. Вот там он и останавливается. Если хотите, я отвезу вас туда. Годится?

Роза сказала, что годится. Потом решила, что надо объяснить.

— Просто мы кое с кем договорились там встретиться, потому что не знали, где еще можно назначить встречу. Никто из нас не знает Пауэлл-Ривер, но мы подумали: уж автовокзал-то в любом городе есть!

Она тут же подумала, что не следовало говорить «кое с кем», надо было сказать «с мужем». Сейчас они спросят, что же она и тот человек, с кем она встречается, здесь делают, если совсем не знают города.

— Я должна встретиться с подругой, она играет в оркестре, который сегодня дает концерт здесь, в городе. Она играет на скрипке.

Все отвели взгляды, словно такая ложь ничего другого и не заслуживала. Роза пыталась вспомнить, есть ли в оркестре скрипачка. А что, если они спросят, как ее зовут?

Водитель высадил ее перед длинным двухэтажным деревянным домом с облупившейся краской на стенах.

— Наверно, вы можете посидеть на веранде, вон там, в конце дома. Во всяком случае, там обычно сидят те, кто ждет автобуса.

На веранде оказался бильярдный стол. За ним никто не играл. Несколько стариков сражались в шашки, другие наблюдали. Роза подумала, не

объяснить ли им, что она тут делает, но решила, что не стоит: к счастью, ее присутствие никого не заинтересовало. Ее и так уже вымотали объяснения, которые пришлось давать на пути сюда.

По часам, висящим на веранде, было десять минут пятого. Роза решила убить время до пяти прогулкой по городу.

Выйдя наружу, она ощутила неприятный запах и забеспокоилась, думая, что он исходит от нее.

Она достала твердый одеколон, купленный в аэропорту Ванкувера — непозволительная трата, — и потерла запястья и шею. Запах не исчез, и наконец Роза поняла, что он исходит от целлюлозных заводов. Бродить по городу было трудно — улицы шли то вверх, то вниз, и во многих местах не было тротуаров. Здесь негде было просто подождать, скоротать время. Розе показалось, что прохожие пялятся на нее, замечая незнакомое лицо. Какие-то мужчины в автомобиле что-то крикнули ей, проезжая мимо. Роза увидела собственное отражение в витрине и поняла, что выглядит как женщина, которая напрашивается на чужие взгляды и вопли из машин. На ней были черные бархатные тореадорские брючки, обтягивающий черный свитер с высоким воротником и бежевый жакет, который она, несмотря на холод-

ный ветер, не надела, а накинула на одно плечо. Она, когда-то предпочитавшая юбки-солнце и мягкие пастельные цвета, девчачьи ангорские свитерки, воротнички с рюшами, теперь одевалась агрессивно, зазывно, сексуально. Новое белье, надетое на ней сейчас, было из черного кружева и розового нейлона. В зале ожидания ванкуверского аэропорта она густо подвела глаза черной тушью, черным контуром и серебристыми тенями; губная помада у нее была почти белая. Все это соответствовало моде тех лет и выглядело не так ужасно, как звучит сейчас, но все равно бросалось в глаза. Роза чувствовала себя в этих нарядах совершенно по-разному, в зависимости от того, кто на нее смотрел. Она не рискнула бы появиться в таком виде перед Патриком и Джослин. Идя к Джослин, она всегда надевала самые мешковатые брюки и свитеры. Но все равно, открывая ей дверь, Джослин неизменно восклицала: «Привет, секс-богиня!» В этих словах звучало дружелюбное презрение. Сама Джослин запустила себя до крайности. Она одевалась исключительно в обноски Клиффорда. Старые штаны, которые не до конца сходились на талии, потому что живот у нее так и не пришел в форму после рождения Адама, и обтерханные белые

рубашки — бывшие концертные сорочки мужа. Похоже, что стремление женщин «сохранить фигуру», использование косметики и вообще любые попытки выглядеть сексуально вызывали у Джослин кислую ухмылку; они даже презрения не заслуживали, все равно что чистка занавесок пылесосом. Джослин говорила, что Клиффорд думает так же. По ее словам, Клиффорда притягивает само отсутствие «женской хитрости», всяческих ловушек; ему нравятся небритые ноги, волосатые подмышки и естественные запахи. Интересно, думала Роза, действительно ли Клиффорд так говорит, и если да, то почему. Из жалости? Из дружеского сочувствия? А может, просто пошутил?

Роза набрела на публичную библиотеку, зашла внутрь и стала разглядывать корешки томов, но не могла сосредоточиться. Ее голову и тело переполнял какой-то зуд — обессиливающий, но не то чтобы неприятный. Без двадцати пять она уже снова ждала на веранде.

В десять минут седьмого она все еще ждала. Она пересчитала деньги в кошельке. Один доллар шестьдесят три цента. Она не могла пойти в гостиницу. Вряд ли ей разрешат остаться на веранде на всю ночь. Ей ничего не оставалось

делать, кроме как молиться о том, чтобы Клифорд все-таки приехал. Она уже не верила в его приезд. Расписание гастролей изменилось; Клифорда вызвали домой из-за болезни кого-то из детей; он сломал запястье и уже не мог играть на скрипке; Пауэлл-Ривер — вообще не настоящий город, а зловонный мираж, ловушка, в которую заманивают путешествующих грешников, чтобы их наказать. Розу это не слишком удивило. Она сделала прыжок, который ей делать не следовало, и приземлилась вот сюда.

Прежде чем старики ушли на ужин, она спросила их, не знают ли они про концерт, который должен был состояться сегодня вечером в школьном актовом зале. Старики неохотно ответили, что нет.

— Сроду не слыхамши ни про какие там концерты.

Она сказала, что ее муж играет в оркестре, который приехал сюда на гастроли из Ванкувера, и что она прилетела его встретить. Она должна была встретить его здесь.

Здесь?

— Может, он заблудился, — сказал один старик, и Розе почудилось, что он говорит со злобой и видит ее насквозь. — Может, заблудился ваш

муж, а? Мужику ничего не стоит заблудиться!

Уже почти стемнело. Был октябрь, а Пауэлл-Ривер гораздо северней Ванкувера. Роза пыталась сообразить, что делать. Единственное, что пришло ей в голову, — притворно потерять сознание, а потом симулировать амнезию. Поверит ли Патрик? Придется сказать, что она понятия не имеет, как ее занесло в Пауэлл-Ривер. Что она не помнит ни слова из того, что говорила в микроавтобусе, ничего не знает ни про какой оркестр. Ей придется убедить в этом полицию и врачей, о ней напишут в газетах. О боже, где Клиффорд, почему он ее оставил — может, попал в аварию по дороге? Она подумала, что следует уничтожить клочок бумаги, который лежит у нее в сумочке, — на нем записаны инструкции Клиффорда. Наверно, от колпачка тоже лучше избавиться.

Она рылась в сумочке, когда снаружи остановился микроавтобус. Сначала Роза решила, что это полиция: наверно, старики позвонили и сообщили, что здесь ошивается подозрительная личность.

Из микроавтобуса выскочил Клиффорд и взбежал по ступенькам веранды. Розе понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что это именно он.

* * *

Они съели по гамбургеру и выпили пива в ресторане при гостинице — другой гостинице, не той, где остановились музыканты из оркестра. У Розы так тряслись руки, что она разлила пиво. Клиффорд сказал, что им устроили неожиданную репетицию. Потом он с полчаса искал автовокзал.

— Наверно, это была не слишком удачная идея — встречаться на автовокзале.

Рука Розы лежала на столе. Клиффорд вытер с нее пиво салфеткой и накрыл Розину ладонь своей. Потом Роза часто вспоминала этот жест.

— Давай-ка мы тебя поселим в эту гостиницу.

— А разве мы не вдвоем сюда поселимся?

— Лучше, если ты будешь одна.

— С первой секунды, как я сюда попала, мне было ужасно странно, — сказала Роза. — Здесь все такое зловещее. Мне казалось, что все знают.

Она принялась рассказывать ему — надеясь, что получается забавно, — о водителе микроавтобуса, о других пассажирах, о стариках в доме для престарелых лесорубов.

— Это было такое облегчение, когда ты наконец появился. Такое колоссальное облегчение. Поэто-

му меня трясет.

Она рассказала о своем плане — симулировать амнезию, а также выбросить колпачок. Клиффорд засмеялся, но, ей показалось, как-то безрадостно. И еще ей показалось, что, когда она заговорила про колпачок, он поджал губы — с упреком или отвращением.

— Но теперь все хорошо, — торопливо сказала она.

Они впервые вели такой длинный разговор лицом к лицу.

— Это просто у тебя было чувство вины, — сказал он. — Вполне естественное.

Он погладил ее по руке. Она привычным нежным движением попыталась потереть пальцем его запястье там, где бился пульс. Он убрал руку.

* * *

Через полчаса Роза произнесла:

— Ничего, если я все-таки пойду на твой концерт?

— А ты еще хочешь?

— А чем мне тут еще заняться?

Говоря это, она пожала плечами. Веки у нее были опущены, губы надутые, капризные. Она кому-то подражала — возможно, Барбаре Стэн-

вик, попавшей в аналогичные обстоятельства. Подражала она, конечно, непреднамеренно. Она пыталась выглядеть соблазнительной, холодной и притягательной, чтобы он передумал.

— Дело в том, что мне надо вернуть микроавтобус. Мне надо забрать людей из нашего оркестра.

— Я могу пойти пешком. Скажи мне, где это.

— К сожалению, отсюда все время в гору.

— Я не развалюсь.

— Роза. Поверь мне, послушай меня. Так будет гораздо лучше.

— Ну, если ты так считаешь.

У нее не хватило сил еще раз пожать плечами. Она все еще думала, что, может быть, есть какой-то способ вернуть все назад и начать снова. Начать снова; исправить все, что она сделала или сказала не так; отменить все ошибки. Она уже допустила оплошность: спросила его, что она сказала или сделала не так, и он ответил, что ничего. Ничего. Она тут ни при чем. Просто он не был дома месяц, и это заставило его по-другому посмотреть на все. Джослин. Дети. Ущерб.

— Это всего лишь баловство, — сказал он.

Он коротко подстригся — Роза еще никогда не видела его с такими короткими волосами. Его загар побледнел. Да, он и впрямь как будто сбро-

сил кожу, и это старая кожа, а не он сам когда-то вожделела Розу. Он снова стал бледным, раздражительным, но заботливым молодым отцом, который когда-то в присутствии Розы навещал жену в родильном доме.

— Что?

— То, что мы делаем. Это не что-то большое, важное, неизбежное. Обычное баловство.

— Ты же звонил мне из Принс-Джорджа. — Барбара Стэнвик испарилась, и Роза сама слышала у себя в голосе ноющие нотки.

— Я знаю, что я тебе звонил. — Он говорил как муж, которого пилит жена.

— Ты и тогда уже это решил?

— Да и нет. Мы ведь все запланировали. Разве не хуже было бы, если бы я сказал тебе по телефону?

— Что значит «баловство»?

— Ох, Роза.

— Что ты хочешь сказать?

— Ты знаешь, что я хочу сказать. Если мы доведем дело до конца, ты думаешь, кому-нибудь от этого станет лучше? А, Роза? Честно?

— Нам, — сказала Роза. — Нам станет лучше.

— Нет, не станет. Выйдет ужасная каша.

— Только один раз.

— Нет.

— Ты же тогда сказал, только один раз. Чтобы у нас была память вместо мечты.

— Боже, сколько всякой херни я тебе наговорил.

Он говорил когда-то, что у нее язык как маленькая теплокровная змейка, хорошенькая змейка, а соски как ягоды. Сейчас он не обрадуется, если ему об этом напомнить.

Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила».

Чайковский. Серенада для струнного оркестра.

Бетховен. Шестая симфония, «Пасторальная», часть I.

Сметана. Симфоническая поэма «Влтава».

Россини. Увертюра к «Вильгельму Теллю».

Еще много лет при звуках любого из этих музыкальных сочинений Розу охватывал жгучий стыд — словно на нее обрушивалась целая стена и душила грудами щебня.

* * *

Прямо перед тем, как Клиффорд должен был уехать на гастроли, Джослин позвонила Розе и сказала, что ее бебиситтерша не смогла прийти. Джослин нужно было на прием к психотерапевту. Роза предложила приехать и посидеть с Адамом и Джеромом. Ей и раньше доводилось это делать. Она взяла с собой Анну. Ехать надо было долго, тремя автобусами, с пересадками.

Дом Джослин отапливался керосиновой печкой на кухне и огромным, сложенным из валунов камином в маленькой гостиной. Печка была вся заляпана; из камина сыпались апельсиновые корки, кофейная гуща, обугленные куски поленьев и пепел. Подвала в доме не было, и сушильной машины для белья тоже. Погода стояла дождливая, и все сушилки — натянутые под потолком и раскладные, стоящие на полу, — были увешаны сырыми серыми простынями и подгузниками, заскорузлыми полотенцами. Стиральной машины в доме тоже не было. Джослин все это стирала в ванне.

— У них нет стиральной и сушильной машины, зато она ходит к психотерапевту, — сказал Патрик, которому предательница Роза порой

рассказывала то, что, как она знала, ему будет приятно услышать.

— Да она с ума сошла, — сказала Роза.

Это рассмешило Патрика.

Но Патрику не нравилось, что она сидит с детьми Джослин.

— Ты как будто на побегушках у нее, — сказал он. — Удивительно, что ты еще полы ей не моешь.

Правду сказать, она их уже мыла.

Пока Джослин была дома, беспорядок выглядел целенаправленно и впечатляюще. Стоило ей уйти, и он становился невыносимым. Роза принималась за работу — брала нож и скребла древние напластования засохших детских кашек на кухонных стульях, драила кофейник, протирала пол. Часть времени она оставляла на изыскания. Она заходила в спальню — приходилось остерегаться Джерома, развитого не по годам и вредного мальчика, — и смотрела на белье и носки Клиффорда, скомканные и засунутые в ящики вперемешку со старыми лифчиками Джослин для кормления грудью и рваными поясами для чулок. Она посмотрела, не лежит ли на проигрывателе пластинка: вдруг это что-то такое, что наводит Клиффорда на мысли о ней, Розе.

Телеман. Нет, вряд ли. Все равно она включила пластинку, чтобы услышать то, что слушал Клиффорд. Она пила кофе из грязной чашки, надеясь, что за завтраком из нее пил он. Она прикрыла крышкой запеканку из испанского риса, которой он ужинал накануне. Она искала следы его присутствия (он не пользовался электробритвой, а брился по старинке, с мыльным раствором в деревянной чашке), но верила, что его жизнь в этом доме, в доме Джослин, лишь притворство, лишь ожидание, как ее собственная жизнь в доме Патрика.

Когда Джослин возвращалась домой, Роза чувствовала, что надо бы извиниться за сделанную уборку, и Джослин — ей не терпелось поговорить о своей схватке с психотерапевтом, в которой она видела сходство с собственной матерью, — соглашалась, что эта мания уборки, безусловно, проявление малодушия и что Розе лучше бы самой походить на терапию, если она хочет от этого избавиться.

Джослин шутила; но, возвращаясь с капризничающей Анной на трех автобусах домой, где еще ничего не было готово на ужин для Патрика, Роза пыталась понять, почему она всегда оказывается виноватой: ее не одобряют ни соседи — за

наплевательское отношение к домашней работе, ни Джослин — за нетерпимость к естественному хаосу и побочным продуктам жизни. Чтобы примирить себя со всем этим, Роза стала думать о любви. Ее любят; не супружеской любовью, из чувства долга, но безумной, преступной; а соседок и Джослин так не любит никто. Эту мысль Роза использовала, чтобы примирить себя с чем угодно: например, с той минутой, когда Патрик поворачивается к ней в постели, снисходительно цокнув языком, — так он давал понять, что на время отпускает ей все ее грехи и сейчас они будут заниматься любовью.

* * *

Все разумные, порядочные доводы Клиффорда никак не подействовали на Розу. Она видела, что он ее предал. Она никогда не просила у него разумности и порядочности. Она смотрела на него, сидя в актовом зале средней школы в Пауэлл-Ривер. Смотрела, как он играет на скрипке — сосредоточенно, с тем вниманием, какое он когда-то направлял на нее. Роза не понимала, как она будет без этого жить.

Среди ночи она позвонила ему, из своей гостиницы — в его.

— Пожалуйста, поговори со мной.

Секундное молчание.

— Ничего, — произнес Клиффорд. — Ничего, Джосс.

Должно быть, у него номер на двоих с коллегой и тот проснулся от звонка. Вот Клиффорд и притворялся, что говорит с женой. А может, и впрямь спросонья принял ее за Джослин.

— Клиффорд, это я.

— Ничего. Ничего, не расстраивайся. Ложись спать.

Он повесил трубку.

* * *

Теперь Джослин и Клиффорд живут в Торонто. Они уже больше не бедные. Клиффорд добился успеха. Его имя мелькает на конвертах пластинок и звучит по радио. Его лицо — а чаще его руки, когда он трудится над своей скрипкой, — показывают по телевизору. Джослин после многократных диет похудела, на голове у нее теперь стрижка и укладка; волосы разделены на прямой пробор и расходятся от лица двумя дугами, словно два белых крыла поднимаются от висков.

Джослин и Клиффорд живут в большом кир-

пичном доме на краю живописного оврага. На заднем дворе у них установлены кормушки для птиц. Еще у них в доме есть сауна. Клиффорд подолгу там просиживает. Он надеется, что это спасет его от артрита, которым страдал его отец. Артрита он боится больше всего на свете.

Роза раньше иногда их навещала. Она жила в глубинке, одна. Она преподавала в местном колледже, и ей удобно было во время приездов в Торонто останавливаться у знакомых. Джослин и Клиффорд, кажется, радовались ее приездам. Они говорили, что она их самый старый друг.

В один из приездов Розы Джослин рассказала историю про Адама. Адам занимал квартиру в подвале родительского дома. Джером жил со своей девушкой отдельно, в даунтауне. Адам водил своих девушек сюда.

— Я читала в кабинете, — рассказывала Джослин. — А Клиффорда не было дома. И я услышала, как девушка там, внизу, у Адама, твердит: «Нет, нет!» Все звуки из его квартиры отчетливо слышны в кабинете. Мы его об этом и раньше предупреждали, думали, что он засмущается…

— Я лично не ждал, что он засмущается, — заметил Клиффорд.

— …но он только предложил нам ставить в это

время пластинки. И вот я все слышала, как эта бедная незнакомая девушка пищит и протестует, и не знала, что мне делать. Я думала, что положение незнакомое, прецедентов нет; кто скажет, обязана ли ты остановить своего сына, если он насилует какую-то девушку, то есть если он в самом деле ее насилует, прямо у тебя под носом (или, во всяком случае, под ногами)? В конце концов я пошла вниз и стала вытаскивать все наши лыжи из чулана, у которого общая стенка со спальней Адама. И я изо всех сил грохотала этими лыжами, думая, что, если меня спросят, я скажу, что собираюсь их полировать. Был июль. Адам мне потом ничего не сказал. Я мечтаю, чтобы он от нас съехал.

Роза рассказала им, сколько теперь денег у Патрика, и о том, что он женился на рассудительной женщине еще богаче его и она устроила совершенно ослепительную гостиную с зеркалами, бледным бархатом и проволочной скульптурой, похожей на взорванную птичью клетку. Патрик уже перестал ненавидеть современное искусство.

— Конечно, там теперь все по-другому, — продолжала Роза, обращаясь к Джослин. — Дом совершенно изменился. Интересно, что она сде-

лала с теми веджвудскими вазами.

— Может быть, у нее стиральная комната обставлена в стиле китч. И она держит в одной вазе стиральный порошок, а в другой отбеливатель.

— И они стоят на полке абсолютно симметрично.

Но Розу кольнуло стародавнее чувство вины.

— Все равно Патрик мне нравится.

— Почему? — спросила Джослин.

— Он гораздо приятней большинства людей.

— Чепуха, — заявила Джослин. — И я уверена, что уж он-то к тебе не питает нежных чувств.

— Это точно, — согласилась Роза.

И стала рассказывать о том, как ехала в Торонто на автобусе. В этот раз она приехала не на машине, потому что в машине сломалось сразу много всего и у Розы не было денег на ремонт.

— Напротив меня сидел мужчина, и он все время рассказывал мне, как раньше водил большие грузовики, трейлеры.

Она изобразила простонародный говор:

— Там, у Мэрыке, у них такие специальные дороги, большаки, туда только грузовики и пускают. Их на этих дорогах и обихаживают, с одного конца Мэрыки до другого, так что обычные люди их ваще никада не видят. Здоровенные! Кабина

с пол этого автобуса, и там сидят сразу водитель и помощник, а другие водитель с помощником в это время спят. Там же тебе и сортир, и кухня, и кровати, и всё сразу. Они дают восемьдесят-девяносто миль в час, потому как на этих большаках можно как хошь ехать, никто слова не скажет.

— Ты начинаешь чудить, — сказал Клиффорд. — Оттого что живешь в глуши.

— К черту грузовики, — сказала Джослин. — К черту старинную мифологию. Клиффорд опять хочет от меня уйти.

Они уселись с напитками и принялись обсуждать, что делать Клиффорду и Джослин. Такой разговор они вели уже не первый раз. Чего на самом деле хочет Клиффорд? Ему действительно невыносимо жить с Джослин — или просто захотелось луну с неба? Может, у него стадия такая, кризис среднего возраста?

— Только не надо банальностей, — сказал Клиффорд Розе. Это она заговорила про кризис среднего возраста. — Если это стадия, то она у меня наступила в двадцать пять лет и до сих пор не прошла. Я хотел унести ноги из этого брака с тех самых пор, как в него вступил.

— Это что-то новенькое в его репертуаре, — заметила Джослин. Она вышла на кухню за сыром

и виноградом и прокричала оттуда: — То, что он взял и сказал это вслух!

Роза старалась не смотреть на Клиффорда — не потому, что между ними была какая-то тайна, а потому, что ей казалось невежливо по отношению к Джослин смотреть ее мужу в глаза в ее отсутствие.

— Так вот, — сказала Джослин, вернувшись с блюдом сыров и винограда в одной руке и бутылкой джина в другой, — новенькое сейчас то, что у Клиффорда наступило полное раскрытие. Раньше он только бурчал и прел в собственном соку и из него лезла всякая пена, ничего общего с реальной проблемой не имеющая. А теперь он выкладывает все как есть. Великая сияющая истина. Все залил ослепительный свет.

Роза никак не могла понять, что значит этот тон. Может, она отупела от жизни в глубинке? Что такое слова Джослин — пародия, сарказм? Нет. Она совершенно серьезна.

— А потом я вдруг беру и прокалываю воздушный шарик истины, — ухмыльнулся Клиффорд. Он пил пиво прямо из бутылки. Он считал, что пиво для него не так вредно, как джин. — Да, это правда, что я хотел сбежать с самого первого дня. Но правда и то, что я хотел вступить в этот

брак и в нем остаться. Я хотел быть женатым на тебе и до сих пор хочу быть женатым на тебе, и жить с тобой мне было невыносимо и до сих пор невыносимо. Это статическое противоречие.

— Очень мучительно, должно быть, — сказала Роза.

— Я этого не сказал. Я просто хотел объяснить, что это никакой не кризис среднего возраста.

— Ну, может быть, это чрезмерное упрощение. Тем не менее мы слышим только про Клиффорда, — сказала она, приняв на время разумный, практичный, «простонародный» тон. — Чего на самом деле хочет Клиффорд? Что ему нужно? Может, ему нужна отдельная студия, может, ему нужно отдохнуть, может, съездить в Европу совсем одному? Почему, собственно, ты думаешь, что Джослин только и думает что о твоем благе? Она тебе не мамочка. И ты, Джослин, тоже хороша. Надо было сказать ему, чтобы терпел или проваливал. Кого волнует, чего он на самом деле хочет? Пускай терпит или проваливает. Вот так ему и скажи: «Терпи или проваливай».

Последние слова она произнесла с наигранной грубостью, обращаясь к Клиффорду.

— Простите меня, что я не проявляю достаточной деликатности. Или что я с вами откровенно

груба.

Она ничуть не рисковала, грубя им, и сама это знала. Рисковала бы она, если бы говорила с ними вежливо и равнодушно. Ее же теперешний тон доказывал, что она — истинный друг Джослин и Клиффорда и относится к их проблемам серьезно. Так оно и было… в определенной степени.

— Она права. Терпи или проваливай, жопа ты эдакая. — Последние слова Джослин произнесла в экспериментальных целях.

Много лет назад, когда Джослин звонила Розе по телефону, чтобы читать ей «Вой», она не могла, несмотря на всю свою обычную откровенность, произнести слово «жопа». Она пыталась себя заставить, потом сказала:

— Я понимаю, это очень глупо, но я не могу. Я буду говорить «же». Ты же понимаешь, что́ я имею в виду, когда говорю «же»?

— Но она сказала, что это все ты виновата, — сказал Клиффорд. — Ты хочешь быть мамочкой. Ты хочешь быть взрослой. Долготерпеливой страдалицей.

— Херня, — ответила Джослин. — Впрочем, да. Может, и хочу.

— Я уверен, в школе ты вечно прилеплялась к ребятам с проблемами, — сказал Клиффорд,

нежно ухмыляясь. — К бедным, с прыщами, или ужасно одетым, или с дефектами речи. Готов спорить, что ты их просто душила своей дружбой.

Джослин схватила сырный нож и погрозила ему:

— Смотри у меня! У тебя-то нет ни прыщей, ни дефектов речи. Ты тошнотворно красив. И талантлив. И везуч.

— Я испытываю почти непреодолимые трудности адаптации к роли взрослого мужчины, — чопорно сказал Клиффорд. — Так мой тер говорит.

— Не верю. Психотерапевты никогда не говорят слов вроде «почти непреодолимый». И такого жаргона не используют. И не выносят непререкаемых суждений. Я тебе не верю, Клиффорд.

— Хорошо, признаюсь, я на самом деле не к теру хожу. Я хожу смотреть порнушку в кинотеатры на том конце Янг-стрит.

Клиффорд ушел посидеть в сауне.

Роза смотрела, как он выходит из комнаты. Талия и бедра у него были узкие, как у двенадцатилетнего мальчишки. Седые волосы подстрижены очень коротким ежиком, так что видна форма черепа. Это что, музыканты теперь носят такие прически — в эпоху, когда политики и бухгалтеры отращивают косматую волосню и

бороды? Или это личный закидон Клиффорда? Его загар выглядел как густо намазанный грим, хотя, скорее всего, был настоящим. Вообще в нем чудилось что-то театральное, чересчур туго натянутое, дразнящее, украшенное блестками. Что-то непристойное было в его худобе и милой, но жесткой улыбке.

— Он не болеет? — спросила Роза. — Он ужасно худой.

— Он специально бережет фигуру. Питается только йогуртом и черным хлебом.

— Вы никогда не разведетесь, — сказала Роза. — У вас слишком красивый дом.

Она вытянулась на петельном деревенском коврике. В гостиной были белые стены, толстые белые шторы, старая сосновая мебель, большие яркие картины и петельные деревенские коврики. На низком круглом столе стояла ваза с гладкой галькой, чтобы брать окатанные камешки, вертеть в руках, пропускать сквозь пальцы. Галька с ванкуверских пляжей — Сэнди-Ков, Инглиш-Бэй, Китсилано, Эмблсайд, Дандерейв. Это Джером и Адам ее собрали, давным-давно.

* * *

Джослин и Клиффорд уехали из Британской Колумбии вскоре после того, как Клиффорд вернулся с гастролей. Они переехали в Монреаль, потом в Галифакс, потом в Торонто. Они как будто совсем забыли Ванкувер. Однажды они попытались вспомнить название улицы, на которой тогда жили, и Розе пришлось им подсказать. В Капилано-Хайтс Роза проводила много времени за воспоминаниями о тех местах Онтарио, где когда-то жила, — храня в каком-то смысле верность тому, более раннему пейзажу. Теперь, живя в Онтарио, она прилагала такие же усилия, чтобы не забыть Ванкувер. Она силилась припомнить, где именно ждала автобус компании «Пасифик», идущий из Северного Ванкувера в Западный. Она представляла себе, как садится в старый зеленый автобус — скажем, в час пополудни. Весенним днем. Она едет сидеть с детьми Джослин. С ней Анна, в ярко-желтом дождевике и такой же шляпе. Идет холодный дождь. Длинная болотистая полоса земли на въезде в Западный Ванкувер. Где теперь моллы и жилые высотки. Роза видела мысленным взором улицы, дома, старый супермаркет «Сэйфвэй», отель «Сент-Мэйвз»,

смыкающиеся густые леса и место, где надо было слезать с автобуса, — остановка у магазинчика. Вывеска с рекламой сигарет «Черный кот». Кедровая сырость на пути через лес к дому Джослин. Пустынность раннего послеобеденного часа. Все прилегли отдохнуть. Молодые женщины с чашкой кофе в руке выглядывают в заплаканные дождем окна. Супруги-пенсионеры выгуливают собак. Ноги неслышно ступают по прелым листьям. Крокусы, ранние нарциссы — цветы лезут из холодных луковиц. Полнейшая инаковость воздуха рядом с морем, неизбежная сырость, с ветвей капает, в лесу тишина. Анна тянет Розу за руку — вон впереди коричневый деревянный домик Джослин. Чем он ближе, тем сильней давит на плечи сложный груз сомнений, предчувствий, осложнений.

Другие вещи она вспоминала не так охотно.

Она рыдала всю дорогу от Пауэлл-Ривер, в самолете, прикрывшись темными очками. Она рыдала, сидя в зале ожидания ванкуверского аэропорта. Она не могла перестать рыдать и отправиться домой к Патрику. К ней подсел полицейский в штатском, распахнул полу, показал служебный значок, спросил, не нужна ли ей помощь. Наверно, его кто-нибудь вызвал. В

ужасе, что привлекает внимание, Роза сбежала в дамский туалет. Она не подумала утешиться выпивкой, ей не пришло в голову отправиться в бар. Она тогда вообще не ходила в бары. Успокоительных таблеток она тоже принимать не стала, у нее таких не было, и она не знала об их существовании. Может, тогда их еще и не существовало.

Страдание. Что оно такое? Оно — напрасная трата сил, оно не делало ей чести. Бесчестное горе. Раздавленная в лепешку гордость, осмеянные фантазии. Словно Роза взяла молоток и нарочно расплющила себе большой палец на ноге. Так она иногда думает. В другое время она думает, что это было необходимо — то было начало крушений и перемен, в результате которых она сидит теперь здесь, а не у Патрика дома. Как всегда — жизнь устраивает громадный переполох ради крохотного результата.

Когда она сказала Патрику, он утратил дар речи. На этот случай у него не нашлось готовой лекции. Он долго молчал и только ходил за ней хвостом по дому, пока она оправдывалась и жаловалась. Как будто не хотел, чтобы она замолкала, хотя и не мог поверить ее словам, — потому что, если бы она остановилась, все стало бы гораздо хуже.

Она не сказала ему всей правды. Она сказала,

что у нее «был роман» с Клиффордом, и эти слова принесли ей слабое, какое-то подержанное утешение, тут же проколотое, хоть и не развеянное окончательно взглядом Патрика и его молчанием. Казалось нечестным и не ко времени, что он так откровенно обнажает лицо, демонстрирует неуместную, неподъемную глыбу горя.

Тут зазвонил телефон, и Роза решила, что это Клиффорд. Что он передумал. Это был не Клиффорд, а человек, с которым она познакомилась на вечеринке у Джослин. Он сказал, что ставит пьесу на радио и ему нужна актриса на роль деревенской девушки. Что он вспомнил про деревенский выговор Розы.

Не Клиффорд.

Обо всем этом она старается не думать. Она предпочитает смотреть мысленным взором через окно в металлической раме на каплющие кедры и кусты малины, плодящуюся смертную зелень дождевого леса и мелочи утраченной навсегда повседневной жизни. Желтый дождевик Анны. Дым из загаженного камина Джослин.

* * *

— Хочешь посмотреть, какого я мусора накупила? — спросила Джослин и потащила Розу

наверх.

Она показала ей вышитую юбку и темно-красную атласную блузку. Шелковую пижаму ярко-желтого цвета, как нарцисс. Длинное бесформенное платье из грубой ткани — ирландское.

— Я трачу на это целое состояние. То, что когда-то было для меня целым состоянием. Я так долго к этому шла. Мы оба так долго к этому шли — к тому, чтобы просто тратить деньги. Мы не могли себя заставить. Мы презирали людей, у которых цветные телевизоры. А знаешь, что я тебе скажу? Цветной телевизор — это вещь! Теперь мы сидим и спрашиваем друг друга: что нам еще нужно? Может, маленькая печка, тостер-гриль, для дачи? Может, мне нужен фен для волос? Другие люди уже сто лет всем этим пользуются, но мы-то всегда считали, что мы выше их! Мы говорим друг другу: «Ты знаешь, что мы такое? Мы — потребители! И тем горды!» И я даже не о картинах, книгах и пластинках. С этим у нас никогда проблем не было. Цветной телевизор! Фены! Вафельницы!

— Птичьи клетки с дистанционным управлением! — бодро вскричала Роза.

— Вот именно.

— Полотенца с подогревом!

— Полотенцесушилки с подогревом, глупая. Это замечательная вещь.

— Электрические ножи для разделки мяса, электрические зубные щетки, электрические зубочистки!

— Кое-что из этого на самом деле очень полезные вещи. Честно.

* * *

Другой раз, когда Роза приехала, Джослин и Клиффорд устраивали прием. Когда все гости ушли домой, Джослин, Клиффорд и Роза уселись на пол в гостиной — сильно под хмельком и в прекрасном расположении духа. Прием прошел очень удачно. Роза ощущала далекую задумчивую похоть — скорее, тень похоти. Джослин сказала, что ей не хочется спать.

— А чем нам заняться? — спросила Роза. — Пить уже больше не надо.

— Можно заняться любовью, — сказал Клиффорд.

— Ты серьезно? — хором спросили Джослин и Роза. И тут же сцепили мизинцы и сказали тоже хором: «Дым уходит в трубу», чтобы загадать желание.

Вслед за этим Клиффорд раздел их. Они не дро-

жали — перед камином было тепло. Клиффорд был очень внимателен и все время переключался с одной на другую. Розе было любопытно, ей не верилось в происходящее, она слегка возбудилась, но в то же время на каком-то уровне оставалась инертной, изумленной и печальной. Клиффорд уделил предварительное внимание им обеим, но соединился в конце концов только с Розой — все произошло очень быстро, на петельном деревенском коврике. Джослин, кажется, все это время витала над ними, издавая утешительные и ободряющие звуки.

Назавтра Роза встала рано, когда Джослин с Клиффордом еще не проснулись. Ей нужно было ехать на метро в даунтаун. Она заметила, что смотрит на мужчин мечтательным голодным взглядом, с холодной, болезненной жаждой, от которой много лет была свободна. Она очень сильно разозлилась. На Клиффорда и Джослин. Она чувствовала, что они обвели ее вокруг пальца, обманули; показали ей зияющую нужду, о которой она иначе не узнала бы. Роза решила больше с ними не видеться, а вместо этого написать письмо, в котором указать на их эгоизм, тупость и моральную деградацию. Но пока у нее в голове составился окончательный, устроивший

ее вариант письма, она уже вернулась к себе в глубинку и успокоилась. Она решила не писать. Чуть позже она решила остаться друзьями с Клиффордом и Джослин, потому что на том этапе жизни ей время от времени нужны были такие друзья.

Провидение

Розе приснилась Анна. Это было уже после того, как Роза уехала, оставив дочь. Розе снилось, что Анна идет ей навстречу, вверх по холму Гонзалес. Она знала, что Анна идет из школы. Она подошла к дочери и заговорила с ней, но та молча прошла мимо. И неудивительно. Она вся была покрыта глиной со вмазанными в нее листьями или ветками, так что все вместе выглядело как увядшие гирлянды. Украшение, умирание. И эта глина или грязь была не сухая, а еще капала с Анны, так что вышла грубая и печальная фигура, вроде неуклюже слепленного идола с тяжелой головой.

— Ты хочешь поехать со мной или остаться с папой? — спрашивала Роза перед отъездом, но Анна отказывалась отвечать и говорила только: «Я не хочу, чтобы ты уезжала». Роза нашла работу на радиостанции в маленьком городке в Кутенейских горах.

Анна лежала в большой кровати с четырьмя столбиками, где раньше спали Патрик и Роза. Где Патрик теперь спал один. Роза перебралась на диван в кабинете.

Анна засыпала в этой кровати, и тогда Патрик относил ее в детскую. Ни Патрик, ни Роза не знали, когда это превратилось из случайности в необходимость. Все в доме шло наперекосяк. Роза паковала чемодан. Она делала это днем, когда Патрика и Анны не было. Вечера она и Патрик проводили в разных частях дома. Однажды она вошла в столовую и увидела, что Патрик заново подклеивает скотчем фотографии в семейном альбоме. Она разозлилась на него. На одной фотографии она сама качала Анну на качелях. На другой она стояла в бикини и ухмылялась. Правдивые неправды.

— Тогда было то же самое, что сейчас, — сказала она. — Если честно.

Она имела в виду, что всегда в глубине души собиралась сделать то, что делала сейчас. Даже в день свадьбы она знала, что это время придет, а если не придет, то ей лучше сразу умереть. Предательство совершала она.

— Я знаю, — сердито сказал Патрик.

Но, конечно, тогда было не то же самое, что сейчас, — тогда Роза еще не начала приближать разрыв и даже по временам забывала, что он неизбежен. Даже сказать, что она планировала разрыв и начала его приближать, было бы невер-

но, поскольку она ничего не делала намеренно, осмысленно. Все произошло максимально болезненным и разрушительным способом: они тянули резину, примирялись, пилили друг друга, а сейчас Розе казалось, что она идет по подвесному мосту и ей нельзя сводить глаз с дощечек прямо перед собой, нельзя смотреть по сторонам или вниз.

— Так чего ты хочешь? — тихо спросила она у Анны.

Та вместо ответа позвала Патрика. Когда он пришел, Анна села на кровать, потянула обоих родителей к себе и оказалась между ними. Она вцепилась в них и забилась в рыданиях. Она по временам яростно драматизировала — не девочка, а обнаженный клинок.

— Вам уже не обязательно… — сказала она. — Вы же больше не ссоритесь.

Патрик посмотрел на Розу. Обвинения в его взгляде не было. Много лет он смотрел на нее обвиняюще — даже в те моменты, когда они занимались любовью, — но теперь ему было так больно за Анну, что все обвинения стерлись. Розе пришлось встать и выйти, оставив Патрика утешать дочь. Она боялась, что ее охватит огромная обманчивая волна теплого чувства к мужу.

Это правда, они уже больше не ссорились. У Розы были шрамы на руках, на теле — она сама нанесла себе раны (не в самых опасных местах) бритвенным лезвием. Однажды на кухне этого дома Патрик попытался ее задушить. В другой раз она, в одной ночной рубашке, выбежала на двор, упала на колени и принялась выдирать пучками траву на газоне. Но для Анны сотканная родителями кровавая дерюга ошибок и несовместимости — если смотреть со стороны, годная лишь на то, чтобы ее сорвать и выбросить, — была по-прежнему истинной канвой жизни, началом и убежищем, сплетением отца и матери. Какой обман, думала Роза, как мы обманываем всех. Мы происходим от союзов, в которых нет ни капли того, что мы, в нашем представлении, заслуживаем.

Роза написала Тому с вопросом — что делать? Том преподавал в Университете Калгари. Роза была в него чуточку влюблена (так она говорила друзьям, которые знали об их отношениях: чуточку влюблена). Она познакомилась с ним в Ванкувере год назад — он был братом женщины, с которой Роза иногда играла вместе в радиопьесах, — и с тех пор она один раз приехала на встречу с ним в Викторию и жила в

его номере в гостинице. Они писали друг другу длинные письма. Он был галантный мужчина, по специальности историк. Он остроумно писал и деликатно флиртовал. Роза немножко боялась, что, узнав о ее уходе от Патрика, Том станет писать реже или осторожнее, на случай если она строит на него какие-либо планы. Опасаясь, что она рассчитывает на слишком многое. Но этого не случилось — он не был столь вульгарен или столь труслив; он доверял ей.

Она сказала друзьям, что ее уход от Патрика не имеет никакого отношения к Тому и что она, скорее всего, не начнет видеться с Томом чаще. Она сама в это верила, но у нее был выбор между работой на острове Ванкувер и работой в горах, и она выбрала горы, потому что ей хотелось быть ближе к Калгари.

Утром Анна была веселой и сказала, что все в порядке. Она сказала, что хочет остаться. Остаться в школе, с друзьями. Но на середине дорожки перед домом она остановилась, повернулась, помахала родителям и завизжала:

— Счастливого развода!

* * *

Роза думала, что, уехав из дома Патрика, поселится в голой комнате, заляпанной и обтерханной. Что ей будет все равно и она не станет тратить силы на обустройство. Она всего этого не любила. Найденная ею квартира — на втором этаже дома из бурого кирпича, на полпути вверх по склону горы — действительно была заляпанной и обтерханной, но Роза тут же принялась ее обустраивать. Красно-золотые обои (Роза уже поняла, что владельцы подобных мест любят на скорую руку приукрасить их «элегантными» обоями) были поклеены кое-как и уже стали отслаиваться и закручиваться трубочкой над плинтусом. Роза купила клей и приклеила обои на место. Она купила растения в подвесных горшках и тряслась над ними, чтобы они не перемерли. Она повесила в санузле смешные плакаты. Она приобрела индийское покрывало, корзины, горшки и расписные кружки — все оскорбительно дорого — в единственном на весь городок магазине, где все это продавалось. Она покрасила кухню в белый и синий цвета, стараясь попасть в тона старинного английского фарфора. Хозяин дома обещал отдать ей деньги за краску, но так и не отдал. Она

купила синие свечи, благовония, большую охапку сушеных золотых листьев и травы. В итоге вышла квартира, явственно говорящая, что здесь живет женщина одинокая, скорее всего — уже не первой молодости. Она преподавательница, или человек искусства, или питает надежду стать таковой. Точно так же дом, где она жила раньше, — дом Патрика — явственно говорил, что в нем живет преуспевающий бизнесмен или представитель хорошо оплачиваемой профессии, унаследовавший от родителей состояние и определенные представления о том, «как надо».

Городок в горах, казалось, лежит далеко от всего. Но Розе тут нравилось — в том числе и поэтому. Когда долго живешь в больших городах, а потом возвращаешься в маленький, то кажется, что здесь все просто и понятно. Как будто местные жители собрались и сказали: «Давайте поиграем в городок». Розе казалось, что здесь никто не умирает.

Том написал, что хочет приехать с ней повидаться. В октябре (Роза даже не ожидала, что возможность подвернется так скоро) у него была оказия, конференция в Ванкувере. Он собирался уехать с конференции на день раньше, а на работе сказать, что, наоборот, задержался на день,

и таким образом высвободить себе два дня. Но потом он позвонил из Ванкувера и сказал, что приехать не может. У него воспаление в зубе, очень сильная боль, нужно срочное удаление, и операцию придется делать в тот самый день, который он собирался провести с Розой. Так что он все же получит лишний день отгула, сказал он и спросил, не думает ли Роза, что это его постигла Божья кара. Он сказал, что придерживается кальвинистской точки зрения; еще он явно плохо соображал от боли и обезболивающих.

Дороти, приятельница Розы, спросила, верит ли Роза всему этому. Розе такая возможность не пришла в голову.

— Не думаю, что он стал бы мне врать, — сказала она, а Дороти отозвалась бодро, почти небрежно:

— О, они на что угодно способны.

Дороти была единственной женщиной на радиостанции, кроме Розы. Она два раза в неделю вела программу для домохозяек, читала лекции в женских кружках и пользовалась популярностью как распорядитель церемоний на торжественных обедах с вручением наград в молодежных организациях. И тому подобное. Она и Роза сошлись в основном потому, что обе были одиноки и по

натуре авантюристки. У Дороти был любовник в Сиэтле, и она ему не доверяла.

— Они на что угодно способны, — сказала Дороти.

Они пили кофе в маленьком кафе-пончиковой «Одним ударом», расположенном рядом с радиостанцией. Дороти начала рассказывать Розе историю своей связи с владельцем радиостанции, который сейчас уже был стариком и почти все время проводил в Калифорнии. Он подарил Дороти колье на Рождество — сказал, что это нефрит. Сказал, что купил его в Ванкувере. Дороти отдала колье в мастерскую, чтобы там починили застежку, и гордо спросила, сколько оно может стоить. Ей сказали, что это никакой не нефрит, и ювелир объяснил, как распознать разницу: нужно посмотреть на свет. Через несколько дней жена владельца явилась на радиостанцию в точно таком же колье; ей он тоже сказал, что это нефрит. Пока Дороти все это рассказывала, Роза смотрела на ее пепельно-блондинистый парик — блестящие роскошные волосы никто не принял бы за натуральные; парик и бирюзовые тени для век только подчеркивали, насколько потрепано жизнью лицо Дороти. В большом городе она выглядела бы как проститутка; а местные жители

считали ее экзотичной, но гламурной, послом из сказочного мира шикарно одетых людей.

— То был последний раз, когда я поверила мужчине, — продолжала Дороти. — Кроме меня, он спал еще с одной девушкой, которая работала в этом заведении, — замужней официанткой — и с няней собственных внуков. Как тебе это нравится?

На Рождество Роза поехала к Патрику. Тома она так и не увидела, но он прислал ей темно-синюю вышитую шаль с бахромой, купленную в начале декабря в Мексике, на отдыхе, совмещенном с конференцией. Том повез туда свою жену (в конце концов, он ей это обещал, сказала Роза, оправдываясь перед Дороти). Анна за три месяца вытянулась. Она теперь любила втягивать живот и выпячивать ребра, становясь похожей на дистрофика. Анна была живой и веселой, любила акробатические номера, откалывала коленца и загадывала загадки. Идя в магазин с матерью — Роза снова занялась покупками и приготовлением еды и иногда сходила с ума от страха, что ее работа, квартира и Том существуют только в ее воображении, — Анна сказала:

— В школе я иногда забываю.

— Про что ты забываешь?

— Забываю, что тебя нет дома, а потом вспоминаю. Что там только миссис Кребер.

Миссис Кребер была экономка, нанятая Патриком.

Роза решила увезти дочь. Патрик не сказал «нет», он сказал, что, может быть, так будет лучше. Но он не мог оставаться в доме, пока Роза собирала вещи Анны.

Потом Анна утверждала, что не знала о переселении к матери насовсем. Она думала, что едет только погостить. Роза верила, что Анне нужно было что-нибудь такое думать — чтобы не чувствовать себя виноватой за принятие решения.

Поезд в горы шел очень медленно из-за снега на путях. Вода замерзла. Поезд подолгу стоял на полустанках, обернутый клубами дыма, пока отогревались трубы. Анна и Роза надели верхнюю одежду и стали бегать по перрону.

— Мне придется купить тебе зимнее пальто. И теплые сапоги, — сказала Роза.

Для бесснежной приморской зимы хватало резиновых сапог и плаща с капюшоном. После этих слов Анна должна была понять, что едет к матери насовсем, но она ничего не сказала.

Ночью, пока Анна спала, Роза смотрела на пугающую глубину и блеск снега. Поезд ехал мед-

ленно, словно крадучись, опасаясь лавин. Роза не тревожилась — ей приятно было представлять, что их, запертых в темном купе, накрытых грубыми железнодорожными одеялами, несет вперед по такой суровой местности. Движение поездов, пускай и сопряженное с опасностью, всегда казалось Розе законным и надежным. А вот самолеты, по ее мнению, могли в любой момент испугаться собственной смелости и камнем свалиться на землю, даже не пикнув.

Она экипировала Анну на зиму и отправила ее в школу. Все прошло хорошо, Анна не страдала застенчивостью, и ее быстро приняли как свою. Через неделю она уже приводила домой новых подружек и ходила в гости к другим детям. Роза выходила встречать дочь — в ранних зимних сумерках, на улицы, обнесенные высокими стенами снега. Осенью с горы спустился медведь и зашел в город. Об этом объявляли по радио. Необычный гость города, медведь-барибал, гуляет по Фултон-стрит. Советуем не выпускать детей на улицу. Роза знала, что зимой медведь вряд ли явится в город, но все равно беспокоилась. Еще она боялась машин — при таких узких улицах и углах, за которыми ничего не видно. Иногда Анна выбирала другой маршрут, и тогда Роза прохо-

дила весь путь до дома, где гостила Анна, и не обнаруживала дочери. Тогда она бежала обратно к себе — всю дорогу бегом по крутым улицам, по длинным лестницам, и сердце у нее колотилось от бега и от страха, который она пыталась скрывать, найдя Анну дома.

Еще у нее колотилось сердце от физических усилий — она таскала продукты из магазина, белье в стирку и из стирки. Прачечная самообслуживания, супермаркет, магазин спиртных напитков — все это располагалось у подножия горы. Роза все время была занята. У нее все время были срочные планы на ближайший час. Забрать из мастерской туфли после замены подметок. Помыть и подкрасить волосы. Зашить Аннино пальто перед завтрашней школой. Помимо работы — непростой, — Роза еще вела хозяйство, так же как всегда, но в более трудных условиях. Она сама удивлялась тому, как успокаивают ее эти рутинные дела.

Для Анны она купила две вещи: аквариум и телевизор. Кошек и собак в квартире держать не разрешалось, оставались только птички и рыбки. Как-то в январе — на второй неделе после приезда Анны — Роза пошла под горку, чтобы встретить дочь из школы и пойти вместе с ней в универмаг

«Вулворт» за рыбками. Розе показалось, что у Анны грязное лицо, но потом она поняла, что это пятна слез.

— Сегодня я услышала, как кто-то зовет: «Джереми!» И я подумала, что Джереми здесь.

Джереми был мальчик, с которым она часто играла дома.

Роза сказала про рыбок.

— У меня живот болит.

— Может, ты голодная? Я бы выпила кофе. А ты что будешь?

День был ужасный. Они пошли через парк, чтобы срезать путь в центр города. Перед тем случилась оттепель, а потом опять ударил мороз, так что все вокруг было покрыто льдом, поверх которого лежал слой воды или снежной каши. Светило солнце, но от такого зимнего света только глаза слезятся — и заново чувствуешь, как тяжела зимняя одежда, и какой кругом хаос, и как все вообще трудно — вот сейчас, например, трудно идти по льду. Кругом кишели подростки, только что с уроков, и от их шума, уханья, попыток скользить по льду, от того, как сидели на лавке среди льда мальчик и девочка, целуясь напоказ, Роза еще сильнее пала духом.

Анна попросила шоколадное молоко. Даже в

ресторане все время попадались на глаза те же подростки. Ресторан был старомодный — высокие спинки диванчиков разгораживали его на отсеки в стиле сороковых годов, а у поварихи-владелицы, которую все звали просто Дри, были оранжевые волосы. Попадись такой вид в старых фильмах, ему бы обрадовались, как старому знакомому. Тут же — о счастье! — никому и в голову не пришло бы радоваться и тосковать по чему-то подобному. Скорее всего, Дри копила деньги, чтобы полностью обновить интерьер. Но сегодня Роза стала думать о похожих ресторанах в своем прошлом — в такие она заходила после уроков, когда училась в школе. Она подумала, что была в них очень несчастна.

— Ты не любишь папу, — сказала Анна. — Я знаю, что не любишь.

— Ну, я к нему хорошо отношусь. Мы просто не можем больше жить вместе, вот и все.

Как все, что говорится по книжке, это прозвучало фальшиво, и Анна сказала:

— Ты к нему не хорошо относишься. Ты врешь.

Она говорила уже уверенней и, кажется, радовалась подвернувшейся возможности взять верх над матерью.

— Разве нет?

Надо сказать, что Розу подмывало ответить: «Да, я к нему плохо отношусь, раз ты так настаиваешь». Дочь настаивала, но по силам ли ей правда? Как понять, что ребенку по силам и что нет? И вообще, такие слова, как «любовь», «нелюбовь», «хорошее» или «плохое» отношение и даже «ненависть», не имели никакого смысла, когда речь шла о Патрике и Розе.

— У меня живот еще не прошел, — сказала Анна с некоторым удовлетворением, отпихивая шоколадное молоко. Впрочем, она уловила сигналы опасности и поняла, что дальше заходить не следует. — Когда же мы пойдем за рыбками?

Она говорила так, словно это Роза тянула время.

Они купили одну оранжевую рыбку, одну — в синюю крапинку, одну черную, с телом как бархат и ужасными выпученными глазами, и всех принесли домой в полиэтиленовом пакете. Они купили также аквариум, разноцветные камешки и зеленую пластмассовую водоросль. И Анна, и Роза немного воспряли духом в недрах «Вулворта» при виде мерцающих рыбок, щебечущих птиц, ярко-розового и ярко-зеленого нижнего белья, зеркал в позолоченных рамах и огромного омара из холодной резины.

Из телепередач Анна полюбила «Семейный суд» — про девочек-подростков, которые хотели срочно сделать аборт, почтенных дам, задержанных за воровство в магазинах, и отцов, которые появлялись после многих лет отсутствия, чтобы забрать своих потерянных детей, которые, как выяснялось, любят отчимов больше. Другая любимая программа Анны называлась «Семейка Брейди» — это был сериал про шестерых прекрасных бойких детей: то до смешного непонятливых, то, опять же до смешного, никем не понятых, их хорошенькой матери-блондинки, темноволосого красавца-отца и радушной экономки. «Семейка Брейди» начиналась в шесть часов вечера, и Анна хотела под нее ужинать. Роза это разрешала, поскольку часто ей нужно было поработать, пока Анна ужинает. Она стала заранее раскладывать еду в миски, чтобы Анне было удобней. Она перестала готовить ужины из мяса, картошки и овощей, потому что бóльшую часть приходилось выбрасывать. Вместо этого она стала делать чили, или яичницу-болтунью, или сэндвичи из помидоров с беконом, или сосиски, завернутые в рассыпчатое тесто. Иногда Анна просила вместо ужина сухие завтраки с молоком, и Роза ей разрешала. Но потом думала, что в их семье что-то

катастрофически неправильно: Анна сидит перед телевизором, жуя хлопья «Капитан Хрустяшка», в тот самый час, когда все нормальные семьи собираются за столом на кухне или в столовой, готовясь есть, ссориться, смеяться вместе и терзать друг друга. Роза купила курицу и сварила густой золотой суп с перловкой и овощами. Но Анна потребовала «Капитана Хрустяшку». Она сказала, что у супа какой-то странный вкус. «Это прекрасный суп! — вскричала Роза. — Ты даже не попробовала, Анна! Ну хотя бы попробуй!»

Удивительно, что Роза не сказала «ради меня». Но в целом она с облегчением восприняла спокойное «нет».

В восемь часов она принималась гнать дочь в ванну, а потом в постель. И лишь завершив этот геркулесов труд — принеся последний стакан шоколадного молока, подтерев пол в ванной, подобрав бумаги, цветные карандаши, обрезки фетра, ножницы, китайские шашки, грязные носки, а также одеяло, в которое куталась Анна, сидя у телевизора (в квартире было холодно), собрав дочери обед в школу на завтра и выключив свет, несмотря на протесты, — Роза могла налить себе чего-нибудь алкогольного или кофе с капелькой рома и порадоваться тому, что у нее есть. Она

выключала свет и сидела у высокого фасадного окна, из которого открывался вид на весь городок в горах. Год назад она едва знала, что этот городок есть на свете, а теперь она думала о том, какое чудо, что все это случилось, что она проделала такой долгий путь и теперь работает, что дочь с ней и что Роза способна содержать и себя, и ее. Она ощущала вес Анны в квартире — это ощущение было так же естественно, как тяжесть ее собственного тела; ей не нужно было идти в комнату дочери, чтобы испытать ошарашивающее, пугающее счастье — увидеть светлые волосы, светлую кожу, блестящие брови и профиль, на котором, если очень пристально смотреть, можно разглядеть крохотные, почти невидимые волоски, улавливающие свет. Впервые в жизни Роза поняла, что такое быть хранительницей очага, узнала значение слова «убежище» и трудилась над тем, чтобы такое убежище создать.

— А ты почему решила развестись? — спросила Дороти. Она тоже побывала замужем, когда-то давно.

Роза не знала, с чего начать. Со шрамов на запястье? С того, как ее душили на кухне, как она выдирала пучки травы? Все это явно было ни при чем.

— Мне вот просто надоело, — продолжала Дороти. — Стало адски скучно, правду тебе сказать.

Она была полупьяна. Роза начала смеяться, и Дороти спросила:

— Чего ты ржешь?

— Какое счастье, что ты не начала рассказывать про «проблемы с коммуникацией».

— Ну, проблемы с коммуникацией у нас тоже были. Нет, по правде сказать, дело было в том, что я втюрилась по уши. У меня был роман с одним парнем, он работал в газете. Журналистом. Ну и вот, этот журналист, он поехал в Англию и написал мне письмо с той стороны Атлантики про то, как он меня по-настоящему любит. Он написал мне это письмо, потому что был с той стороны Атлантики, а я — с этой, но тогда у меня не хватило мозгов это понять. И ты знаешь, что я сделала? Бросила мужа — здесь я, впрочем, ничего не потеряла — и заняла деньги, полторы тыщи долларов заняла в банке. И полетела в Англию за этим типом. Я позвонила в его газету, и мне сказали, что он улетел в Турцию. Я сидела в гостинице и ждала, пока он не вернется. О, какой это был ужас! Я не выходила из гостиницы. Даже когда я шла на массаж или в парикмахерскую, то оставляла координаты для связи. Я дергала

портье по пятидесяти раз в день. Нет ли письма? Не звонил ли кто? Господи, господи, господи!

— И что, он вернулся?

— Я еще раз позвонила, и мне сказали, что он уехал в Кению. У меня начался нервный тик. Я поняла, что надо взять себя в руки, и так и сделала, не стала тянуть резину. Улетела домой. Начала выплачивать банку эти сраные деньги.

Дороти пила неразбавленную водку из стакана для воды.

— Ну вот, а года через два или три я его встретила… где ж это было-то? В аэропорту. Нет, в универмаге. И он такой: «Жалко, что мы тогда разминулись в Англии». А я такая: «Ничего, я там и без тебя не скучала». Я тогда еще даже с банком не успела расплатиться. Надо было сказать ему, что он козел.

На радио Роза читала рекламу и прогнозы погоды, отвечала на письма, сидела на телефоне, перепечатывала новости, участвовала в воскресных радиопьесах, которые сочинял местный священник, и собиралась начать серию интервью. Она хотела сделать материал про первопоселенцев города: поэтому она пошла и побеседовала со слепым дряхлым стариком, который жил в квартире над фуражной лавкой. Он

рассказал ей, что в стародавние времена яблоки и вишни привязывали к веткам сосен и кедров, фотографировали и посылали фото в Англию. Это привлекало переселенцев, которые охотней ехали в места, где уже были плодоносящие сады. Когда Роза принесла материал в редакцию, ее подняли на смех: эту историю уже все слышали по многу раз.

Она не забывала Тома. Он писал ей, она ему. Без этой связи Роза казалась бы себе неопределенной, жалкой; ниточка, протянутая к мужчине, якорем держала на месте ее новую жизнь. Какое-то время казалось, что им улыбнулась удача. В Калгари устраивалась конференция, посвященная роли радио в сельской жизни, или что-то в этом роде, и радиостанция собиралась послать Розу. Без каких-либо интриг и замыслов с ее стороны. Она и Том ликовали и дурачились по телефону. Роза попросила молодую учительницу, живущую на том же этаже, перебраться к ней в квартиру и присмотреть за Анной. Девушка с радостью согласилась: ко второй учительнице, с которой она делила квартиру, приехал парень, и в квартире стало тесновато. Роза снова пошла в магазин, где когда-то купила покрывало и горшки. Теперь она приобрела ночную рубашку вроде кафтана

с узорами из птиц, расцветкой как драгоценные камни. Это одеяние напомнило ей сказку про императора и соловья. Она подкрасила волосы. Она должна была проехать шестьдесят миль автобусом, а потом лететь самолетом. Час страха в обмен на лишнее время в Калгари. Сотрудники редакции с наслаждением пугали ее, рассказывая, как маленькие самолетики взмывают из горного аэропорта почти вертикально вверх, а потом летят, подскакивая и трясясь, над всеми Скалистыми горами. Роза думала, что умереть так — разбиться в горах, летя на свидание с Томом, — было бы неправильно. Эти мысли не оставляли ее, несмотря на лихорадочное желание его увидеть. Умереть из-за стремления к столь легкомысленной цели было бы как-то нехорошо. Розе казалось, что рисковать так — это предательство: не по отношению к Анне, безусловно, не по отношению к Патрику, но, возможно, по отношению к ней самой. Но именно потому, что путешествие было легкомысленным, оно казалось ей не вполне настоящим, и она верила, что не погибнет.

Она была в таком приподнятом настроении, что без конца играла с Анной в китайские шашки. И в «Извините», и в любую другую игру по

желанию Анны. В ночь перед отъездом Розы — такси было заказано на половину шестого утра — они играли в китайские шашки, и Анна вдруг сказала: «Ой, я совсем ничего не вижу с этими синими» — и скрючилась над доской, собираясь заплакать. Она никогда не плакала из-за игры. Роза пощупала ей лоб и потащила, несмотря на жалобы, в кровать. У Анны была температура сто два градуса[9]. Было уже поздно звонить Тому на работу, а домой, конечно, и вовсе немыслимо. Роза позвонила в таксомоторную компанию и в аэропорт — отменить билет. Даже если утром Анне будет лучше, Роза не сможет поехать. Она пошла и сказала об этом девушке, которая согласилась посидеть с Анной, а потом позвонила в Калгари организатору конференции.

— О боже! — сказал он. — Ох уж эти детишки!

Утром Анна сидела завернутая в одеяло и смотрела мультики, а Роза позвонила Тому на работу.

— Ты приехала! — обрадовался он. — Где же ты?

И ей пришлось объяснять.

Анна все кашляла, температура у нее то поднималась, то падала. Роза пыталась сделать так,

---

[9] Примечания: 9
По Фаренгейту; соответствует 38,9 °C.

чтобы в квартире было потеплее, возилась с термостатом, слила воду из батарей, позвонила в управляющую домом контору и оставила сообщение домовладельцу. Он не ответил. Назавтра в семь утра Роза позвонила к нему домой, сообщила, что у ее ребенка бронхит (возможно, на тот момент она сама в это верила, но в конце концов такой диагноз не подтвердился), и поставила владельца в известность, что у него есть ровно час, чтобы разобраться с отоплением в ее квартире, иначе она позвонит в газету, прополощет его по радио, подаст на него в суд, найдет нужные ходы. Он пришел тут же, со страдальческим лицом (несчастный бедняк пытается свести концы с концами, а его травят всякие истерички), что-то сделал с термостатом в коридоре, и батареи стали нагреваться. Соседки-учительницы сказали Розе, что он до этого что-то нахимичил с термостатом, чтобы меньше тратить на отопление, и никогда раньше не поддавался на протесты. Роза была очень горда — она чувствовала себя неукротимой матерью из трущоб, которая, вопя и сквернословя, бьется за своего ребенка. Она забыла, что матери из трущоб редко бывают неукротимыми: они слишком пришиблены и задерганы жизнью. Нет, это ее уверенность, характерная для средне-

го класса, ее твердое ожидание справедливости придали ей такую силу, такое умение унизить противника; именно это его сломило.

Через два дня ей пришлось выйти на работу. Анне стало лучше, но Роза все время беспокоилась. Она даже кофе не могла пить — в горле стоял тревожный ком. С Анной ничего не случилось, она принимала микстуру от кашля и рисовала цветными карандашами, сидя в кровати. Когда мать вернулась с работы, Анна рассказала ей целую историю. Про принцесс.

Там была белая принцесса, она ходила в свадебном платье и жемчугах. Ее домашними животными были лебеди, ягнята и белые медведи, а в саду у нее росли белые лилии и белые нарциссы. Она ела картофельное пюре, сливочное мороженое, кокосовую стружку и меренгу с верхней части торта. Еще была розовая принцесса, она растила в саду розы, питалась клубникой и водила на поводке фламинго (Анна описала этих птиц, но забыла, как они называются). Синяя принцесса довольствовалась виноградом и чернилами. Коричневая же принцесса хотя и одевалась унылей всех, зато ела все самое вкусное: жареное мясо с подливой и шоколадный торт с шоколадной же глазурью, а также шоколадное мороженое

с соусом из шоколадной помадки. А что было у нее в саду?

— Какашки, — ответила Анна. — По всему саду!

На этот раз Том и Роза уже избегали открыто упоминать о своем разочаровании. Они стали чуть сдержанней в переписке — возможно, подозревая, что судьба их разводит. Они писали друг другу нежно, осторожно, остроумно, почти что так, будто последней неудачи не случилось.

В марте он позвонил и сказал, что его жена с детьми уезжает в Англию. Он собирался к ним присоединиться, но позже, через десять дней. «Значит, у нас будет целых десять дней!» — вскричала Роза, старательно забывая про его последующее долгое отсутствие (он собирался пробыть в Англии до конца лета). Оказалось, что у них все-таки не десять дней, а несколько меньше, потому что по дороге в Англию он должен заехать в город Мэдисон, штат Висконсин. «Но ты обязательно должен приехать сюда, — сказала Роза, проглотив разочарование. — Сколько ты сможешь пробыть? Неделю?» Она уже представляла себе долгие завтраки в лучах утреннего солнца. Она видела себя в соловьино-императорском халате. Она будет подавать на стол фильтрован-

ный кофе (надо купить кофейник с фильтром!) и то хорошее горькое варенье из апельсиновых корочек. Роза напрочь забыла о том, что по утрам работает на станции.

Том сказал, что пока не знает, — к ним приезжает его мать, чтобы помочь Памеле и детям со сборами и отъездом, и он не может просто так ее бросить. На самом деле будет гораздо лучше, если Роза приедет к нему в Калгари.

Тут он вдруг очень обрадовался и сказал, что они поедут в Банфф. Можно провести там три-четыре дня. Роза ведь сможет отпроситься на работе? Можно поехать на длинные выходные. Роза спросила, не будет ли у него проблем в Банффе — вдруг он наткнется на каких-нибудь знакомых. Нет-нет, сказал он, все будет хорошо. Роза, однако, радовалась не так уж сильно — тогда в Виктории ей не очень понравилось жить с ним в гостинице. Он спустился в вестибюль, чтобы купить газету, и позвонил в их номер, чтобы убедиться, что у нее хватит ума не брать трубку. Ума у нее хватило, но этот маневр ее расстроил. Но все равно она сказала «замечательно, чудесно», и они схватились за календари — каждый на своем конце телефонной линии, — чтобы выбрать даты. Можно было использовать выходные — Розе

причитались одни свободные выходные. И наверно, ей удастся захватить пятницу и хотя бы часть понедельника. Самые необходимые дела сделает Дороти. Дороти задолжала ей немного рабочего времени. Роза ее заменяла, когда она летала в Сиэтл и застряла там из-за тумана. Розе пришлось целый час торчать в эфире, читая советы домохозяйкам и рецепты, совершенно бесполезные на ее взгляд.

У Розы было почти две недели на то, чтобы все организовать. Она снова попросила учительницу, и та согласилась прийти. Роза купила свитер. Она надеялась, что от нее не потребуют в столь краткие сроки встать на лыжи. Там должны быть пешеходные тропинки, по которым можно гулять. Роза предполагала, что они проведут бóльшую часть времени за едой, питьем, разговорами и сексом. Последний пункт ее несколько тревожил. Их разговоры по телефону были чинны и даже чопорны, но письма — теперь, в преддверии скорой встречи, — были наполнены обещаниями, приводящими в исступление. Роза с наслаждением читала эти письма и сама их писала, но не могла вспомнить Тома так ясно, как ей хотелось бы. Она помнила, как он выглядит: невысокий, сухощавый, с седыми волнистыми

волосами и длинным умным лицом. Но не могла вспомнить ни одной из зажигающих желание мелочей: тон голоса, запах. Зато она слишком хорошо помнила, что их совместное пребывание в Виктории было не полностью успешным: она помнила что-то среднее между проклятием и извинением, скользкую грань провала. Но от этого ей лишь сильнее хотелось попробовать еще раз, сделать так, чтобы на этот раз у них все получилось.

Она должна была уехать в пятницу — тем же рейсом автобуса и потом самолета, на которые она не попала в прошлый раз.

Во вторник утром пошел снег. Она не обратила внимания. Снег был мокрый, красивый, он валил отвесно вниз большими хлопьями. Интересно, подумала она, будет ли снег идти в Банффе. Она понадеялась, что да — будет очень приятно лежать в постели и смотреть на летящие хлопья. В следующие два дня снег шел практически все время, и когда она пошла в турагентство забирать билет на самолет, ей сообщили, что аэропорт закрыт. Она осталась с виду спокойной, да и в душе особо не обеспокоилась: даже обрадовалась, что лететь не придется. Она спросила, ходят ли поезда, но, конечно, поезда на Калгари не было — он

шел только до Спокана. Роза это уже знала. Тогда автобус, сказала она. Сотрудники турагентства стали звонить по телефону, проверяя, не закрыты ли дороги и ходят ли автобусы. Тут у Розы чуть участился пульс, но все было в порядке, просто замечательно, и автобусы ходили. Ее предупредили, что рейс тяжелый — автобус уходит отсюда в полпервого ночи и приходит в Калгари около двух часов следующего дня.

— Это ничего.

— Похоже, вам очень нужно в Калгари, — сказал неопрятно одетый молодой человек.

Агентство было какое-то неформальное, импровизированное, и офисом ему служил стол в вестибюле гостиницы, у входа в пивной бар.

— В Банфф, — беззастенчиво поправила она. — Да, очень нужно.

— Решили на лыжах покататься?

— Может быть.

Она была уверена, что он обо всем догадался. Она тогда не знала, насколько распространены такие вылазки-адюльтеры: ей казалось, что у нее вокруг головы переливается греховная аура, как едва видимые язычки пламени вокруг газовой горелки.

Она пошла домой, думая, что на самом деле

будет гораздо счастливей, сидя в автобусе и с каждым часом приближаясь к Тому, чем ворочаясь без сна в собственной постели. Надо только попросить учительницу перебраться к ним сегодня вечером.

Учительница уже ждала ее, играя с Анной в китайские шашки:

— О, я даже не знаю, как вам сказать… Мне ужасно жаль, но кое-что произошло.

Она сказала, что у ее сестры случился выкидыш и теперь сестра нуждается в ее помощи. Сестра жила в Ванкувере.

— Мой бойфренд завтра отвезет меня на машине, если мы сможем пробиться.

Раньше учительница не упоминала ни о каком бойфренде, и Розе тут же стала подозрительна вся эта история. Конечно, девчонка гонится за каким-то призрачным шансом: ее тоже манит запах любви и надежды. Может, чей-то муж, а может, мальчишка-ровесник. Роза посмотрела на лицо со следами зажившихся прыщей, розовое от стыда и возбуждения, и поняла, что уговорить девушку не сможет. Учительница меж тем принялась украшать свою историю деталями из жизни сестры: двое детей, оба мальчики, а сестра с мужем так хотели девочку!

Роза принялась накручивать диск телефона, ища замену. Она звонила студентам, она звонила женам своих коллег-мужчин в надежде, что они кого-нибудь порекомендуют; она позвонила даже Дороти, которая терпеть не могла детей. Все без толку. Роза старательно проверяла все полученные наводки, хотя и понимала, что они, скорее всего, бесполезны — их дали, только чтобы она отвязалась. Она сама стыдилась своей назойливости. Наконец Анна сказала:

— Я могу побыть одна.

— Не говори глупостей.

— Я же была одна. Когда я болела, а тебе нужно было на работу.

— А ты не хочешь, — Розу вдруг накрыло подлинным и внезапным счастьем от неожиданного и беспечного решения, — ты не хочешь поехать со мной в Банфф?

Они спешно собрали вещи. К счастью, Роза только вчера сходила в прачечную. Она не позволяла себе задумываться о том, чем Анна будет заниматься в Банффе, кто заплатит за лишний номер в гостинице и вообще согласится ли Анна поселиться отдельно. Роза швыряла в сумку книжки-раскраски, книги сказок и наборы «сделай сам» для изготовления елочных украшений,

от которых всегда столько мусора, — абсолютно все, что могло занять Анну. Дочь была в восторге от такого поворота событий, и ее не пугала даже перспектива долгой автобусной поездки. Роза не забыла позвонить заранее и вызвать такси, чтобы оно забрало их в полночь.

Они чуть не застряли по дороге на автовокзал. Роза подумала — хорошо, что она догадалась вызвать такси за полчаса, ведь обычно езды тут пять минут. Автовокзал располагался в ужасно унылом здании старой автомастерской. Роза оставила Анну на скамье с багажом и пошла брать билеты. Когда она вернулась, Анна сгорбилась над чемоданом — ее одолел сон, стоило матери отойти.

— В автобусе поспишь.

Анна выпрямилась, отрицая усталость. Роза надеялась, что в автобусе будет тепло. Может, надо было взять с собой одеяло, укутать Анну. Роза думала об этом, но у них и без того были полные руки вещей, в том числе хозяйственная сумка с книжками и прочими развлекалками для Анны. Роза представила себе, как они прибывают в Калгари: всклокоченные, раздражительные, страдающие запором, из сумки сыплются карандаши, да еще и одеяло сзади волочится. Она

отказалась от этой идеи.

Автобуса ждали не они одни. Молодая пара в джинсах — явно недокормленная и мерзнущая. Бедная, но респектабельная пожилая женщина в зимней шапке; индейская бабушка с младенцем. На скамье лежал мужчина — то ли больной, то ли пьяный. Роза надеялась, что он никуда не едет, а просто зашел на автовокзал погреться: у мужчины был такой вид, словно его сейчас вывернет наизнанку. А если он едет, то хорошо бы его стошнило сейчас, а не в автобусе. Кстати, стоит сводить Анну в туалет здесь, на вокзале. Как бы ни были убоги удобства на вокзале, в автобусе наверняка будет гораздо хуже. Анна бродила вокруг, глядя на автоматы по продаже сигарет, конфет, напитков и сэндвичей. Роза подумала — не купить ли пару сэндвичей и водянистого какао. Вдруг потом, в горах, она пожалеет, что этого не сделала.

— Вниманию пассажиров, ожидающих автобуса на Крэнбрук, Рэдиум-Хот-Спрингс, Голден и Калгари! Ваш рейс отменен. Автобусный рейс отправлением в ноль-ноль тридцать отменен.

Роза подошла к кассе и спросила:

— Что такое, что случилось, скажите? Дорогу закрыли?

Зевающий кассир ответил:

— Закрыли за Крэнбруком. Отсюда до Крэнбрука открыто, а дальше закрыто. И к западу отсюда, до Гранд-Форкс, тоже закрыто, так что автобус сюда сегодня даже не доедет.

Роза спокойно спросила, какие еще есть автобусы.

— Что значит «какие еще»?

— Ну, есть ведь автобус на Спокан? Оттуда я смогу добраться до Калгари.

Он неохотно вытащил пачку расписаний. Потом оба вспомнили, что если закрыта дорога от Гранд-Форкс, то все без толку, никаких автобусов сегодня не будет. Роза подумала, что можно доехать поездом до Спокана, а оттуда автобусом до Калгари. Нет, это невозможно — у нее на руках Анна. Но все равно она спросила про поезда. Слышал он что-нибудь про поезда?

— Слыхал, что они идут с двенадцатичасовым опозданием.

Она все стояла у кассы, словно вселенная была обязана предложить ей какое-то решение.

— Извините, больше ничем помочь не могу.

Она отвернулась и увидела, что Анна стоит у телефонов-автоматов и проверяет лотки для возврата монет. Ей случалось таким образом

находить пять или десять центов.

Вдруг Анна подошла к Розе — не подбежала, но подошла быстрым шагом, неестественно спокойная и в то же время взволнованная.

— Пойдем, — сказала она, — пойдем скорей.

Она подтащила остолбеневшую Розу к одному из автоматов. И потянула на себя лоток возврата денег. Он был полон мелочи. До краев. Анна принялась выгребать монеты в ладонь. Четвертаки, пяти— и десятицентовики. Их становилось все больше и больше. Она набивала карманы. Похоже, каждый раз, когда она вдвигала лоток на место, он заполнялся снова, как во сне или в сказке. Наконец лоток опустел, Анна извлекла последний десятицентовик. Она посмотрела на Розу — усталая, бледная, с пылающим взором.

— Не говори ничего, — приказала она.

Роза сообщила ей, что они все-таки никуда не едут. Она позвонила в ту же таксомоторную компанию, чтобы их отвезли домой. Анна без интереса отнеслась к перемене планов. Роза обратила внимание, что в такси Анна садилась очень осторожно, чтобы монеты в карманах не звякали.

Оказавшись дома, Роза налила себе выпить. Анна, не снимая пальто и сапог, принялась рас-

кладывать добычу на кухонном столе, сортируя по кучкам для подсчета.

— Невероятно, — приговаривала она. — Не-ве-ро-ят-но.

Она говорила странным, взрослым голосом, в котором неподдельное изумление мешалось с изумлением социально приемлемым. Словно только обыграв случившееся таким образом, можно было справиться с ним, взять его под контроль.

— Наверно, это от междугородного звонка, — сказала Роза. — Деньги не попали в аппарат. Наверно, это все принадлежит телефонной компании.

— Но мы же не можем вернуть их обратно, правда? — заявила Анна виновато и торжествующе.

Роза сказала, что нет.

— Это безумие, — произнесла она.

Она имела в виду идею, что деньги принадлежат телефонной компании. Она ужасно устала, в голове у нее была каша, но ее начала охватывать недолгая и нелепая эйфория. Ей чудились струи монет, дождем сходящие на них с неба. Метель монет. Какая беспечность, какой элегантный каприз.

Они попытались сосчитать деньги, но все вре-

мя сбивались. Они начали вместо этого играть с монетами, захватывая их в горсть и пропуская сквозь пальцы. Поздней ночью на кухне съемной квартирки на склоне горы царило опьянение. Клад — там, где его не искали; черная полоса переплетается со светлой. Про считаные разы, считаные часы в своей жизни Роза могла бы сказать, что сейчас она не заложница в руках у прошлого, будущего, любви или кого угодно. И это был один из таких часов. Роза надеялась, что то же может сказать про себя и Анна.

Том написал ей длинное письмо, полное нежности и юмора, и упомянул злой рок. Этим письмом он отрекался от нее — со скорбью, но и с облегчением — перед отъездом в Англию. Его тамошнего адреса у Розы не было, а то она, пожалуй, написала бы с просьбой дать им еще один шанс. Это было у нее в крови.

Последний снег той зимы быстро растаял, затопив кое-где долины. Патрик написал, что приедет на машине в июне, когда кончится школа, и заберет Анну с собой на лето. Он сообщил также, что хочет начать бракоразводный процесс, поскольку встретил девушку, на которой хочет жениться. Ее зовут Элизабет. По словам Патрика, она была хорошим человеком и весьма уравновешенной

личностью.

И не думает ли Роза, писал дальше Патрик, что для Анны будет лучше, если на следующий год она вернется в свой прежний дом, знакомый ей с рождения, в свою старую школу к прежним одноклассникам (Джереми все время о ней спрашивает), вместо того чтобы скитаться с Розой по тропам ее новой независимой жизни? Не может ли быть правдой (тут Розе послышался голос новой, уравновешенной подружки), что Роза использует Анну, чтобы придать стабильность своей жизни, вместо того чтобы честно перенести все последствия принятого ею решения? Конечно, добавил он, окончательный выбор остается за Анной.

Роза хотела ответить, что создает новый дом для Анны — здесь, в этом городе, — но по совести не могла. Она и сама уже не хотела здесь оставаться. Жизнь в городке уже не манила ее своим очарованием, искренностью. Платили тут плохо. Роза никогда не сможет себе позволить ничего, кроме этой дешевой квартирки. Здесь она никогда не найдет ни работу получше, ни нового мужчину. Она подумывала о том, чтобы перебраться на восток, в Торонто, попробовать найти работу там — на радио или телевидении.

Может быть, даже актрисой. Она хотела бы взять с собой Анну, свить временное гнездо для них обеих. Все именно так, как сказал Патрик. Роза хотела возвращаться с работы домой — к Анне, хотела наполнить Анной свою жизнь. Но она понимала, что Анна такой жизни не захочет. Детей обычно не радует бедное, живописное цыганское существование — хотя позже они по ряду причин утверждают, что вспоминают свое детство с нежностью.

* * *

Анна переехала к Патрику и Элизабет. Она начала заниматься балетом и театральным искусством. Элизабет считала, что девочке следует совершенствоваться и не болтаться без дела. Анне отдали кровать со столбиками (заменив балдахин) и завели для нее котенка.

Элизабет сшила ей ночную рубашку и ночной колпак в тон кровати. Розе прислали фотографию: Анна с котенком сидит, скромная и довольная, посреди просторов ткани в цветочек.

Первой умерла рыбка в крапинку, потом оранжевая. Это было еще до отъезда Анны. Ни Анна, ни Роза не предложили еще раз сходить в «Вулворт» и принести черной рыбке компаньона. Впрочем,

судя по виду черной рыбки, она в компаньонах не нуждалась. Разбухшая, пучеглазая, зловещая, она приняла свое единоличное владычество над аквариумом как должное.

Анна взяла с Розы обещание, что та не спустит рыбку в унитаз после того, как она, Анна, уедет. Роза пообещала и перед отъездом в Торонто пришла к Дороти, неся аквариум как нежеланный прощальный подарок. Дороти приняла рыбку мужественно, пообещала назвать ее в честь сиэтлского бойфренда и поздравила Розу с будущим отъездом.

Роза принялась вычищать квартиру. Ей попались стеклянные шарики, рисунки Анны и несколько писем, которые она начала — в основном по настоянию Розы, — но так и не закончила.

Дорогой папочка!
Я живу хорошо. Как ты поживаешь? Я болела, но теперь выздоровела. Я надеюсь, что ты не болеешь.

Дорогой Джереми!
Ты сильно вырос? Я живу хорошо.

Удача Симона

На новых местах Розе бывает одиноко; ей хочется, чтобы кто-нибудь пригласил ее в гости. Она бродит по улицам и подглядывает в освещенные окна за субботними вечеринками, воскресными семейными ужинами. Она тщетно убеждает себя, что вытерпела бы там совсем недолго — наливаясь спиртным за непринужденной беседой или раскладывая мясо с подливой по тарелкам, — прежде чем ее опять потянуло бы на улицы. Она думает, что к кому угодно пошла бы в гости. Пошла бы на вечеринку в комнату, увешанную афишами и освещенную лампами с рекламой кока-колы на абажурах, где все ветхое и кривое; или в теплую уютную гостиную, принадлежащую врачу или адвокату, со множеством книг, копиями латунных мемориальных табличек и, может быть, парочкой черепов; даже в комнату для приема гостей, оборудованную в подвале, — от этих ей видно только верхнюю часть в подвальное окно: ряды пивных кружек, охотничьи рога, рога для питья, охотничьи ружья. Она сидела бы на мебели, обитой люрексом, под картинами на бар-

хате, изображающими горы, парусники, белых медведей. Она была бы счастлива раскладывать дорогой пудинг «дипломат» из хрустальной вазы в богато обставленной столовой, чтобы рядом сверкало выпуклое брюхо буфета, под едва видной картиной с изображением пасущихся лошадей, коров или овец на плохо нарисованной фиолетовой траве. Она удовлетворилась бы и йоркширским пудингом на кухне, вот в этом маленьком оштукатуренном домике у автобусной остановки — стены украшены гипсовыми грушами и персиками, а из медных горшочков лезет плющ. Роза — актриса: она впишется куда угодно.

Впрочем, нельзя сказать, что ее вообще никуда не приглашают. Года два назад она была на вечеринке в многоквартирном доме в Кингстоне. Окна квартиры выходили на озеро Онтарио и остров Вольфа. Роза не жила в Кингстоне. Она жила севернее, подальше от озера, и там уже два года преподавала сценическое искусство в местном колледже. Некоторые удивлялись такому карьерному ходу. Они не знали, как мало платят актрисам; они думали, что все знаменитости обязательно хорошо зарабатывают.

Роза тогда поехала в Кингстон специально на

ту вечеринку; ей было немножко неудобно об этом думать. Хозяйку дома она раньше не знала; с хозяином была знакома с прошлого года, когда он преподавал в том же колледже, что и Роза, и жил с другой девушкой.

Хозяйка — ее звали Шелли — отвела Розу в спальню, показывая ей, где можно оставить пальто. Шелли была худая серьезная девушка, натуральная блондинка, с почти белыми бровями и такими прямыми, длинными, густыми волосами, словно их вырезали из дерева. По-видимому, она очень старалась поддерживать имидж бедной худенькой сиротки. Голос у нее был тихий и грустный, и по сравнению с ним собственный голос Розы, ее только что прозвучавшее приветствие казались настолько преувеличенно бодрыми, что резанули ухо ей самой.

В корзинке у изножья кровати трехцветная кошка кормила четырех крохотных слепых котят.

— Это Таша, — сказала хозяйка дома. — На котят можно смотреть, но трогать нельзя, а то она перестанет их кормить.

Она опустилась на колени у корзинки, воркуя с кошкой-матерью; в этом ворковании слышалась горячая любовь, которую Роза сочла фальшивой.

Девушка куталась в шаль — черную, отделанную бисером. Местами бисерины сидели криво или вообще потерялись. Это была настоящая старинная шаль, не имитация. Потерявшее форму, слегка пожелтевшее платье с вышивкой ришелье — тоже настоящее, старинное, хотя первоначально, скорее всего, это была нижняя юбка. За винтажной одеждой надо уметь ухаживать.

По ту сторону кровати с точеными балясинами, похожими на составленные вместе деревянные катушки из-под ниток, висело большое зеркало. Висело оно странно высоко и криво. Пока хозяйка сюсюкала над кошкой, Роза попыталась посмотреть на себя. Очень тяжело смотреться в зеркало, если рядом другая женщина, и особенно — если она моложе. На Розе было хлопчатобумажное платье в цветочек, длинное, с облегающим корсажем и рукавами-фонариками, со слишком коротким лифом, тесное в груди и потому неудобное. В нем было что-то фальшиво-молодежное или театральное: может, Розе недоставало стройности для этого фасона. Рыжевато-каштановые волосы она красила сама, дома. Под глазами виднелась сеточка морщин — они пересекались, образуя маленькие ромбики темноватой кожи.

Роза уже научилась понимать, что, если чужое

поведение (как сейчас — хозяйки дома) кажется ей наигранным, обстановка — жеманной, образ жизни — раздражающим (это зеркало, лоскутное одеяло на кровати, японская эротическая гравюра над кроватью, африканская музыка, доносящаяся из гостиной), это значит, что она, Роза, не получила и боится так и не получить желанного ей внимания, не вписалась в компанию и чувствует, что так и будет весь вечер околачиваться с краю, сурово осуждая всех подряд.

В гостиной она приободрилась — кое-кто из гостей был ей знаком, и среди них были люди ее возраста. Она сразу налегла на спиртное и скоро уже использовала только что виденных котят как вступление к своей истории. Нечто ужасное случилось с ее собственным котом прямо сегодня, сказала она.

— Хуже всего то, что я никогда его особо не любила. Я не собиралась заводить кота. Это он меня завел. В один прекрасный день увязался за мной на улице и добился, чтобы я взяла его в дом. Он был как какой-то хронически безработный здоровяк, уверенный, что его обязаны содержать. Ну вот, он всегда любил сушильную машину для белья. Когда я вытаскивала белье после сушки, он сразу прыгал туда, в тепло. Обычно я сушу одну

партию белья, а сегодня — две. И вот я сунула туда руку и что-то такое нащупала и думаю: «Что это я сегодня такое стирала, с мехом?»

Слушатели стонали или смеялись, сочувственно и с ужасом. Роза искательно глядела на них. Ей стало значительно лучше. Гостиная с видом на озеро и тщательно подобранным декором (музыкальный автомат, зеркала как в парикмахерской, реклама начала века — «Кури, это полезно для горла», — старые шелковые абажуры, деревенские кувшины и миски, африканские маски и скульптуры) уже не казалась такой враждебной. Роза отхлебнула еще джина, зная, что сейчас начнется короткий отрезок времени, когда она будет чувствовать себя легкой и всюду привечаемой, как колибри; уверенной, что многие из собравшихся умны, многие добры, а некоторые умны и добры одновременно.

— Я подумала: «Ох, только не это». Но к сожалению… Смерть в сушилке.

— Таков печальный конец всех искателей удовольствий, — сказал стоящий рядом с Розой остролицый человечек.

Роза знала его давно, но неблизко. Он был профессором английского языка в университете, где преподавал сейчас и хозяин дома и где хозяйка

дома была аспиранткой.

— Это ужасно, — сказала хозяйка, у которой на лице застыло холодное выражение «ах, я такая чувствительная»; те, кто смеялся, немного устыдились, словно боясь, что их сочтут бессердечными. — Кот. Это ужасно. Как же вы смогли сегодня прийти?

По правде сказать, происшествие с котом случилось отнюдь не сегодня, а на прошлой неделе. Уж не хочет ли эта девица выставить меня в плохом свете, подумала Роза. Она сказала искренне и печально, что не очень любила кота и от этого ей почему-то еще тяжелее. Она сказала, что именно это и пытается объяснить.

— Мне казалось, что это все моя вина. Может, если бы я его любила сильнее, этого не случилось бы.

— Конечно не случилось бы, — сказал стоящий рядом. — Он искал в сушилке тепла. То есть любви. Ах, Роза!

— Теперь вам больше не трахаться с этой кошкой, — произнес высокий юноша, которого Роза до сих пор не замечала. Он будто вырос из-под земли. — С кем вы там трахаетесь, Роза, я не знаю, с кошками, с собаками.

Она попыталась вспомнить, как его зовут.

Это определенно был ее студент или бывший студент.

— Дэвид, — сказала она. — Здравствуйте, Дэвид.

Она так обрадовалась, вспомнив имя юноши, что смысл его реплики дошел до нее не сразу.

— Трахаться с кошками, с собаками, — повторил он, возвышаясь над ней и слегка пошатываясь.

— Извините, что? — спросила Роза, сделав милое, вопросительное, снисходительное лицо.

До окружающих, как и до самой Розы, смысл слов юноши дошел не сразу. Когда вокруг царит общительность, дружелюбие, ожидание всеобщей доброй воли, этот настрой не так легко переломить; он продолжался, хотя было ясно, что происходит что-то плохое и разлитому в воздухе добродушию осталось недолго.

— Извиняюсь, Роза, — сказал юноша хамовато и враждебно. — В рот вам ноги.

Он был очень бледен, отчаянно пьян и, кажется, на грани срыва. Вероятно, вырос в утонченной семье, где туалет называли «одно местечко», а если кто-нибудь чихал, ему говорили «будьте здоровы».

Невысокий крепкий мужчина с курчавыми черными волосами взял юношу за плечо.

— Пойдем-ка, — сказал он почти нежно.

Он говорил с нечетко выраженным европейским акцентом — Розе показалось, что французским, хотя она в этом плохо разбиралась. Ей казалось — впрочем, она знала, что на самом деле заблуждается, — что такой акцент говорит о мужественности, более богатой и сложной, чем у уроженцев Северной Америки, и в частности городков типа Хэнрэтти, где выросла сама Роза. Он обещал мужественность, приправленную страданием, нежностью и лукавством.

Появился хозяин дома — в бархатном комбинезоне — и взял юношу за другую руку, более-менее символически, одновременно чмокнув Розу в щеку — он не видел ее, когда она пришла.

— Роза, надо будет поговорить, — неискренне пробормотал он.

На самом деле он надеялся отвертеться от разговора, слишком уж сложно все было — и то, что в прошлом году он жил с другой девушкой, и то, что в конце прошлого семестра он провел ночь с Розой. Той ночью было много спиртного, похвальбы и жалоб на неверность, а также некоторое количество странно унизительного, но все же приятного секса. Сейчас хозяин дома похудел, но стал как-то мягче, причесанный и ухоженный,

с летящими волнистыми волосами, в костюме из бутылочно-зеленого бархата. Он всего на три года моложе Розы, а поглядите-ка на него. Скинул с себя жену, семью, дом, унылое будущее, обзавелся новой одеждой, новой мебелью и чередой любовниц-студенток. Мужчинам такое удается.

— Ничего себе. — Роза привалилась к стене. — Что это было?

Стоящий рядом гость, который все это время улыбался и смотрел к себе в стакан, сказал:

— О, эта утонченная современная молодежь! Какое грациозное владение языком, какая глубина чувств! Нам остается лишь склониться перед ними.

Вернулся курчавый черноволосый мужчина, молча забрал у Розы пустой стакан и протянул ей новый, полный.

Хозяин дома тоже вернулся:

— Роза, милая, я даже не знаю, как он сюда пролез. Я сказал, никаких студентов, блин. Должны же мы хоть где-то от них отдыхать.

— Он у меня учился в прошлом году, — сказала Роза.

Больше она в самом деле ничего не помнила. Она поняла: все думают, что между нею и этим мальчиком было что-то большее.

— Что, метил в актеры? — спросил стоящий рядом. — Наверняка. Помните старое доброе время, когда вся молодежь хотела быть юристами, инженерами и топ-менеджерами? Говорят, те дни возвращаются. Надеюсь. Очень надеюсь. Роза, я уверен, что вы позволили ему поплакаться вам в жилетку. Этого никогда нельзя делать. Наверняка все именно так и было.

— Ну… может быть.

— Они вечно ищут заместителя мамочки. Что может быть банальней. Потом они таскаются за вами, боготворят вас, дергают постоянно, и вдруг — бабах! — пришло время поднять бунт против мамочки-заместителя!

Роза выпила, снова прислонилась к стене и стала слушать общий разговор о том, чего нынешние студенты ожидают как должного, как они колотятся к преподавателям в дверь, чтобы поведать о своих абортах, попытках самоубийства, творческих кризисах, проблемах с весом. И вечно одни и те же слова: личность, ценности, отвержение.

— Я тебя не отвергаю, болван, я говорю, что ты провалил этот курс! — произнес остролицый человечек, торжествующе пересказывая историю своей стычки с одним таким студентом.

Все посмеялись. Потом опять посмеялись после реплики одной молодой женщины:

— Боже, какой контраст с моими студенческими годами! Для нас было так же немыслимо употребить слово «аборт» в разговоре с преподавателем, как насрать на пол в помещении кафедры.

Роза тоже смеялась, но в глубине души была раздавлена. В каком-то смысле было бы лучше, если бы тут в самом деле что-то крылось, как заподозрили все. Если бы у нее что-то было с этим мальчиком. Если бы она ему что-то обещала, предала его, унизила. Но она ничего не помнила. Он вырос как из-под земли и обвинил ее. Наверняка она ему что-то сделала, но она ничего не помнила. Если честно сказать, она не запоминала ничего связанного со студентами. Она была заботлива и очаровательна, воплощенная душевность и терпимость к чужим недостаткам; она выслушивала и давала советы; а потом даже имя студента забывала. И из того, что им говорила, не помнила ни слова.

Какая-то женщина коснулась ее руки.

— Проснитесь, — сказала она хитро-интимным тоном, и Роза подумала, что, видимо, и с этой женщиной уже когда-то встречалась.

Еще одна студентка? Но нет, та назвала свое имя.

— Я пишу исследование о женских самоубийствах. То есть о самоубийствах женщин-художников.

Она сказала, что видела Розу по телевизору и жаждет с ней поговорить. Она упомянула Диану Арбус, Вирджинию Вулф, Сильвию Плат, Энн Секстон, Кристиану Пфлюг. Она много знала. Роза подумала, что женщина и сама выглядит вероятной кандидаткой в самоубийцы: иссохшая, бескровная, одержимая. Роза сказала, что хочет есть, и женщина пошла за ней на кухню.

— А уж актрис столько, что и не сосчитать, — продолжала та. — Маргарет Саллаван…

— Я теперь только преподаю.

— О, ерунда. Я не сомневаюсь, вы актриса до мозга костей.

Хозяйка напекла хлеба: глазированного, плетеного, с узорами. Роза изумилась усилиям, которые тратились на хозяйство в этом доме. Хлеб, паштет, цветы в подвесных горшках, котята — и все во имя зыбкого и шаткого домашнего очага. Роза жалела, часто жалела, что сама не способна на такие усилия, что не может совершать ритуалы, задавать тон, печь хлеб.

Она заметила группу преподавателей помоложе — она сочла бы их студентами, если бы не слова хозяина чуть раньше. Молодые люди сидели на кухонных столах и стояли у раковины, ведя общий тихий и серьезный разговор. Один из них посмотрел на Розу. Роза улыбнулась. Ответа на улыбку не было. Еще один-два человека взглянули на нее и вернулись к разговору. Роза не сомневалась: они говорят о ней, о том, что произошло в гостиной. Она предложила женщине хлеба и паштета. Расчет был на то, что, жуя, женщина замолчит и тогда Роза сможет расслышать, о чем говорит молодежь.

— Я никогда не ем в гостях.

Женщина заметно помрачнела, и в ее речи, обращенной к Розе, послышались обвиняющие нотки. Роза узнала, что она — жена кого-то из преподавателей. Возможно, ее приглашение было ходом в офисной политике? А Розу ей обещали как часть этого хода?

— Вы всегда такая голодная? И вам никогда не бывает плохо? — спросила женщина.

— Я всегда голодная, когда кормят так вкусно, — ответила Роза. Она взяла еды только для того, чтобы увлечь собеседницу своим примером, — на самом деле она ужасно волновалась, желая услы-

шать, что о ней говорят, и от волнения ей трудно было жевать и глотать. — И я очень редко болею.

Она с удивлением поняла, что это правда. Раньше у нее все время были то простуды, то грипп, то спазмы, то головные боли; теперь эти четко определенные болезни исчезли, и на их место пришел ровный низкий гул беспокойства, усталости и дурных предчувствий.

«Завистливые сволочи, окопались на тепленьких местечках».

Роза отчетливо услышала эту фразу — или подумала, что услышала. Они бросали на нее быстрые презрительные взгляды. Во всяком случае, так ей казалось: она не могла смотреть прямо на них. Сволочи на тепленьких местечках. Это про нее. Разве? Разве она имеет какое-то отношение к тепленьким местечкам? Она, Роза, которой пришлось взяться за преподавание, потому что актерской работы ей давали мало и ей не хватало на жизнь? Которую взяли преподавать за ее опыт в театре и на ТВ, но срезали ставку, потому что у нее нет диплома по профилю? Она хотела подойти к молодым людям и сказать им об этом. Хотела произнести речь в свою защиту. Годы труда, изнеможения, скитаний, школьные актовые залы, нервы, тоска. Не знать, кто и когда заплатит

тебе в следующий раз. Она хотела воззвать к их жалости, чтобы они простили ее, полюбили и приняли к себе. Она хотела быть на их стороне, а не на стороне людей в гостиной, которые за нее заступились. Но Роза сделала выбор из трусости, а не потому, что правда была на стороне этой молодежи. Роза боялась этих молодых людей. Боялась их жестокой добродетели, их холодных презрительных лиц, их тайн, их смеха, их непристойностей.

Она подумала об Анне, своей дочери. Анне семнадцать лет. У нее длинные светлые волосы, а на шее — тонкая золотая цепочка. Очень тонкая — нужно вглядеться, чтобы увидеть, что это именно цепочка, а не просто блик на гладкой, светлой коже. Анна была не такой, как эти молодые люди, но столь же отчужденной. Она каждый день ходила на балетные репетиции и ездила верхом, но не собиралась ни стать балериной, ни участвовать в соревнованиях по выездке. «Почему же?» — «Потому что это было бы глупо».

Что-то в манере Анны, тонкая цепочка, паузы в разговоре напоминали Розе бабушку Анны, мать Патрика. Но с другой стороны, думала Роза, возможно, что Анна так молчалива, придирчива и неприветлива только с матерью.

Черноволосый курчавый мужчина стоял в дверях кухни, глядя на Розу нахально, с иронией.

— Вы знаете, кто это? — спросила Роза у специалистки по самоубийствам. — Тот, кто увел этого пьяного?

— Это Симон. Я не думаю, что мальчишка был пьян, — мне кажется, это наркотики.

— Чем он занимается?

— Ну, наверно, студент какой-нибудь.

— Нет, — сказала Роза. — Я про Симона.

— А, Симон. Он работает на кафедре классической литературы. По-моему, он не всегда преподавал.

— Как и я, — сказала Роза и послала Симону улыбку, только что не сработавшую на молодых людях. Усталая, зависшая в пустоте, ничего не соображающая Роза начала ощущать знакомые шевеления, признаки, что ветер скоро переменится.

Если он улыбнется в ответ, значит жизнь начинает налаживаться.

Он улыбнулся, а специалистка по самоубийствам резко произнесла:

— Вы что, ходите в гости, только чтобы знакомиться с мужчинами?

* * *

Когда Симону было четырнадцать лет, он, его старшая сестра и еще один мальчик, их приятель, прятались в товарном вагоне, перебираясь из оккупированной части Франции в свободную. Они направлялись в Лион, где о них должны были позаботиться, переправить в безопасное место — этим занималась организация по спасению еврейских детей. Симона и его сестру уже вывезли из Польши в начале войны, к родственникам во Францию. И вот теперь им снова пришлось бежать.

Товарный поезд остановился. Он стоял неподвижно — среди ночи, где-то за городом. Дети слышали, как перекликаются по-французски и по-немецки. В передних вагонах поезда слышался шум. Скрежетали, открываясь, двери, грохотали сапоги по голым полам вагонов, и полы тряслись. Обыск поезда. Дети прикрылись какими-то мешками, но лица спрятать даже не пытались: они знали, что надежды нет. Голоса все приближались. Захрустел гравий под сапогами. Тут поезд дернулся. И тронулся — так медленно, что дети даже не сразу заметили, а заметив, решили, что это маневры или вагоны отводят на запасный

путь. Они ждали, что поезд опять остановится и обыск продолжится. Но поезд шел. Он ускорил ход, сперва чуть-чуть, потом еще чуть-чуть. Потом набрал обычную скорость (не такую уж и большую). Они ехали, они укрылись от обыска, их везли дальше. Симон так и не узнал, что случилось. Опасность миновала.

Он сказал: когда он понял, что опасность миновала, то вдруг почувствовал, что они выберутся, что теперь с ними ничего не может случиться, что им сопутствует особое благословение, удача. Он воспринял случившееся как счастливый знак.

Роза спросила, встретился ли он потом с сестрой и приятелем.

— Нет. После Лиона — нет.

— Значит, повезло только тебе.

Симон засмеялся. Они лежали в постели — в Розиной постели, в старом доме на окраине деревни, выросшей на скрещении дорог. Они приехали с вечеринки прямо сюда. Был апрель, дул стылый ветер, и у Розы в доме было холодно. Мощности отопительного котла не хватало. Симон положил руку на обои за кроватью и показал Розе, какой там идет сквозняк.

— Что тебе нужно, так это теплоизоляция.

— Я знаю. Ужасно. И ты бы видел мои счета за

топливо.

Симон сказал, что ей нужна дровяная печь. Он рассказал ей, какие бывают дрова. Клен, сказал он, топить кленом очень хорошо. Потом он начал рассказывать о разных видах теплоизоляции. Пенополистирол, «микафил», стекловолокно. Он вылез из кровати и зашлепал босиком по дому, осматривая стены. Роза крикнула ему вслед:

— Я вспомнила! Это был грант!

— Что? Не слышу.

Она вылезла из кровати и закуталась в одеяло. Стоя наверху лестницы, она сказала:

— Тот мальчик, он приходил ко мне с заявкой на грант. Он хотел стать драматургом. Я только сейчас вспомнила.

— Какой мальчик? А!

— Но я же его рекомендовала, я точно знаю.

Правду сказать, она рекомендовала абсолютно всех, кто об этом просил. Если у просящего не было никаких достоинств, Роза говорила себе, что, значит, просто не способна их увидеть.

— Наверно, ему не дали тот грант. Вот он и решил, что это я подставила ему подножку.

— Ну а даже если бы и так? — сказал Симон, вглядываясь в коридор, идущий к погребу. — Ты была бы полностью в своем праве.

— Я знаю. Но я боюсь этой компании. Ужасно не люблю, когда они меня не одобряют. Они так добродетельны.

— Они вообще не добродетельны, — сказал Симон. — Сейчас я обуюсь и посмотрю на твой котел. Скорее всего, тебе надо прочистить фильтры. У них просто манера общения такая. Нечего их бояться — они не умней всех остальных. Просто хотят откусить кусок власти. И это естественно.

— Но откуда такое злопы… — она запнулась, и ей пришлось начать слово с самого начала, — злопыхательство? Только из-за амбиций?

— Отчего же еще? — спросил он, поднимаясь по лестнице. Потянул за край одеяла, завернулся в него вместе с Розой и чмокнул ее в нос. — Хватит, Роза. У тебя совесть есть? Я простой рабочий человек, зашел посмотреть на ваш котел. Ваш котел в подвале. Простите, мадам, что я на вас так наткнулся.

Она уже познакомилась с некоторыми его персонажами. Сейчас перед ней стоял Простой Рабочий Человек. Был еще Старый Философ, который выходил из туалета, низко кланяясь ей на японский манер и бормоча: «Ментo мори, ментo мори». И еще — когда требовала ситуация — Безумный Сатир: он кидался на нее, впивался,

торжествующе чмокал ее в живот.

В лавке у перекрестка она купила натурального кофе вместо растворимого, жирные сливки, бекон, мороженую брокколи, кусок местного сыра, банку крабов, наиболее пристойные помидоры, грибы, длиннозерный рис. И сигареты. Она была в том состоянии счастья, когда оно кажется абсолютно естественным и вечным. Спроси ее кто-нибудь, она сказала бы, что это из-за погоды — день был солнечный, несмотря на резкий ветер, — в неменьшей степени, чем из-за Симона.

— У вас, похоже, гости, — сказала хозяйка лавки. Она говорила без удивления, злобы или упрека — с чем-то вроде дружеской зависти.

— Да, совершенно неожиданные. — Роза вывалила на прилавок еще охапку продуктов. — Одна головная боль. И расходы. Поглядите, сколько стоит этот бекон. И сливки.

— Я бы от такого не отказалась, — заметила хозяйка.

* * *

Симон приготовил из всего этого потрясающий ужин. Розе не пришлось ничего делать, только смотреть. Еще она поменяла постельное белье на кровати.

— Деревенская жизнь, — произнесла она. — Я приехала сюда, представляя, как я буду жить. Мне виделись долгие прогулки по проселочным дорогам. В первый раз, как я вышла погулять, я услышала издалека шум машины — она неслась, расшвыривая гравий. Я убралась с дороги подальше. Потом послышались выстрелы. Я была в ужасе. Я спряталась в кустах, и мимо меня проехала машина — она виляла по всей дороге, и из нее палили по кустам. Я вернулась наискосок через поля и сказала продавщице в магазине, что надо вызвать полицию. Она сказала: ах да, по выходным парни затариваются ящиком пива и ездят стрелять сурков. А потом добавила: а что вы вообще делали на той дороге? Я поняла, что одинокая прогулка в ее глазах будет выглядеть гораздо подозрительней стрельбы в сурков. И такого было много. Я думала уехать, но отсюда мне близко до работы, и за жилье платить недорого. А продавщица на самом деле хорошая женщина. Она предсказывает будущее. Гадает на картах и на чайной гуще.

Симон рассказал, что из Лиона его послали работать на ферму в горах Прованса. Там люди жили и возделывали землю почти так же, как в средневековье. Они не умели ни читать, ни

писать, ни говорить по-французски. Если кто-то из них заболевал, то они ждали, пока больной не выздоровеет или не умрет. Они никогда в жизни не видели врача, хотя раз в год в деревню приезжал ветеринар и осматривал коров. Симон пропорол себе ногу вилами, рана загноилась, его лихорадило. Он с огромным трудом уговорил крестьян послать за ветеринаром, который в это время был в соседней деревне. Наконец они согласились. Ветеринар приехал и сделал Симону укол огромным лошадиным шприцем, и Симон выздоровел. Семье, в которой он жил, было удивительно и смешно, что такие меры принимаются ради человеческой жизни.

— Деревня…

— А здесь не так уж и плохо. Этот дом можно замечательно приспособить для жизни, — размышлял Симон. — Тебе надо бы завести огород.

— Да, это еще один из моих несбывшихся планов. Я пыталась что-то сажать, но ничего не вышло. Я хотела вырастить капусту — капуста, по-моему, очень красивый овощ. Но ее съели какие-то червяки. Они изгрызли все листья в кружево, и после этого листья пожелтели и опали.

— Капусту очень трудно растить. Тебе нужно попробовать что-нибудь полегче. — Симон ото-

шел от стола к окну. — Покажи мне, где у тебя был огород.

— Вдоль забора. Там же, где и у прежних хозяев.

— Это не годится. Слишком близко к каштану. Каштан плохо действует на почву.

— Я не знала.

— Ну так это правда. Надо сделать грядки ближе к дому. Завтра я вскопаю тебе огород. Нужно будет побольше удобрения. Лучше всего овечий навоз. Здесь поблизости кто-нибудь держит овец? Мы возьмем несколько мешков овечьего навоза и нарисуем план — где что сажать, хотя сейчас еще рано, еще будут заморозки. Ты можешь пока начать растить рассаду в доме, из семян. Помидоры.

— Ты же собирался уехать утренним автобусом, — сказала Роза; сюда он приехал с ней на ее машине.

— В понедельник у меня почти нет занятий. Позвоню и скажу, что не приду. Велю девочкам в офисе сказать, что у меня горло заболело.

— Горло?

— Ну, что-нибудь в этом роде.

— Как хорошо, что ты здесь, — искренне сказала Роза. — А то бы я сейчас сидела и думала не

переставая про этого мальчишку. Я бы старалась не думать, но все равно у меня это крутилось бы в голове. Я бы мучилась стыдом и унижением.

— Такая мелочь не стоит стыда и унижения.

— Я понимаю. Но мне много не надо.

— Учись не быть тонкокожей, — сказал Симон, словно внес это в список необходимых улучшений наряду с делами по дому и огороду. — Редиска. Зеленый салат. Лук. Картошка. Ты ешь картошку?

До того как он уехал, они вместе нарисовали план огорода. Симон вскопал грядки и подготовил почву, хотя навоз нашелся только коровий. Розе в понедельник нужно было на работу, но весь день она думала о Симоне. Как он копает грядку. Как он, голый, вглядывается в коридор, ведущий к погребу. Коротенький, плотный, волосатый, теплый, с мятым лицом комика. Она знала, что он скажет, когда она приедет домой. «Надеюсь, мадам, вы довольны моей работой». И начнет ломать воображаемую шапку.

Именно так он и поступил, и Роза была в таком восторге, что воскликнула:

— Ах, Симон, глупенький, ты же мужчина моей жизни!

Такое счастье, такое солнце разлито было в этой

минуте, что она не подумала об осторожности.

* * *

Посреди недели она зашла в магазин на перекрестке — не за покупками, а за гаданием. Продавщица заглянула в ее чашку и сказала:

— Ага! Вы встретили мужчину, который изменит все.

— Да, я тоже так думаю.

— Он изменит всю вашу жизнь. О боже. Вы не останетесь в наших краях. Я вижу славу. Я вижу воду.

— Ну, это я не знаю. Пока что он собирался утеплить мне дом.

— Перемены уже начались.

— Да, я знаю, начались. Да.

* * *

Она не смогла вспомнить, как они договорились насчет его следующего приезда. Ей казалось, что он должен появиться на выходные. Она ждала его — съездила за продуктами, причем не в лавку на перекрестке, а в супермаркет в нескольких милях от дома. Роза таскала в дом фирменные пакеты, надеясь, что хозяйка лавки не заметит. В

пакетах были свежие овощи, стейки, импортная черешня, камамбер, груши. Еще Роза купила вино и пару простыней, разрисованных стильными гирляндами из желтых и синих цветочков. Роза надеялась, что ее бледные окорока будут хорошо смотреться на этом фоне.

В пятницу вечером она постелила новое белье и выложила черешню в синюю вазу. Вино охлаждалось, сыр размягчался. Часов в девять раздался громкий стук — шутливый стук в дверь, которого ждала Роза. Она удивилась, что не услышала подъезжающей машины.

— Мне что-то одиноко стало, — сказала хозяйка лавки. — И вот я решила заглянуть на огонек… Ой, вы ждете своего гостя.

— Не то чтобы, — сказала Роза. У нее сердце запрыгало при стуке в дверь и до сих пор не успокоилось. — Я не знаю, когда он приедет. Может, завтра.

— Дождь очень противный.

Голос женщины звучал сердечно и деловито, словно Розу нужно было отвлечь или утешить.

— Тогда хорошо, если он не поедет на машине в такой дождь, — сказала Роза.

— Нет-нет, в такой дождь лучше не ездить.

Гостья запустила пальцы в коротко стрижен-

ные седые волосы, стряхивая дождевые капли. Роза знала, что нужно ее чем-нибудь угостить. Бокалом вина? А вдруг ее развезет, потянет на разговоры, она захочет остаться и прикончить бутылку. Перед Розой стоял человек, с которым она беседовала много раз. Можно сказать, почти подруга — если бы Розу спросили, нравится ли ей эта женщина, она сказала бы, что да. Но теперь Розе трудно было даже поздороваться с ней. Так было бы сейчас с любым, кто не Симон. Любой другой человек казался лишним, случайным, раздражающим.

Роза понимала, что теперь будет. Все повседневные восторги, утешения, развлечения отойдут в сторону; удовольствие от еды, сирени, музыки, ночного грома поблекнет. Для нее не будет больше радостей и наслаждений, кроме как лежать под Симоном, ничто не утешит ее, кроме желанных спазмов, конвульсий.

Она выбрала чай. Раз так получилось, можно еще раз посмотреть, что там в будущем.

— Неясно, — сказала гостья.

— Что — неясно?

— Я сегодня все вижу нечетко. Такое бывает. Нет, если честно, я не вижу его.

— Не видите?

— В вашем будущем. У меня ничего не выходит.

Роза решила, что это она из зависти, из желания навредить.

— Я не просто так о нем спрашиваю.

— Может, у меня лучше получится, если у вас есть какая-нибудь его вещь, я смогу на нее опереться. У вас есть что-нибудь, что он держал в руках?

— Только я, — сказала Роза. Дешевая похвальба, от которой гадалка была обязана засмеяться.

— Нет, серьезно.

— По-моему, нет. Его окурки я выкинула.

* * *

Когда гадалка ушла, Роза села и стала ждать. Скоро наступила полночь. Дождь лупил изо всех сил. Роза снова взглянула на часы: без двадцати два. Как столь пустое время проходит так быстро? Она выключила свет, чтобы ее не подловили за бодрствованием. Она разделась, но не смогла лечь на свежие простыни. Она сидела на кухне, в темноте. Время от времени она заваривала свежий чай. В комнату проникало немножко света от уличного фонаря, стоящего на углу. В деревне были яркие уличные фонари, с газораз-

рядными ртутными лампами. Роза видела свет фонаря, часть магазина, ступеньки церкви через дорогу. Церковь уже не служила построившей ее скромной и респектабельной протестантской конфессии, но провозглашала себя Храмом Назарета и Центром Святости, что бы это ни значило. Окрестная жизнь была не такой уж простой и правильной, но раньше Роза этого не замечала. В домах жили не фермеры, удалившиеся от дел; да и ферм, с которых они могли бы удалиться, в окрестностях больше не было — лишь скудные поля, заросшие можжевельником. Местные жители работали миль за тридцать-сорок отсюда — на фабриках, в психиатрической больнице — или вообще не работали, вели жизнь, составленную из размеренного безумия, под сенью Центра Святости. В здешней жизни явно прибавилось безнадежности, а когда женщина в возрасте Розы сидит ночью на темной кухне в ожидании любовника — что может быть безнадежней? И ведь она сама создала это положение, все своими руками, — кажется, жизнь ее вообще ничему не учит. Она сделала из Симона костыль, на который подвесила все свои надежды, и теперь ей ни за что не удастся превратить его обратно в человека.

Она подумала, что зря купила вино, и простыни, и сыр, и черешню. Тщательные приготовления — верная дорога к провалу. Но Роза не понимала этого до момента, когда открыла дверь и стук ее сердца обратился из радостного в унылый, словно бодрый колокольный перезвон комически (для всех, кроме Розы) перешел в скрежещущий вой туманной сирены.

За долгие часы в дождливой ночи она хорошо представила себе, что теперь будет. Она прождет все выходные, выдумывая разные оправдания для Симона, и ей будет все хуже и хуже от неопределенности. Она будет бояться выйти из дому, чтобы не пропустить телефонный звонок. В понедельник, вернувшись на работу — оглушенная, но слегка утешенная реальностью окружающего мира, — Роза наберется храбрости и напишет Симону записку, отправив ее на адрес кафедры классической литературы.

> *«Может, начнем посадки в огороде в следующие выходные? Я накупила семян* [это была неправда, но она собиралась купить их, если бы он откликнулся]. *Дай мне знать, приедешь ли ты, но если у тебя другие планы, то ничего страшного».*

Потом она забеспокоится: не слишком ли холодно звучит это упоминание о других планах? А если его убрать — не будет ли записка слишком назойливой? Вся ее уверенность в себе, вся легкость на сердце начнут утекать через брешь, но Роза попытается их подделать.

> *«Если будет слишком сыро для огородных работ, можно поехать покататься на машине. Можно даже сурков пострелять. Пока. Роза».*

Потом снова начнется ожидание, по сравнению с которым эти выходные — лишь несерьезная разминка, скомканное вступление в серьезный, всеобъемлющий, мучительный ритуал. Роза будет совать руку в почтовый ящик и не глядя вытаскивать ворох почты; упорно сидеть в колледже до пяти часов вечера; загораживать телефон подушкой, делая вид, что не обращает на него внимания. По принципу «если не смотреть на чайник, он закипит быстрее». Она будет засиживаться ночами над выпивкой, и эта глупость не надоест ей настолько, чтобы все разом прекратить, потому что ожидание будет перемежаться такими вечнозелеными, свежими надеждами, такими убедительными оправдани-

ями его намерений! На определенном этапе она сама себя убедит, что он, конечно же, заболел — иначе никогда не покинул бы ее. Она позвонит в Кингстон, в городскую больницу, спросит о его состоянии, и ей скажут, что такого пациента у них нет. На другом этапе она пойдет в библиотеку колледжа, возьмет архивную подшивку кингстонской газеты и станет читать некрологи, чтобы узнать, не сыграл ли он случайно в ящик. Потом, окончательно сдавшись, холодная и дрожащая, она позвонит ему в университет. Девушка в канцелярии скажет, что он уехал. В Европу, в Калифорнию; он преподавал в университете только один семестр. Ушел в поход, уехал в свадебное путешествие.

А может, девушка в канцелярии скажет: «Минуточку» — и переключит Розу на него, вот так, запросто.

— Алло?

— Симон?

— Да.

— Это Роза.

— Роза?

Нет, конечно, все не будет так ужасно. Будет гораздо хуже: «Я собирался тебе позвонить», или «Роза, как ты поживаешь?», или даже «Как там

твой огород?».

Лучше потерять его сразу. Но, проходя мимо телефона, она положила на него ладонь — может быть, пощупать, не теплый ли, а может, подбодрить.

В понедельник утром, еще затемно, Роза уложила все, что, по ее мнению, могло понадобиться, на заднее сиденье машины и заперла дверь, так и бросив слезящийся камамбер на кухонном столе. Она двинулась на запад. Она предполагала, что пробудет в отъезде дня два, пока не придет в себя и не сможет спокойно смотреть на простыни, вскопанные грядки и тот кусок обоев за кроватью, куда она положила руку, чтобы ощутить сквозняк. (Но если так, зачем же она взяла с собой сапоги и зимнее пальто?) Она написала письмо в свой колледж — она умела виртуозно лгать в письмах, но не по телефону, — в котором сообщала, что должна срочно ехать в Торонто, так как ее близкий друг смертельно болен. (Может, эта ложь была и не очень виртуозной, — может, тут Роза перехватила.) Она не спала почти все выходные и непрерывно пила — понемногу, но все время. «Я не собираюсь этого терпеть», — громко сказала она, когда грузила вещи в машину. Скрючиваясь на водительском месте, чтобы написать письмо

— хотя это было бы гораздо удобней сделать в доме, — она думала обо всех безумных письмах, написанных ею за всю свою жизнь, нелепых отговорках, которые она придумала, покидая очередное место или боясь покинуть очередное место из-за очередного мужчины. Никто не ведал всех масштабов ее глупости; люди, с которыми она дружила по двадцать лет, не знали половины историй ее бегства, не знали, сколько денег она потратила, как и чем рисковала. Вот она я, думала она чуть позже, за рулем, выключая дворники, когда дождь наконец перестал, — в десять утра в понедельник, останавливаясь на заправке; останавливаясь, чтобы снять деньги со счета, когда открылись банки; она была деловита и бодра, она помнила, что ей нужно сделать, и кто бы догадался, какое унижение, какие воспоминания об унижениях и какие предчувствия бились у нее в голове? А постыдней всего была надежда — та, что поначалу так коварно роет подкоп, хитро маскируясь (впрочем, ненадолго). Через неделю она уже порхает и чирикает и распевает гимны у райских врат. Она и сейчас уже принялась за работу, нашептывая Розе, что, может быть, в эту самую минуту Симон заворачивает машину на дорожку у ее дома, стоит у двери, сложив ладони

— умоляя, издеваясь, извиняясь. Мементо мори.

Но даже так, даже если это правда — что случится в один прекрасный день, как-нибудь утром? Как-нибудь утром она проснется и поймет по его дыханию, что он лежит без сна рядом с ней и не касается ее и что ей тоже не следует касаться его. Женские касания так часто бывают просьбами (Роза узнала бы это, или заново узнала бы, от него); женская нежность — это жадность, женская чувственность — корыстна. И Роза, лежа рядом с ним, начнет мечтать о каком-нибудь ярко выраженном изъяне: тогда ее стыд сможет свернуться вокруг этого изъяна, окружить его защитным кольцом. В отсутствие такого изъяна она вынуждена будет стыдиться себя всей, факта своего физического существования в целом, наглого, вездесущего, всепоглощающего, тлетворного факта. Ее плоть покажется обреченной: толстой и пористой, серой и пятнистой. Его тело под вопросом не будет, никогда; это он имеет власть осуждать или прощать, а откуда ей знать, простит ли он ее когда-нибудь? Он может сказать «иди ко мне» или «убирайся». После Патрика она уже никогда не была в отношениях независимой стороной, той, которая диктует свои условия; может, она исчерпала всю свою власть — весь

запас, который был ей отпущен.

А может, она вдруг услышит его голос на очередной вечеринке: «И тогда я понял, что опасность миновала. Я понял, что это добрый знак». Это он будет рассказывать свою историю какой-нибудь шлюховатой девице в шелке леопардовой расцветки — или, что еще хуже, кроткой длинноволосой девушке в вышитой сорочке, и эта девушка рано или поздно возьмет его за руку и уведет через дверной проем в комнату или пейзаж, куда Роза не сможет за ними последовать.

Да, но разве не может быть так, что ничего этого не случится? Разве не может быть так, что будет только доброта, и овечий навоз, и непроглядные весенние ночи с хором лягушек? То, что он — в первые же выходные — не появился и не позвонил, может вообще ничего не значить. Просто у него другой темп; и это вовсе не зловещий признак. С такими мыслями Роза притормаживала каждые миль двадцать и даже искала место, где бы развернуться. Но все же не разворачивалась, прибавляла скорость, думая, что проедет чуть дальше, чтобы уже точно прочистить мозги. И ее опять затапливала память о том, как она сидит на кухне, и чувство потери. Так и продолжалось — туда-сюда, словно машину тянул назад

огромный магнит, и притяжение то нарастало, то убывало, то нарастало, то убывало, но никогда не усиливалось настолько, чтобы заставить Розу развернуться. Через некоторое время она уже ощущала некое безличное любопытство — это притяжение стало казаться ей настоящей физической силой, и Роза начала задумываться, не слабеет ли оно с расстоянием. Вдруг где-то впереди, в какой-то определенной точке Роза вырвется из-под действия этой силы, почувствует момент, когда ее перестало тянуть назад?

И она все ехала вперед. Маскока; Лейкхед; граница с Манитобой. Иногда Роза спала в машине, поставив ее на обочине, по часу или около того. В Манитобе стало слишком холодно для этого, и Роза остановилась в мотеле. Она ела в придорожных ресторанах. Прежде чем войти в ресторан, она причесывалась, красилась и делала особое выражение лица, отстраненное, кроткое, близорукое, характерное для женщин, которые подозревают, что на них смотрит какой-нибудь мужчина. Не то чтобы она ждала, что в ресторане обнаружится Симон, но, кажется, не исключала этого полностью.

Притяжение в самом деле слабело пропорционально расстоянию. Все очень просто, хотя потом

Роза думала, что для достижения нужного эффекта дистанцию следует покрывать на машине, автобусе или велосипеде; полет на самолете не поможет. В городке где-то в прериях, откуда уже виднелись Кипарисовые холмы, она ощутила перемену. Она ехала всю ночь, пока солнце не взошло прямо у нее за спиной, и чувствовала спокойствие и ясность мысли — так всегда бывает с людьми в похожем положении. Она остановилась у кафе и заказала яичницу и кофе. Она сидела у прилавка, разглядывая обычные вещи, которые бывают за прилавком кафе, — стеклянные колбы кофеварки, ярко окрашенные (скорее всего, залежалые) куски пирога с малиновой и лимонной начинкой, толстые стеклянные креманки для мороженого и желе. Именно при взгляде на эти креманки она поняла, что ее состояние изменилось. Роза не стала бы утверждать, что нашла их форму особо приятной или выразительной, — это означало бы погрешить против истины. Она могла бы сказать только, что увидела их взглядом, который никак не мог принадлежать человеку в какой-либо из стадий любви. Она с блаженством человека, приходящего в себя после долгой болезни, ощущала их плотность, вещественность, и тяжесть этого блаженства приятно оседала у

нее в голове и ногах. Только теперь она поняла, что входила в кафе даже без намека на мысли о Симоне, так что, по-видимому, мир перестал быть сценой, где Роза могла бы его встретить, и стал опять сам собой. Во время этого дивно ясного получаса — пока от завтрака на нее не накатила такая сонливость, что она заехала в мотель и уснула в номере одетая, при распахнутых солнцу занавесках, — она думала о том, как любовь уничтожает для тебя весь мир: и счастливая любовь, и тем более несчастная. Это не должно было удивить Розу и не удивило; удивило ее то, что она так жаждала и требовала для себя всего и сразу — простого и грубого, как те креманки, и теперь ей казалось, что, может быть, она бежит не столько от разочарования, потерь, разрушения, сколько от противоположных им вещей — праздника и потрясения любви, ослепительного переворота. Даже если все это окажется безопасным, она не сможет его принять. Так ли, эдак ли, а что-то у тебя отнимается: пружина внутреннего балансира, маленькое сухое ядрышко самости. Так думала Роза.

Она написала в колледж, что в Торонто, навещая умирающего друга, встретила старого знакомого, он предложил ей работу на западном

побережье и она немедленно выезжает туда. Роза допускала, что руководство колледжа может попортить ей жизнь, но также полагала (и правильно), что они не станут связываться — у нее с ними была очень неформальная договоренность, и платили ей тоже в нарушение каких-то правил. Роза написала в агентство, через которое снимала дом, и еще — хозяйке лавки, желая ей удачи и прощаясь. На шоссе Хоуп — Принстон она вылезла из машины и встала под прохладным дождем, поливающим прибрежные горы. Она чувствовала себя в относительной безопасности, а еще — усталой и полностью нормальной психически, хотя знала: в ее прошлом есть люди, которые не согласятся с последним пунктом.

Ей сопутствовала удача. В Ванкувере Роза наткнулась на знакомого, который как раз подбирал актерский состав для нового телесериала. Сериал должны были снимать на западном побережье. Это была история семьи — или псевдосемьи, — состоящей из эксцентричных людей, дрейфующих по жизни наугад и использующих дом на острове Солт-Спринг как жилье или что-то вроде перевалочного пункта. Розе досталась роль владелицы дома, псевдоматери. Точно как она написала в письме: работа на западном побережье, воз-

можно лучшая, что у нее когда-либо была. Розу должны были гримировать с использованием особых технологий, чтобы состарить лицо; гример шутил, что если сериал окажется успешным и будет идти несколько лет, то в конце концов эти особые методы уже не понадобятся.

Модным словечком на западном побережье было «хрупкий». Люди говорили, что сегодня чувствуют себя «хрупко», или упоминали о своем «хрупком состоянии». Только не я, отвечала обычно Роза. Я точно знаю, что сделана из старой дубленой лошадиной шкуры. Она уже начинала осваивать кое-какие обороты речи, манеры, которые понадобятся ей по роли.

* * *

Через год или около того Роза стояла на палубе парома, одного из многих, что ходят по Британской Колумбии. На ней был поношенный свитер, волосы замотаны платком. Она должна была красться между шлюпок, следя за хорошенькой молодой девушкой, которая мерзла в джинсах с отрезанными штанинами и маечке с открытой спиной. По сценарию женщина, которую играла Роза, боялась, что эта девушка прыгнет в воду, потому что беременна.

Съемка собрала приличную толпу зевак. Когда эпизод отсняли и актеры пошли под навес на палубе, чтобы накинуть пальто и выпить кофе, какая-то женщина из толпы потянулась к Розе и коснулась ее руки.

— Вы меня не вспомните, — сказала она, и Роза действительно ее не вспомнила.

Женщина заговорила про Кингстон, про ту пару, что тогда принимала гостей, даже про смерть Розиного кота. Роза узнала ее — это она тогда собиралась писать о самоубийцах. Но теперь женщина выглядела совсем по-другому — дорогой бежевый брючный костюм, на голове бело-бежевый шарф. Она уже не была потрепанной, жилистой, в бахроме, утратила бунтарский вид. Она представила Розе мужа, который хрюкнул, словно хотел сказать: «Если ты думаешь, что я начну вокруг тебя плясать, то сильно ошибаешься». Муж пошел куда-то, а женщина сказала:

— Бедный Симон. Он умер, как вам известно.

После этого она осведомилась, будут ли сегодня снимать еще что-нибудь. Роза знала, почему женщина об этом спрашивает. Она хотела затесаться в толпу на заднем плане — а может, и на переднем, — чтобы потом позвонить друзьям и сказать: меня будут показывать по телевизору.

Если она станет звонить людям, которые были на той вечеринке, то ей придется сказать: она знает, что сериал — полная дребедень, но ее очень уговаривали и она решила сняться шутки ради.

— Умер?

Женщина сняла шарф, и ветер сдул ей волосы на лицо.

— Рак поджелудочной железы, — сказала она и встала лицом против ветра, чтобы опять намотать шарф на голову устраивающим ее образом.

Розе показалось, что женщина хитрит и знает больше, чем рассказывает.

— Не знаю, насколько хорошо вы были знакомы, — сказала женщина.

Может, она это нарочно — намекает Розе, что сама-то с Симоном была близка? Может быть, эта хитрость — на самом деле просьба о помощи, а может, попытка измерить степень Розиной победы или удивления. Женщина прижала подбородок к груди, завязывая шарф узлом.

— Очень печально, — уже деловито сказала она. — Печально. Он давно болел.

Кто-то звал Розу: ей пора было обратно на съемки. Девушка не бросилась в море. У них в сериале такого не случалось. Всегда что-нибудь такое грозило произойти, но в конце концов не

происходило, разве что изредка, и то с эпизодическими или неприятными персонажами. Зрители доверялись авторам сериала и знали, что их оберегают от предсказуемых трагедий, а также от внезапных сдвигов, ставящих под вопрос весь сюжет, от беспорядка, что требует новых суждений и новых решений, требует распахнуть окно, за которым — неподобающий, навеки врезающийся в память пейзаж.

Смерть Симона показалась Розе именно таким беспорядком. Было нелепо и нечестно, что такое важное известие утаили и что Роза даже до сего дня могла считать себя единственным человеком, который по большому счету бессилен.

По буквам

В былые дни, в эпоху лавки, Фло говорила, что может определить, когда какая-нибудь женщина вот-вот съедет с катушек. Первым признаком часто служило что-то необычное на голове или на ногах. Хлопающие галоши среди лета. Резиновые сапоги или тяжелые мужские рабочие ботинки. Женщины могли объяснять это мозолями, но Фло-то знала. Это было нарочно, чтобы возвестить всему миру. Потом появлялись старая фетровая шляпа, рваный плащ в любую погоду, штаны, подпоясанные веревкой, драные шарфы неопределенного цвета, многослойные свитеры с распускающейся вязкой.

Часто дочь повторяла сценарий матери. Это сидит в человеке с самого начала. Волны безумия — они подступают, как прилив, неумолимые, как хихиканье, идут откуда-то из глубин и постепенно завладевают тобой полностью.

Они часто рассказывали Фло свои истории. Фло поддакивала: «Да неужели? Это просто стыд-позор!»

У меня пропала терка для овощей, и я знаю,

кто ее взял.

Когда я раздеваюсь перед сном, приходит мужик и смотрит на меня. Я опускаю жалюзи, и тогда он подглядывает в щелку.

У меня украли два бурта картошки. Банку персиков, целых, консервированных. Хорошие утиные яйца.

Одну из этих женщин в конце концов увезли в окружной дом престарелых. Фло рассказывала, что первым делом ее там искупали. Потом подстригли ей волосы, отросшие, как копна сена. Персонал дома престарелых ожидал, что в волосах что-нибудь найдется — дохлая птица или мышиное гнездо со скелетиками мышат. Нашлись репьи, сухие листья и пчела — должно быть, запуталась и билась, пока не погибла. Срезав волосы ближе к корням, санитарки обнаружили старую холщовую шляпу. Она сопрела на голове у женщины, и волосы пробились через нее, как трава через проволочную сетку.

* * *

Фло завела привычку постоянно держать стол накрытым, чтобы не трудиться накрывать его каждый раз перед едой. Клеенка была липкая, на ней вырисовывались очертания тарелки и

блюдца — отчетливые, как контуры картин на засаленной стене. Холодильник был полон едко пахнущих остатков, темных корок, мохнатых мелочей. Роза принялась за дело — чистила, скребла, шпарила кипятком. Иногда на кухню заявлялась Фло — тяжко ступая, опираясь на две палки. Она могла вообще не обратить внимания на Розу. Порой она брала кувшин с кленовым сиропом и пила из носика, будто вино. Она стала сладкоежкой, ее неудержимо тянуло на лакомства. Коричневый сахар ложками, кленовый сироп, консервированные пудинги, желе — сгустки сладости, скользящие в горло. Курить Фло бросила — видно, боялась пожара.

Однажды она сказала:

— Что вы там делаете за прилавком? Скажите, что вам нужно, и я достану.

Она думала, что кухня — это лавка.

— Я Роза, — медленно и громко произнесла Роза. — Мы на кухне. Я убираюсь на кухне.

Распорядок в кухонном царстве: установленный издавна, загадочный, эксцентричный, отражение самой Фло. Большая кастрюля — в духовке, средняя — под горшком для варки картофеля на угловой полке, маленькая — висит на гвозде у раковины. Дуршлаг — под раковиной. По-

судные полотенца, вырезки из газеты, ножницы, формы для выпечки маффинов — все развешано на гвоздях. Стопки счетов и писем — на швейной машине, на полочке у телефона. Можно подумать, что их положили туда день-два назад, но на самом деле они были многолетней давности. Роза наткнулась на собственные письма, вымученно-оживленные. Ложные вестники, ложные нити, протянутые в потерянный период ее жизни.

— Роза уехала, — сказала Фло. У нее появилась привычка в расстройстве или неприятном удивлении выпячивать нижнюю губу. — Роза вышла замуж.

На следующее утро Роза встала и обнаружила на кухне переворот, словно кто-то взял огромную поварешку трясущейся рукой и все перемешал. Большую кастрюлю засунули в щель за холодильником; ложка для вынимания яиц из кипятка лежала вместе с посудными полотенцами, хлебный нож — в кадушке с мукой, сковородку вогнали, словно клин, между трубами под раковиной. Роза сделала Фло овсянку на завтрак, и Фло сказала:

— Вы та женщина, которую послали за мной приглядывать.

— Да.

— Вы не здешняя?

— Нет.

— У меня нет денег вам платить. Кто вас послал, тот пускай и платит.

Фло посыпала свою кашу коричневым сахаром, пока слой сахара не закрыл всю кашу, а потом разровняла его ложкой.

После завтрака она заметила разделочную доску — на ней Роза резала хлеб для тостов.

— Что эта штука здесь делает? Только путается у нас под руками! — веско заявила Фло, взяла доску и прошествовала из кухни — ну, насколько можно шествовать, когда опираешься на две клюки, — чтобы спрятать доску неизвестно где: может, под крышкой скамьи у пианино, а может, под ступеньками заднего крыльца.

* * *

Много лет назад Фло пристроила к дому небольшую застекленную боковую веранду. С веранды она могла наблюдать за дорогой — точно так же, как когда-то из-за прилавка в магазине (витрина магазина теперь была заколочена фанерой, старые рекламные надписи закрашены). Впрочем, теперь, когда построили скоростное шоссе, эта дорога уже не была транспортной артерией, связывающей Хэнрэтти и Западный Хэнрэтти.

Дорога стала мощеной, с широкими сточными канавами по бокам и новыми газоразрядными уличными фонарями. Старый мост исчез, его сменил новый, гораздо меньше бросающийся в глаза. Западный Хэнрэтти прихорошился — дома покрасили заново или покрыли алюминиевым сайдингом. Один только дом Фло торчал на этом фоне, как гнилой зуб.

Какими же зрелищами довольствовалась Фло, сидя на маленькой веранде — годами, пока медленно костенели ее суставы и артерии?

Календарь со щенком и котенком. Они были повернуты мордочками друг к другу и соприкасались носиками, а зазор между двумя телами образовал сердечко.

Цветная фотография принцессы Анны в детстве.

Ваза из гончарной мастерской «Блю маунтин», подарок Брайана и Фебы, а в ней три желтые пластмассовые розы. И ваза, и розы несут на себе слой пыли, скопившейся за несколько лет.

Шесть ракушек с тихоокеанского побережья, давным-давно присланных Розой. Впрочем, не собранных лично ею, как думала Фло сейчас или в прошлом, — Роза купила эти ракушки, когда отдыхала в штате Вашингтон. Они лежали в по-

лиэтиленовом пакетике у кассы в ресторане для туристов — в надежде, что кто-нибудь, поддавшись порыву, их купит.

Надпись «Господь пасет мя», прорезная, на черном свитке, с блестками. Бесплатный подарок с молокозавода.

Газетная фотография — семь гробов в ряд. Два больших, пять маленьких. Родители и дети — их всех перестрелял отец семейства по никому не известной причине, среди ночи, на ферме где-то в глубинке. Тот дом непросто было найти, но Фло его видела. Ее свозили туда соседи — давно, когда она еще опиралась при ходьбе только на одну клюку. Соседям пришлось спрашивать дорогу сначала на заправке при скоростном шоссе, а потом еще в лавке на перекрестке. Им сказали, что до них многие допытывались о том же, столь же полные решимости. Хотя, признала Фло, там не на что особо было смотреть. Совершенно обычный дом. Труба, окна, черепица, двери. На бельевой веревке осталась гнить какая-то тряпка — то ли посудное полотенце, то ли пеленка, — видно, ее поленились вовремя снять.

Роза не навещала Фло почти два года. Занята была — разъезжала с небольшими театрами, существующими за счет грантов. Театры ставили

пьесы или отрывки из пьес, выступали с литературными чтениями в актовых залах школ или домах культуры. По всей стране. В обязанности Розы входило в том числе появляться в программах местного телевидения и непринужденно рассказывать об этих постановках, чтобы пробудить интерес публики. Роза перемежала свой рассказ смешными историями, происшедшими в труппе во время разъездов. В этом не было ничего постыдного, но иногда Розу охватывал глубокий стыд, непонятно почему. Она не показывала своего замешательства. Выступая на публике, она была прямодушна и мила; удивленно и застенчиво переходила к очередному забавному эпизоду, словно вспомнила его только что, а не рассказывала уже сто раз. Вернувшись в гостиничный номер, Роза часто дрожала и стонала, словно в приступе лихорадки. Она валила это на усталость и близкую менопаузу. Она не могла вспомнить никого из людей, с которыми общалась, — очаровательных, интересных людей, которые в самых разных городах приглашали ее на ужин и с которыми она делилась интимными подробностями своей жизни за рюмкой спиртного.

С тех пор как Роза побывала у Фло в последний раз, запущенность дома перешла всякие грани-

цы. Комнаты были забиты тряпками, бумагой и грязью. Потянешь шнур жалюзи, чтобы впустить немного света, — и жалюзи разваливаются у тебя в руках. Встряхнешь штору — и она распадается на лоскуты, выпуская в воздух удушливое облако пыли. Сунешь руку в ящик комода — и она тонет в чем-то мягком, темном, гнилом.

> *Очень не хочется про такое писать, но, похоже, она уже сама не справляется. Мы стараемся к ней заходить, но мы и сами уже немолоды, так что, видно, ее время пришло.*

Два таких, более-менее одинаковых, письма пришли Розе и ее единокровному брату Брайану (он стал инженером и жил в Торонто). Роза только что вернулась с гастролей. Она полагала, что Брайан и его жена Феба (с которой Роза виделась редко) приглядывают за Фло. В конце концов, Брайану Фло родная мать, а Розе всего лишь мачеха. Брайан был в Южной Америке и вернулся лишь недавно, но Феба звонила Фло каждую неделю, в воскресенье вечером. Фло была немногословна, — впрочем, она с Фебой никогда особо не разговаривала: «здорова», «все хорошо» и что-нибудь о погоде. Вернувшись домой, Роза

имела возможность наблюдать за телефонными разговорами Фло и поняла, что́ ввело Фебу в заблуждение. Фло говорила по телефону совершенно нормально: «Здравствуй, как вы там поживаете, у нас все хорошо, вчера была большая гроза, да, и электричество отключали на несколько часов». Лишь человек, живущий рядом с Фло, мог знать, что никакой грозы вчера не было.

Не то чтобы Роза в эти два года напрочь забыла о Фло. У нее бывали приступы беспокойства о мачехе. Просто эти приступы находили на нее с перерывами. Однажды такое беспокойство накрыло Розу во время январской метели, и она проехала двести миль в густом снегопаде, мимо машин, брошенных на обочинах, и наконец — с облегчением, что добралась благополучно, и беспокойством за Фло, бурлящей в груди приятной и тревожащей смесью чувств — припарковалась на улице у дома Фло и протоптала дорожку к дому в снегу, который Фло уже не могла убирать. Фло открыла дверь и предупреждающе рявкнула:

— Тут нельзя парковаться!

— Что?

— Нельзя парковаться!

Она объяснила, что город издал новый закон, запрещающий ставить машину на проезжей

части в зимние месяцы.

— Тебе придется расчистить место перед домом.

Роза, конечно, взорвалась:

— Если ты еще хоть слово скажешь, я сяду в машину и уеду обратно!

— Но ведь нельзя…

— Еще хоть одно слово!

— Что ты тут стоишь и пререкаешься? Весь дом выстудишь!

Роза шагнула через порог. Домой.

Это была одна из историй про Фло, которые Роза часто рассказывала. У нее получалось хорошо: собственная тяжкая усталость и сознание выполненного долга; рявканье Фло, взмах клюки, яростное нежелание, чтобы ее спасали.

* * *

Прочитав письмо, Роза позвонила Фебе, и Феба попросила ее прийти на ужин, чтобы поговорить. Роза твердо решила вести себя хорошо. Ей казалось, что Брайана и Фебу окутывает вечное облако неодобрения по отношению к ней, Розе. Что они не одобряют ее успех, пускай даже ограниченный, шаткий и провинциальный; и что ее неудачи они не одобряют еще больше. Роза пре-

красно знала, что, скорее всего, Брайан и Феба не живут с мыслью о ней и не питают таких четко обозначенных чувств.

Роза надела простую юбку и старую блузку, но в последний момент переоделась в длинное индийское платье из тонкого красно-золотого хлопка — самое оно, чтобы дать Брайану и Фебе основания обвинить ее в театральности.

Тем не менее она пообещала себе — как всегда — говорить тихо, придерживаться фактов и не ввязываться в застарелые дурацкие споры с Брайаном. И, как всегда, остатки здравого смысла вылетели у нее из головы, стоило ей переступить порог, погрузиться в размеренное спокойствие их жизни, ощутить поток довольства, самодовольства, полностью оправданного самодовольства, которое в этом доме источали, кажется, даже вазы и шторы. Роза нервничала, когда Феба спросила ее, как прошли гастроли. Феба тоже чуточку нервничала, потому что Брайан сидел молча, не то чтобы хмурясь, но давая понять, что такая легкомысленная тема разговора его не устраивает. Брайан неоднократно заявлял при Розе, что не понимает смысла существования людей ее профессии.

Впрочем, Брайан не понимал смысла существо-

вания очень многих людей. Актеров, художников, богачей (он ни за что не признал бы, что сам богат), абсолютно всех преподавателей гуманитарных наук в университетах. Целые классы и категории годились только на свалку. Брайан не сомневался, что у них в голове труха, что они ведут себя напоказ, несут всякую чушь и позволяют себе излишества. Роза не знала, действительно ли он так думает или просто считает нужным заявлять подобное в ее присутствии. Он подсовывал Розе наживку, выражая спокойным голосом свое презрение; Роза ее заглатывала; начиналась очередная стычка; Роза уходила в слезах. Впрочем, Роза чувствовала: где-то в глубине души они друг друга любят. Но никак не могут прекратить давнее-давнее соперничество: кто из них лучше другого? Кто выбрал лучшую профессию? Чего добивался каждый из них — да, наверно, доброго мнения другого, и каждый был готов даровать его сполна, но только не сейчас, а чуть позже. Феба — спокойная, заботливая женщина с великим талантом приводить окружающий мир в норму (полная противоположность семейного таланта Брайана и Розы — творить скандал из ничего) — подавала на стол еду, наливала кофе и смотрела на мужа и золовку с вежливым удивлением: их

соперничество, уязвимость, боль, вероятно, казались ей такими же странными, как приключения героев комикса, сующих пальцы в розетку.

— Мне всегда хотелось, чтобы Фло приехала к нам погостить еще раз, — сказала Феба.

Фло уже однажды приезжала и через три дня попросила отвезти ее домой. Но потом, кажется, с удовольствием перечисляла все чудеса во владениях Брайана и Фебы, все черты их дома. Брайан и Феба вели ничем не примечательный образ жизни в Дон-Миллз, и все то, что без конца вспоминала Фло, — дверной звонок с переливами, автоматические двери гаража, бассейн — было совершенно заурядным для пригородных домов. Роза однажды так и сказала Фло, а та решила, что Роза просто завидует.

— Ты бы небось не отказалась от такого, если б тебе дали.

— Отказалась бы.

Это была правда. Роза верила, что это правда, но как объяснить Фло или кому-либо еще в Хэнрэтти? Если ты жил в Хэнрэтти и не становился богачом, это было нормально — ты живешь как на роду написано. Но если ты уехал и не разбогател или, как Роза, разбогател, но не удержал богатства — зачем вообще было уезжать?

После ужина Роза и хозяева дома сели на заднем дворе у бассейна, где плескалась на надувном драконе младшая из четырех дочерей Брайана и Фебы. Пока что все проходило мирно. Решили, что Роза поедет в Хэнрэтти и уладит все формальности для устройства Фло в ваванашский дом престарелых. Брайан уже навел справки об этом доме, точней, его секретарша навела справки, и теперь он сказал, что, судя по всему, этот дом не только берет дешевле, но и лучше управляется, и там больше удобств, чем в частных домах престарелых.

— Наверно, она там найдет старых друзей, — сказала Феба.

Кротость Розы и ее хорошее поведение отчасти подкреплялись образом, который она весь вечер строила у себя в голове. Она представляла, как уедет в Хэнрэтти и будет ухаживать за Фло, жить с ней, заботиться о ней — столько, сколько нужно. Она представляла себе, как вычистит и перекрасит кухню Фло, заменит черепицу на крыше, на местах протечки (об этом тоже упоминалось в письме), посадит цветы в горшки и будет варить питательный суп. Роза не заходила настолько далеко, чтобы представить, как Фло радостно вписывается в эту картину и живет, испытывая

вечную благодарность. Но чем сварливей будет Фло, тем больше кротости и терпения будет проявлять Роза, и кто тогда сможет обвинить ее в эгоизме и легкомыслии?

Эта картина не продержалась и двух дней по возвращении Розы домой.

* * *

— Ты хочешь какой-нибудь десерт? — спросила Роза.

— Мне все равно.

Тщательно выстроенное безразличие с проблеском надежды — многие люди так реагируют на предложение выпить.

Роза сделала трайфл. Ягоды, персики, заварной крем, бисквит, взбитые сливки, сладкий херес.

Фло съела полмиски. Она жадно загребала ложкой, даже не позаботившись отложить себе порцию в отдельную посуду.

— Это было прекрасно, — сказала она; в первый раз в жизни Роза услышала от нее подобное выражение удовольствия и благодарности. — Прекрасно, — повторила Фло и откинулась на стуле, предаваясь счастливым воспоминаниям и по временам тихонько рыгая. Утонченная мечтательность заварного крема, острота ягод,

мощность персиков, роскошь пропитанного хересом бисквита, щедрость взбитых сливок.

Роза еще никогда в жизни не подходила так близко к тому, чтобы мачеха была ею довольна.

— Я скоро сделаю еще.

Фло опомнилась:

— Ну что ж. Поступай как хочешь.

* * *

Роза поехала в окружной дом престарелых. Ей устроили экскурсию. Вернувшись, она попыталась рассказать об этом Фло.

— Чей дом? — переспросила Фло.

— Это не чей-то дом, это дом престарелых.

Роза перечислила людей, которых там видела. Фло не пожелала признаться, что знакома с ними. Роза стала рассказывать об удобных комнатах и красивом виде из окон. Фло явно рассердилась: она потемнела лицом и выпятила нижнюю губу. Роза протянула ей мобиль, купленный за пятьдесят центов в доме престарелых и сделанный кем-то из обитателей в тамошнем «Центре рукоделия». Птицы, вырезанные из синей и желтой бумаги, прыгали и танцевали на невидимых струях воздуха.

— Засунь его себе в жопу, — сказала Фло.

Роза повесила мобиль на веранде и сказала, что при ней обитателям дома разносили ужин на подносах.

— Кто может, идет в столовую, а кто не может, тем подают ужин в комнату. Я видела, чем там кормят. Ростбиф, хорошо прожаренный, картофельное пюре и зеленая фасоль. Фасоль замороженная, из пакетов, а не из консервной банки. Или омлет. Можно заказать омлет с грибами, с курицей или просто так, если хочется.

— А на сладкое что было?

— Мороженое. И если попросишь, добавляют соус.

— Какой у них там соус?

— Шоколадный. Карамельный. С грецкими орехами.

— Я не ем грецкие орехи.

— Еще маршмеллоу.

* * *

Обитатели дома престарелых были организованы по этажам. На первом жили те, кто сохранил ясность мышления и опрятность. Они расхаживали по дому (обычно — опираясь на палку). Навещали друг друга, играли в карты. Еще они пели хором и занимались всяким рукоделием.

В «Центре рукоделия» они рисовали картины, вязали крючком коврики, шили лоскутные одеяла. Кто этого не умел, делал тряпичных кукол, мобили вроде купленного Розой, пуделей и снеговиков из пенопластовых шариков, с блестками вместо глаз. Еще они делали картинки-силуэты, вдавливая кнопки в обведенные на картинке контуры: рыцари на конях, военные корабли, самолеты, замки.

Они устраивали концерты, танцевальные вечера и шашечные турниры.

— Кое-кто из них говорит, что никогда еще не жил так весело.

Этажом выше телевизор смотрели больше и больше народу передвигалось в инвалидных креслах. У некоторых голова свисала на грудь, вываливался язык, неудержимо тряслись руки и ноги. Тем не менее и здесь люди были весьма общительны (исключая отдельные провалы и периоды отключки).

На третьем этаже приходилось быть готовым к разного рода сюрпризам.

Кое-кто из здешних обитателей перестал говорить.

Кое-кто перестал двигаться, только по временам дергал или тряс головой и махал руками

— по-видимому, бесконтрольно и бесцельно.

Почти всем было все равно, сухие они или мокрые.

Тела подвергались кормлению и вытиранию, их поднимали и привязывали к креслам, потом отвязывали и укладывали в постель. Тела вдыхали кислород, выдыхали углекислый газ и продолжали участвовать в окружающей жизни.

В кровати с высокими стенками скрючилась старушка — упакованная в памперс, смуглая, как орех, с тремя пучочками волос, похожих на пух одуванчика. Она издавала долгие дребезжащие звуки.

— Добрый вечер, бабушка, — произнесла нянька. — Сегодня будем произносить слова по буквам. Я сейчас перешла через порог.

Она склонилась к самому уху старой женщины:

— Ну-ка, скажи по буквам: «порог».

Улыбаясь, нянька показывала десны — а улыбалась она все время; она производила впечатление хронически веселого больного с деменцией.

— Порог, — повторила старуха. Она с натугой подалась вперед, сопя, чтобы уловить слово. Розе показалось, что сейчас старуха сходит под себя. — Пэ-о-эр-о-гэ.

Тут она вспомнила о чем-то еще:

— Пэ-о-эр-о-ка.

Неплохо.

— Теперь вы дайте ей слово, — обратилась нянька к Розе.

У Розы в голове клубились одни непристойности или безнадежно архаичные выражения.

Но тут старуха по собственной инициативе выдала новое слово:

— Роща. Эр-о-ща-а.

— Праздник, — вдруг осенило Розу.

— Пэ-эр-а-зэ-дэ-эн-и-ка.

Чтобы расслышать старуху, приходилось напрягаться — у нее почти не осталось сил, чтобы выталкивать из себя звуки. Казалось, то, что она говорит, исходит не от губ и не из гортани, а откуда-то из глубины — легких, живота.

— Ну не чудо ли? — сказала нянька. — Она ничего не видит, а это — единственное доказательство, что она еще что-то слышит. Например, если ей сказать «вот ваш ужин», она не обратит внимания, но может начать говорить «ужин» по буквам.

— Ужин, — сказала она, чтобы проиллюстрировать свои слова, и старуха подхватила:

— У-же-и…

Иногда от одной буквы до другой приходилось ждать очень долго.

Казалось, что старуха идет по тончайшей путеводной нити, блуждая в пустоте или хаосе, о которых мы, люди по эту сторону, можем только догадываться. Но она не теряла нить, доходила по ней до конца, даже с длинным или очень сложным словом. Готово! И сидела в ожидании; ждала в своей безвидной и бессобытийной вселенной, пока не прилетит неизвестно откуда очередное слово. Она вберет его в себя и устремит все силы на его покорение. Интересно, подумала Роза, как она воспринимает слова. Несут ли они свое обычное значение или хоть какое-нибудь? Может, они для старухи — как слова во сне или в сознании очень маленьких детей, каждое — удивительное, непохожее на другие и живое, как новое животное? Одно вялое и прозрачное, как медуза, другое жесткое, вредное и скрытное, как улитка с рожками. Слова могут быть суровыми и комичными, как шляпы-цилиндры, яркими и нарядными, как ленты. Нескончаемый парад личных гостей.

* * *

Назавтра что-то разбудило Розу рано утром. Она спала на маленькой веранде — единственное

место в доме, где запах можно было хоть как-то терпеть. Млечное небо набирало яркость. Деревья на том берегу реки — их скоро должны были срубить, чтобы расчистить место для стоянки трейлеров, — сбились в кучку на фоне рассветного неба, как темные косматые звери, бизоны. Розе приснился сон. Явно связанный со вчерашней экскурсией по дому престарелых.

Кто-то вел Розу по большому зданию, где в клетках сидели люди. Сначала все было сумеречно и покрыто паутиной, и Роза протестовала, что так не годится. Но по мере ее продвижения клетки увеличивались и оказывались все более затейливыми — они были как огромные, плетенные из прутьев птичьи клетки, викторианские, гротескных форм, причудливо украшенные. Сидящим в них людям приносили еду. Роза присмотрелась и увидела, что им дают на выбор: шоколадный мусс, трайфл или торт «Черный лес». Потом она заметила в одной клетке Фло, торжественно восседающую на некоем подобии трона. Фло повелительно и громко называла слова по буквам (проснувшись, Роза не смогла вспомнить, что это были за слова). Видно было, что Фло очень довольна демонстрацией способностей, которые доселе держала втайне.

Роза напрягла слух — доносится ли дыхание Фло, ее шевеления из выстланной мусором комнаты? Ничего не было слышно. А если Фло умерла? Что, если она умерла в тот самый момент, как явилась Розе во сне — довольная, сияющая? Роза выскочила из постели и босиком помчалась в комнату Фло. Кровать была пуста. Роза пошла на кухню. Фло сидела за столом, парадно одетая, в темно-синем летнем жакете и подходящей по цвету шляпке-тюрбане, в которой была на свадьбе Брайана и Фебы. Жакет был мятый и нуждался в чистке, а тюрбан сидел криво.

— Я готова ехать, — сказала Фло.

— Куда?

— Туда. — Фло мотнула головой. — В этот… как его там… работный дом.

— Дом престарелых, — поправила Роза. — Тебе не обязательно туда ехать сегодня.

— Вам заплатили, чтобы вы меня отвезли, так шевелитесь, везите, — сказала Фло.

— Мне никто не платил. Я Роза. Я сейчас сделаю тебе чаю.

— Хотите — делайте, я его пить не буду.

Она показалась Розе похожей на женщину, у которой начались родовые схватки. Такова была ее устремленность к цели, решимость, настой-

чивость. Розе казалось, что Фло чувствует, как внутри у нее шевелится смерть, будто ребенок, готовясь разорвать ее пополам. Так что она перестала спорить, оделась, быстро собрала сумку для Фло, довела ее до машины и отвезла в дом престарелых. Но в том, что касалось смерти, мгновенно раздирающей, несущей освобождение, Роза ошибалась.

* * *

Незадолго до того Роза участвовала в телевизионной постановке, которую показали по всей стране. «Женщины Трои». У нее была роль без слов, и вообще она согласилась, только чтобы выручить подругу, которую пригласили играть куда-то еще. Режиссер решил слегка оживить рыдания и скорбь, заставив женщин Трои выступать с голой грудью. Каждая должна была обнажить одну грудь — правую в случае царственных персонажей вроде Гекубы и Елены и левую для обычных дев или жен, таких как Роза. Роза не думала, что это сильно украсит ее выступление, — в конце концов, она уже немолода и ее грудь приобрела сходство с ушами спаниеля. Но смирилась с новой идеей. Роза не рассчитывала на то, что постановка вызовет сенсацию. Она

не думала, что пьесу посмотрит столько народу. Она забыла про те части страны, где люди не могут выбрать шоу-викторину, гонку полицейских за бандитами или американские ситкомы и вынуждены довольствоваться лекциями о международной политике, обзорами картинных галерей и амбициозными творениями театральных режиссеров. К тому же она не ожидала, что нагота произведет такой фурор, — в конце концов, на каждой стойке с журналами в каждом городе страны уже предлагаются щедрые порции голой плоти. Как могла вызвать такое всенародное возмущение унылая коллекция троянских грудей — сперва сморщенных от холода, затем потных от жара софитов, плохо накрашенных гримом, похожим на мел, и выглядящих без пары довольно глупо, жалко и неестественно, больше похоже на какие-то опухоли?

Фло даже взялась за перо и бумагу, через силу ворочая окостенелыми, изуродованными артритом, почти не гнущимися пальцами, и написала слово «позор». Она писала, что, будь отец Розы еще жив, он пожелал бы себе смерти. Это была правда. Роза читала письмо Фло — отдельные части — вслух гостям, которых пригласила на ужин. Она читала ради комического эффекта, а

также ради драматического — чтобы показать, какая пропасть лежит у нее за спиной, хотя и понимала, что, если вдуматься, здесь нет ничего особенного. Многие из ее друзей — Розе они казались обычными тружениками со своими страхами и надеждами — могли бы рассказать о том, как разочарованные родители отреклись от них или подчеркнуто обещали за них молиться.

Но на середине письма она замолчала. Не потому, что поняла, как некрасиво смеяться над Фло и выставлять ее на всеобщий позор. Роза не впервые так делала и отлично знала, что это некрасиво. Остановила ее, в сущности, эта самая пропасть: Роза вдруг заново осознала ее, переосмыслила и поняла, что смеяться тут не над чем. Упреки Фло были столь же бессмысленны, как протест против использования зонтиков или употребления в пищу изюма; но они были искренни и вырывались с болью. Они были единственно возможным плодом трудной жизни. Позор женщине, обнажившей грудь.

Другой раз Розе вручали награду. И еще нескольким людям вместе с ней. По этому случаю в одном из торонтовских отелей устраивалась торжественная церемония. Фло тоже послали приглашение, но Роза не думала, что Фло приедет.

Просто, когда организаторы попросили список родственников, Роза подумала, что надо кого-нибудь назвать, а Брайан и Феба явно не подходили. Возможно, конечно, она втайне хотела, чтобы Фло приехала, — хотела ее впечатлить, подавить и наконец вырваться из-под ее тени. Это было бы вполне естественно.

Фло приехала на поезде, никого не предупредив. И добралась до отеля. Тогда у нее уже был артрит, но она еще ходила без палки. Она всю жизнь одевалась пристойно, сдержанно, в дешевую одежду, но тут, видимо, потратилась и с кем-то проконсультировалась. Она была в брючном костюме в сиреневую и лиловую клетку и в бусах, похожих на зерна желтой и белой кукурузы. Волосы закрывал массивный голубовато-седой парик, натянутый низко на лоб, как шерстяная шапка. В вырезе жакета и из-под слишком коротких рукавов виднелись шея и запястья — темные и бородавчатые, словно покрытые корой. Увидев Розу, Фло застыла. Она как будто ждала — не только чтобы Роза к ней подошла, но и чтобы кристаллизовались ее собственные чувства по поводу разворачивающегося перед ней зрелища.

Скоро это произошло.

— Ух ты, негра! — сказала Фло громким голосом, когда Роза еще не успела до нее добраться.

Эти слова прозвучали простодушно, удивленно и радостно, будто Фло любовалась Большим каньоном или увидела апельсины, растущие на дереве.

Фло имела в виду актера по имени Джордж, которому в этот момент вручали награду. Он обернулся поглядеть: может, это кто-то подает ему комедийную реплику? Фло в самом деле выглядела комическим персонажем, но ее изумление и ее подлинность пугали. Заметила ли она, какой поднялся переполох? Возможно. После этого единственного выкрика она замолчала — в крайнем случае отвечала односложно, не пожелала отведать ничего из еды и напитков, не пожелала сесть, но стояла, пораженная и непреклонная, среди толпы бородатых и увешанных бусами, одетых в стиле унисекс и бесстыдно демонстрирующих свое неанглосаксонское происхождение. Стояла, пока не пришло время посадить ее в такси, довезти до вокзала и отправить на поезде домой.

* * *

Тот парик Роза нашла под кроватью во время грандиозной уборки, которую устроила после отбытия Фло. Роза привезла парик в дом престарелых вместе с кое-какой одеждой, предварительно выстиранной или побывавшей в химчистке, а также запасом только что купленных чулок, талька и одеколона. Иногда Фло принимала Розу за врача и говорила: «Я не признаю женщин-докторов, убирайтесь!» Но при виде Розы с париком воскликнула:

— Роза! Что это у тебя — дохлая белка?

— Нет, — ответила Роза, — это парик.

— Что?

— Парик, — сказала Роза, и Фло принялась хохотать.

Роза тоже засмеялась. Парик в самом деле походил на дохлую белку или кошку, хотя Роза его выстирала и причесала; на него было неприятно смотреть.

— Боже мой, Роза, я подумала — что это она мне привезла дохлую белку? Если я такое надену на голову, то, пожалуй, кто-нибудь меня подстрелит!

Роза нахлобучила парик себе на голову, чтобы

продлить веселье, и Фло так хохотала, что стала раскачиваться на койке взад-вперед.

Переведя дыхание, Фло сказала:

— Зачем у меня на кровати эти решетки? Вы там с Брайаном хорошо себя ведете? Не деритесь, это действует отцу на нервы. Ты знаешь, сколько желчных камней из меня вынули? Пятнадцать! Один большой, как куриное яйцо. Они у меня где-то лежат. Я привезу их домой.

Она принялась дергать простыни в поисках камней.

— Они были в склянке.

— Они уже у меня, — сказала Роза. — Я отвезла их домой.

— Да? А отцу показала?

— Да.

— А, ну, значит, вот они где, — сказала Фло, легла и закрыла глаза.

Ты кем себя воображаешь?

У Розы и ее брата Брайана было несколько тем, на которые они могли говорить спокойно, не опасаясь зайти в тупик из-за несходства принципов или декларируемых позиций. Одной из этих тем был Мильтон Гомер. Оба помнили тот случай, когда они вместе болели корью и на двери дома висело предупреждение о карантине — очень давно, еще был жив отец и Брайан еще не ходил в школу — и по улице к дому подошел Мильтон Гомер и стал читать объявление вслух. Они слышали, как он идет через мост, жалуясь, как обычно, громко, во всеуслышание. Когда Мильтон Гомер шел по городу, его всегда было слышно — он орал на собак и запугивал деревья и телефонные столбы, вспоминая какие-то старые обиды, если только рот у него не был набит конфетами.

— Я этого не делал, не делал и не делал! — вопил он, колотя по ограждениям моста.

Роза и Брайан отодвинули в сторону стеганое одеяло, которым Фло занавесила окно, чтобы они не ослепли.

— Мильтон Гомер, — уважительно сказал Брайан.

Тут Мильтон Гомер увидел объявление на двери. Он свернул с дороги, взошел по ступенькам крыльца и прочитал объявление. Он умел читать. Он ходил по главной улице городка и громко читал вывески.

Роза и Брайан помнили тот случай и соглашались между собой, что это была боковая дверь, куда Фло позже пристроила веранду; сначала там было только покосившееся деревянное крыльцо, и оба помнили, как на нем стоял Мильтон Гомер. Если объявление о карантине висело на боковом крыльце, а не на входе в лавку, значит лавку на карантин не закрыли; такая странность могла объясняться только тем, что санинспектор побоялся связываться с Фло. Роза этого не помнила; она помнила только Мильтона Гомера на крыльце — как он склонил голову набок и поднимает кулак, чтобы постучать в дверь.

— Корь, а? — сказал Мильтон Гомер. Стучать он все же не стал; он приблизил голову к двери и заорал: — А я не боюсь!

Потом он развернулся, но со двора не ушел. Он подошел к качелям, сел, взялся за веревки и принялся качаться — сперва мрачно, потом с

нарастающей яростной радостью.

— Мильтон Гомер на качелях, Мильтон Гомер на качелях! — закричала Роза. Она перебежала от окна к лестничной площадке.

Пришла Фло — Роза и Брайан не знали откуда — и выглянула в боковое окно.

— Ничего им не сделается, — сказала она, удивив детей.

Роза думала, что Фло возьмет метлу и выгонит Мильтона Гомера. Позже она задавалась вопросом: может, Фло его боялась? Нет, вряд ли. Видимо, дело было в особых привилегиях Мильтона Гомера.

— Я не могу сидеть на качелях после Мильтона Гомера!

— Ах ты! А ну, марш обратно в постель!

Роза вернулась в темную вонючую комнату, полную кори, и стала рассказывать Брайану историю, которая, как она точно знала, ему не понравится.

— Когда ты был маленький, пришел Мильтон Гомер и взял тебя на руки…

— Нет!

— Пришел и взял тебя на руки и спросил, как тебя зовут. Я помню.

Брайан подошел к лестнице:

— Правда, что Мильтон Гомер приходил и взял меня на руки и спросил, как меня зовут? Правда? Когда я был маленький?

— Скажи Розе, что он и с ней то же самое сделал!

Роза знала, что это вполне возможно, хоть и помалкивала насчет себя. Она не знала точно, правда ли помнила, как Гомер Мильтон держал Брайана на руках, или ей кто-то об этом рассказал. Каждый раз, когда в каком-нибудь доме появлялся новый ребенок — в совсем недавнем прошлом, когда дети еще рождались дома, — Мильтон Гомер уже был тут как тут и просил позволения увидеть ребенка, а потом брал его на руки и произносил речь, всегда одну и ту же. Смысл речи заключался в том, что если ребенок выживет, то следует надеяться, что он будет вести христианскую жизнь, а если умрет, то следует надеяться, что он отправится прямиком в рай. В общем, то же, что и при крещении, хотя Мильтон не взывал к Отцу и Сыну и не использовал воду. Он все проделывал от себя лично. В эти минуты на него нападало заикание, которым он обычно не страдал, — а может, он заикался специально, чтобы придать важности моменту. Он широко открывал рот и раскачивался взад-вперед, сопро-

вождая каждую фразу сопением.

— И если дитя… если дитя… если дитя… выживет…

Много лет спустя Роза воспроизводила эту сцену в гостиной у брата — качалась взад-вперед, декламируя речитативом, и каждое «если» вылетало у нее изо рта, как шипение бомбы, готовой взорваться и принести большие потрясения в человеческую жизнь.

— Оно будет вести… добродетельную жизнь… и не будет… не будет… не будет… не будет грешить. Оно будет вести… добродетельную жизнь… добродетельную жизнь… и не будет грешить. Не будет грешить!

— А если дитя… если дитя… если дитя… умрет…

— Хватит, Роза. Достаточно, — сказал Брайан, но при этом смеялся. Он мирился с театральными представлениями Розы при условии, что она изображала Хэнрэтти.

— Как ты можешь это помнить? — спросила Феба, золовка, надеясь остановить Розу, пока та не увлеклась, не затянула представление и не рассердила Брайана. — Ты видела, как он это делает? Так часто видела?

— О нет, — несколько удивленно ответила Ро-

за. — Я не видела, как он это делает. Что я видела, так это Ральфа Гиллеспи, который изображал Мильтона Гомера. Это мальчик из нашей школы.

* * *

Другой общественной работой Мильтона Гомера, как помнили Роза и Брайан, было маршировать в разных парадах. Парадов в Хэнрэтти устраивали много. Парад оранжистов двенадцатого июля; парад кадетов-старшеклассников в мае; парад школьников на День империи, парад Церковного легиона, парад Санта-Клауса, парад ветеранов «Клуба львов». Для жителя Хэнрэтти не было оскорбления страшней, чем сказать, что он обожает красоваться в парадах; однако почти всем жителям города (собственно города, разумеется, Западный Хэнрэтти в это понятие не входил) выпадал случай пройтись у всех на виду в какой-нибудь организованной и одобряемой обществом процессии. Чего никак нельзя было делать, так это показывать, что участие в параде тебе приятно; напротив, участникам полагалось прикидываться, что их против воли вытащили из желанной безвестности и теперь они готовы исполнить свой долг и всей душой преданы иде-

ям, которые провозглашает этот парад.

Самым роскошным было шествие оранжистов. В голове парада ехал «король Билли» на самом белом коне, какого только удалось найти, а замыкали колонну «черные рыцари», самые благородные из оранжистов, обычно старые фермеры, худые, бедные, гордые фанатики на темных конях, в древних, передающихся от отца к сыну цилиндрах и фраках. Реяли роскошные знамена — шелк и вышивка, синева и золото, оранжевый и белый, сцены торжества протестантской веры, лилии и раскрытые Библии, девизы, свидетельствующие о благочестии, доблести и пылающей нетерпимости. Шли дамы под зонтиками от солнца — жены и дочери оранжистов, все в белом — символ чистоты. Потом шли оркестры, флейты и барабаны, и лучшие степ-танцоры плясали на телеге из-под сена, как на передвижной платформе.

И еще шел Мильтон Гомер. Он мог обнаружиться в любом месте колонны и по временам менял позицию — шагал то за «королем Билли», то за «черными рыцарями», то за танцорами, то за стеснительными детьми в оранжевых кушаках, несущими знамена. Идя за «черными рыцарями», он делал мрачное лицо и держал голову так, слов-

но на ней сидит цилиндр; идя за дамами, он вилял бедрами и крутил воображаемый зонтик. Он был чудовищно талантливый пародист, его энергия устрашала. Он мог передразнить чинное выступление степ-танцоров так, что оно превращалось в прыжки и метания буйного сумасшедшего, — и при этом не сбиться с шага.

Парад оранжистов предоставлял самое богатое поле для его таланта, но он был заметен в любом шествии. Голова высоко поднята, руки молотят воздух, важно шагает в ногу — так он выступал в затылок командиру Легиона. В День империи он раздобывал где-то «юнион-джек» и красный флаг с гербами Британии и Канады и крутил их, как мельницы, над головой. Идя в параде Санта-Клауса, он перехватывал конфеты, предназначенные для детей, и отнюдь не ради шутки.

Можно было бы ожидать, что кто-нибудь из городского начальства живо с этим покончит. Вклад Мильтона Гомера в любое шествие был полностью вредоносным: задуманным (если Мильтон Гомер вообще способен был что-либо задумывать) для выставления парада в дурацком свете. Ведь могли же организаторы и участники шествия не допустить Мильтона в свои ряды? Вероятно, они решили, что это не так просто.

Родители Мильтона умерли, он жил с двумя тетками — старыми девами, и никому не хотелось просить двух старушек удерживать его дома. У них и без этого явно забот хватало. Стоит ему заслышать первые звуки оркестра, и тетушки окажутся бессильны. Им пришлось бы связать его или посадить под замок. И никому не хотелось выволакивать Мильтона Гомера из колонны и тащить его прочь, когда парад уже начался. Его протесты испортили бы всю картину. А он, без сомнения, стал бы протестовать. У него был сильный низкий голос, и сам он был силен, хоть и невысок ростом, примерно комплекции Наполеона. Бывало, если кто-то не хотел пускать его к себе во двор, он вышибал калитку или ломал ограду. Однажды он разбил детскую тележку о тротуар — просто потому, что она оказалась у него на пути. Принимая во внимание все обстоятельства, лучше было позволить ему участвовать в параде.

Нельзя даже сказать, что это был выбор из двух зол. Никто не косился на Мильтона, марширующего в колонне: все к нему привыкли. Даже командир Легиона благодушно относился к тому, что его пародируют, и «черные рыцари» в мрачных черных одеяниях не замечали Мильтона

Гомера. А зрители, стоящие на тротуаре, только говорили: «А, вот и Мильтон». Над ним даже не смеялись особо — хотя приезжие, городские родственники, которых позвали смотреть парад, иногда ухохатывались, думая, что Мильтон официально приглашен повеселить публику, как клоуны (в обычной жизни — молодые предприниматели), безрезультатно ходившие колесом тут же в процессии.

— Кто это? — спрашивали приезжие, и им отвечали небрежно и с особенно тщательно скрываемой гордостью:

— А, это просто Мильтон Гомер. Без него и парад не парад.

* * *

— Деревенский дурачок, — сказала Феба с безграничной и неоцененной вежливостью, пытаясь осознать услышанное.

Ни Роза, ни Брайан никогда не слышали, чтобы Мильтона Гомера так называли. Слово «деревня» у них не вязалось с Хэнрэтти. «Деревня» — это кучка живописных домиков вокруг церкви с островерхим шпилем на рождественской открытке. «Деревенские жители» — костюмированный хор в школьной постановке оперетты. Описывая

Мильтона Гомера человеку со стороны, жители Хэнрэтти говорили, что у него «не все дома». Роза уже тогда задавалась вопросом: а чего же именно ему не хватает? И до сих пор не знала ответа. Проще всего было бы сказать «мозгов». Безусловно, у Мильтона Гомера был низкий коэффициент интеллекта. Но ведь не у него одного: таких людей было полно и в Хэнрэтти, и за его пределами, но они, в отличие от Мильтона, не бросались в глаза. Он хорошо читал, как показывает история с карантинным объявлением; он умел считать мелкие деньги, судя по множеству рассказов о том, как люди безуспешно пытались его обмануть. Теперь Роза думала, что не хватало ему тормозов. Ограничений, обусловленных социальными факторами, — хотя тогда это так не называли. Того, что теряют обычные люди, если напьются. А у Мильтона Гомера этого не было с самого начала, или, может, он когда-то в детстве или юности сознательно решил этого не иметь. Вот это его решение было для Розы интересней всего. Даже выражения лица Мильтона Гомера, его повседневная мимика были утрированной мимикой театрального пьяницы — выпученные от внимания глаза, ухмылки, карикатурная печаль. Все это казалось смелым, рассчитанным и в

то же время беспомощным, непреднамеренным; возможно ли такое?

Две старые дамы, с которыми жил Мильтон Гомер, приходились сестрами его матери. Они были близнецы. Их звали Хэтти и Мэтти Мильтон, и их обычно звали мисс Хэтти и мисс Мэтти, чтобы имена звучали серьезней и без намека на глупые шутки. Мильтону дали имя по девичьей фамилии матери. Так часто делали, и никто, видимо, не задумался о том, что в результате соединятся два имени великих поэтов. Об этом совпадении никогда не упоминали и, вероятно, даже не замечали его. Роза тоже его не замечала до того дня, уже в старших классах, когда сидевший позади нее мальчик дотронулся до ее плеча и показал свою английскую хрестоматию. Он вычеркнул слово «чапменовского» в заголовке стихотворения, вписал туда «Мильтона» и исправил еще пару букв. Получилось «Впервые взглянув на Мильтона Гомера»[10].

Любое упоминание Мильтона Гомера было смешно, но этот измененный заголовок был смешон еще и потому, что очень завуалированно

[10] Примечания: 10

Речь идет о сонете английского поэта Джона Китса (1795–1821) «Впервые заглянув в чапменовского Гомера» (или «После первого чтения чапменовского Гомера»).

намекал на его другие, более скандальные привычки. Ходили сплетни, что, если кто-нибудь оказывался впереди Мильтона в очереди на почту или в кассу кинотеатра, Мильтон распахивал плащ и демонстрировал себя во всей красе, а потом делал выпад и начинал тереться о впереди стоящего. Хотя чаще всего ему не удавалось зайти так далеко, потому что жертва мгновенно убиралась с дороги. Говорили, что мальчишки подначивают друг друга — заманить Мильтона в нужную позицию и подпустить его поближе, а потом в самый последний момент отскочить, открыв его всеобщим взорам во всей его чудовищной непристойности.

Именно из-за этих рассказов — были они правдой или нет, случилось ли это один раз из-за чужой подначки или происходило все время — дамы, завидев Мильтона, переходили на другую сторону улицы, а детям велели держаться от него подальше. Смотри, чтоб он не хороводился вокруг тебя, говорила Фло. Мильтона Гомера пускали в дома для выполнения ритуала при появлении новорожденного — таких случаев становилось меньше по мере того, как набирали популярность больничные роды, — но в остальное время двери перед ним были закрыты. Он приходил,

стучал, пинал дверные филенки и уходил. Но во дворах ему позволяли резвиться как угодно — он ничего не брал, а если его обидеть, мог поломать что-нибудь и ввести хозяев в убыток.

Конечно, если он выходил в город с одной из тетушек, это было совсем другое дело. Он шел унылый, послушный, спрятав все свои страсти и таланты за семью замками. Он шел и ел из бумажного кулька купленные теткой сласти. По ее команде он угощал встречных, но разве что самый безнадежный обжора польстился бы на конфеты, если Мильтон Гомер касался их пальцами или окропил слюнями. Тетушки следили за тем, чтобы он стригся вовремя, и всячески старались, чтобы он имел презентабельный вид. Они стирали, гладили и чинили его одежду; они выпускали его на улицу в плаще и галошах или шерстяной шапке и шарфе, соответственно погоде. Знали ли тетушки, как он ведет себя без них? Наверняка знали, а если так, то страдали из-за этого — гордые носительницы методистской морали по-другому не могли. Это их дед основал льнопрядильную фабрику в Хэнрэтти и заставлял всех своих работников проводить субботние вечера на занятиях по изучению Библии, которые вел самолично. Гомеры тоже были очень достой-

ной семьей. Рассказывали, что кое-кто из Гомеров предлагал упрятать Мильтона подальше, но барышни Мильтон и слышать об этом не хотели. Никто не думал, что ими двигало добросердечие.

— Они не сдадут его в приют для идиотов — слишком гордые.

Мисс Хэтти Мильтон преподавала в школе для старшеклассников. Она работала дольше, чем все остальные учителя, вместе взятые, и была важнее самого директора. Она преподавала английский язык (правка хрестоматии была еще более смелым и упоительным поступком оттого, что произошла у мисс Хэтти под носом) и славилась умением поддерживать дисциплину. Она это делала без видимых усилий, лишь одним своим внушительным присутствием — обширный бюст, очки, тальк, невинность и полнейшее нежелание видеть какую-либо разницу между учениками старших классов (она не употребляла слова «подросток») и четвероклассниками. Она много задавала учить наизусть. Однажды она написала на доске длинное стихотворение и велела ученикам переписать его к себе в тетради, выучить наизусть и на следующий день рассказать на память в классе. Роза училась в старших классах уже третий или четвертый год и решила,

что эти инструкции не следует воспринимать буквально. Она легко заучивала стихи, поэтому ей показалось вполне разумным пропустить первый этап задания. Она прочитала стихотворение, выучила куплет за куплетом, потом раза два повторила наизусть про себя. Пока она этим занималась, мисс Хэтти спросила, почему она не пишет.

Роза ответила, что уже выучила стихи, хотя не была полностью в этом уверена.

— В самом деле? — сказала мисс Хэтти. — Ну-ка встань спиной к доске.

Роза повиновалась, боясь про себя, что ее похвальба окажется враньем.

— А теперь прочитай это стихотворение всему классу.

Вера в себя оказалась оправданной. Роза продекламировала стихи без запинки.

Чего она ждала? Изумления, похвал, непривычного уважения?

— Ну что ж, стихи ты, возможно, выучила, — сказала мисс Хэтти, — но это не оправдание тому, что ты не выполнила указания учителя. Садись и пиши. Каждую строчку напишешь по три раза. Если не закончишь вовремя, останешься после четырех часов.

Конечно, Розе пришлось остаться после четырех. Она писала, кипя яростью, а мисс Хэтти спокойно вязала. Когда Роза принесла показать переписанное, мисс Хэтти сказала — мягко, но окончательно и неоспоримо:

— Не собираешься же ты ходить по свету с мыслью, что ты лучше других, только потому, что умеешь учить стихи на память? Кем ты себя воображаешь?

Розу не первый раз в жизни спрашивали, кем она себя воображает. По правде сказать, этот вопрос часто звучал у нее в ушах, как монотонный звук гонга, и она привыкла его игнорировать. Но позже Роза поняла, что мисс Хэтти вовсе не садистка: ведь она могла сказать при всем классе то, что сказала Розе наедине. И мстительной она тоже не была: она вовсе не пыталась наказать Розу за то, что не поверила ей и оказалась не права. Урок, который она пыталась преподать, был для нее важней любых стихов, и она твердо верила, что Розе этот урок необходим. Похоже, ее уверенность разделяли и многие другие люди.

* * *

В конце последнего школьного года весь класс позвали к Мильтонам на сеанс «волшебных кар-

тин». Слайды «волшебного фонаря» изображали Китай, где мисс Мэтти, та сестра, что теперь сидела дома, в юности занималась миссионерской работой. Мисс Мэтти была очень застенчива и поэтому оставалась в тени и только переключала слайды, а мисс Хэтти их комментировала. Слайды изображали желтую (это никого не удивило) страну. Желтые холмы и небо; желтые люди, рикши, зонтики, все сухое, какое-то бумажное, хрупкое, с черными зигзагами там, где потрескалась краска, — на храмах, дорогах и лицах. В это самое время — единственный раз, когда Роза сидела в гостиной у Мильтонов, — в Китае у власти был Мао, вовсю шла корейская война, но мисс Хэтти не собиралась делать поправок на ход истории — точно так же, как не собиралась делать поправок на то, что ее слушателям восемнадцать или девятнадцать лет.

— Китайцы — язычники, — произнесла мисс Хэтти. — Поэтому у них в стране есть нищие.

Нищий стоял на коленях посреди улицы, протягивая руки к богатой даме в коляске рикши. Дама не обращала на него никакого внимания.

— Они едят такое, что мы и в рот не взяли бы, — сказала мисс Хэтти; на экране появились китайцы, тычущие палочками в миски. — Но ко-

гда они становятся христианами, они начинают питаться лучше. Христиане первого поколения оказались на полтора дюйма выше.

Христиане первого поколения стояли в ряд, разинув рот, — возможно, пели. Они были одеты в черное и белое.

После окончания «волшебных картин» подали блюда с сэндвичами, печеньем и пирожными. Все было домашнего приготовления и очень вкусное. Напиток из виноградного сока и имбирный лимонад разливали в бумажные стаканчики. Мильтон сидел в углу. На нем был костюм из толстого твида, белая рубашка и галстук, все уже забрызганное соком и осыпанное крошками.

«В один прекрасный день им это аукнется», — мрачно сказала Фло, имея в виду Мильтона. Может, поэтому люди и приходили год за годом — смотреть «волшебные картины», глотая напиток из виноградного сока, уже вошедший в анекдоты. Чтобы посмотреть на Мильтона — как он сидит, щекастый и толстопузый, словно бомба, что рано или поздно рванет? Но он лишь со страшной скоростью напихивался едой. Казалось, что он глотает все это — финиковые полоски и «отшельники», пирожные «Нанаймо» и фруктовый мармелад, корзиночки с масляно-сахарной на-

чинкой и брауни — целиком, как змея лягушек. И живот у него растягивался точно так же.

* * *

Методисты имели большую власть в Хэнрэтти. Она слабела, но медленно. Эпоха обязательных занятий по изучению Библии уже прошла. Возможно, Мильтоны этого не знали. А может, знали, но делали героическую мину при плохой игре. Они вели себя так, будто нормы набожности не изменились и ее связь с материальным благополучием тоже осталась прежней. Их кирпичный дом, битком набитый удобствами, их пальто с уютными воротниками из тусклого меха, казалось, провозглашали: это дом методистов, это одежда методистов, намеренно скучная, тяжелая, добротная. Каждая черта методистов словно говорила, что они трудились в мире ради Господа и Господь не оставил их без награды. Ради Господа блестел натертый воском пол в прихожей по сторонам ковровой дорожки. Ради Господа проводились идеально прямые линии в бухгалтерской книге. Ради Господа цвели бегонии, ради Господа шли деньги на банковский счет.

Но в наши дни уже случались ошибки. Ошибка барышень Мильтон заключалась в том, что

они составили петицию, которую собирались послать в Си-би-си. Они просили о снятии с эфира программ, которые по времени совпадали с воскресной вечерней службой и тем мешали людям ходить в церковь: Эдгар Берген и Чарли Маккарти, Джек Бенни, Фред Аллен. Барышни Мильтон заставили священника объявить об их петиции с амвона — в Объединенной церкви, где методистов превосходили числом пресвитерианцы и конгрегационалисты. Роза не была свидетельницей этой сцены и знала о ней по рассказу Фло. После службы мисс Хэтти и мисс Мэтти поджидали на выходе, одна справа, другая слева от вытекающей из зала струйки прихожан; мисс Хэтти и мисс Мэтти собирались отбивать людей по одному от потока и заставлять подписывать петицию, уже разложенную на столике в вестибюле церкви. За столиком сидел Мильтон Гомер. Ни в каком другом месте он быть не мог: тетушки не позволяли ему пропускать церковь по воскресеньям. Чтобы занять Мильтона, тетушки поручили ему важное дело — заведовать чернильными ручками: следить, чтобы они были всегда полны чернил, и вручать их тем, кто собирался подписать петицию.

Это была очевидная часть их ошибки. Мильто-

ну взбрело в голову нарисовать себе усы, что он и проделал — без помощи зеркала. Усы закручивались по большим, печально обвисшим щекам вверх, к налитым кровью глазам, не предвещающим ничего хорошего. По ходу дела Мильтон совал ручку и в рот, так что у него и губы теперь были в чернилах. Иными словами, он сделал из себя такое забавное зрелище, что петицию — совершенно никому не нужную — теперь можно было не воспринимать всерьез, а власть сестер Мильтон, методисток с льнопрядильной фабрики, представить себе в виде жалкой пересыхающей струйки. Люди улыбались и проскальзывали мимо, и с этим решительно ничего нельзя было сделать. Конечно, две старые дамы не стали ругать Мильтона и устраивать потеху для публики; они забрали его и петицию и убрались восвояси.

— И с тех пор они уже не думали, что могут тут заправлять всем подряд, — заключила Фло.

Как всегда, трудно было понять, крах чего именно — религии или властолюбия — ее так радует.

* * *

Мальчик, показавший Розе сонет на уроке английского языка прямо под носом у мисс Хэт-

ти, и был Ральф Гиллеспи — тот самый, что все время изображал Мильтона Гомера. Насколько помнила Роза, во время эпизода с хрестоматией Ральф еще не начал пародировать Мильтона. Это началось позже, в последние несколько месяцев пребывания Ральфа в школе. Учеников рассаживали по алфавиту, поэтому на большинстве уроков Ральф оказывался непосредственно впереди или позади Розы из-за близости их фамилий в алфавитном списке. Кроме алфавитной близости, между ними было что-то вроде семейного сходства, но не во внешности, а в привычках и склонностях. Они не стеснялись этого сходства, как стеснялись бы, будь они в самом деле братом и сестрой. Наоборот, оно сплотило их, как заговорщиков, и научило взаимовыручке. У обоих вечно не хватало необходимых для учебы карандашей, линеек, ластиков, стальных перьев, бумаги в линейку, миллиметровки, циркулей, измерителей, транспортиров — то ли забытых дома, то ли потерянных, то ли никогда не существовавших; оба неловко обращались с чернилами и все время сажали кляксы и вытирали их промокашкой; оба не делали уроков и потом ужасно боялись последствий. Так что Роза и Ральф выручали друг друга как могли, делились принадлежностями,

которые у них были, недостающее выпрашивали у более предусмотрительных соседей и находили, у кого бы списать домашнее задание. Меж ними возникла дружба, какая бывает у заключенных или солдат, которые не горят желанием идти в бой, а хотят лишь выжить и избежать сражения.

Но это было еще не все. Их туфли и ботинки завели тесное знакомство: они толкались и обдирали друг друга — втайне от всех, в знак симпатии, — а порой замирали, прижавшись друг к другу, для моральной поддержки; это взаимное сочувствие особенно помогало, когда учитель математики выбирал, кто сейчас пойдет к доске решать задачу.

Однажды Ральф пришел после полуденного перерыва с полной головой снегу. Он наклонился назад и помотал головой, стряхивая снег из волос Розе на парту, со словами:

— У вас есть вши? А чем вы их лечите?

— Да они у меня как-то и не болеют.

Этот момент — физическая откровенность и старая детская шутка — оставил у Розы ощущение некой интимности. На следующий день, опять в обеденный перерыв, как раз перед звонком, она вошла в класс и увидела, как Ральф, окруженный кольцом зрителей, изображает Мильтона Гоме-

ра. Роза удивилась и встревожилась: удивилась, потому что в школе Ральф всегда был так же застенчив, как и сама Роза, и застенчивость была одной из черт, которые их роднили; встревожилась, боясь, что у него ничего не получится и зрители не станут смеяться. Но у него получалось очень хорошо: большое, бледное добродушное лицо стало массивным и унылым, как у Мильтона; глаза выпучились, брыластые щеки тряслись, а слова вылетали хрипло и певуче, словно в трансе. Выходило так здорово, что Роза изумилась и все остальные тоже. С этого времени Ральф начал показывать пародии: он изображал нескольких человек, но Мильтон Гомер получался лучше всего. У Розы так и не прошло легкое опасение за друга. Она испытывала и еще одно чувство, не зависть, но что-то вроде зыбкого желания. Она хотела делать то же самое. Не подражать Мильтону Гомеру; она не хотела никому подражать. Она хотела впитать волшебство и тем самым освободиться, преобразиться; она хотела этой смелости и этой власти.

Вскоре после того, как у Ральфа проявились таланты имитатора, он бросил школу. Розе не хватало его ботинок, его дыхания и пальца, который постукивает ее по плечу. Иногда она

встречала Ральфа на улице, но он как будто стал совсем другим человеком. Они не останавливались поболтать, только здоровались и спешили по своим делам. Они много лет были близкими друзьями, заговорщиками, тщательно поддерживали свое мысленное родство — но за пределами школы никогда не разговаривали, никогда не заходили дальше формального приветствия и казалось, теперь уже не способны были пойти дальше. Роза даже не спросила Ральфа, почему он бросил школу; она даже не знала, устроился ли он на работу. Они знали шею и плечи друг друга, ноги и головы, но не могли признать друг друга в полный рост.

Скоро он перестал попадаться Розе на улицах. До нее дошли слухи, что он пошел служить в военно-морской флот. Возможно, он просто дожидался нужного возраста. Он поступил во флот и уехал в Галифакс. Война уже кончилась, флот перешел на режим мирного времени. Все равно очень странно было представлять себе Ральфа Гиллеспи в военной форме на палубе эсминца. Может быть, даже стреляющего из орудия. До Розы только начинало доходить, что ее знакомые мальчики, даже те, что казались совершенно беспомощными, скоро превратятся в мужчин и им

доверят такие вещи, которые вроде бы требуют гораздо больших способностей и авторитета и этим мальчикам не по плечу.

* * *

Одно время — после того, как Фло избавилась от магазина, но до того, как артрит превратил ее в калеку, — она ездила с соседями в клуб Канадского легиона играть в бинго и иногда в карты. Когда Роза приезжала в гости, ей трудно было подыскивать темы для разговора и она расспрашивала Фло о людях, которых та встречала в клубе. Спрашивала и о своих ровесниках — Коне Николсоне, Коротышке Честертоне, которых ей трудно было представить взрослыми. Видится ли Фло с ними?

— Одного я видела, он там все время сидит. Ральф Гиллеспи.

Роза сказала, что Ральф Гиллеспи вроде бы ушел во флот.

— Да, правильно, но он вернулся домой. Он там попал в аварию.

— Какую аварию?

— Не знаю. Там, во флоте. Он целых три года пролежал в военно-морском госпитале. Его там по кусочкам собирали. Теперь он в порядке, только хромает, вроде как подволакивает ногу.

— Жалко как.

— Ну да. Я тоже так думаю. Я против него ничего не имею, хотя некоторые в Легионе ему ставят это в вину.

— Что ставят в вину?

— Да пенсию, — сказала Фло.

В ее голосе слышалось удивление и явное презрение к Розе за то, что она не учла такой элементарной вещи и такого естественного для Хэнрэтти человеческого чувства.

— Мол, что это он теперь обеспечен на всю жизнь. А я говорю — он наверняка пострадал, а не просто так. Поговаривают, что ему платят кучу денег, но я не верю. Ему много не надо, он ведь не семейный. Только он, если у него и болит чего, не подает виду. Совсем как я. Я не показываю виду. Кто плачет, тот плачет один[11]. Он хорошо играет в дартс. Он во все играет, что там устраивают. И еще изображает людей — прямо как две капли воды.

— Мильтона Гомера? Он в школе изображал Мильтона Гомера.

— И его. Мильтона Гомера. У него смешно получается. И других тоже.

---

[11] Примечания: 11

Цитата из стихотворения «Одиночество» американской поэтессы Эллы Уилер Уилкокс (1850–1919).

— А Мильтон Гомер еще жив? И еще ходит в парадах?

— Конечно, он еще жив. Правда, притих. Он теперь в окружном доме престарелых. В солнечные дни торчит у шоссе — поглядывает на проезжающие машины да облизывает эскимо. А старухи обе померли.

— Значит, в парадах он больше не марширует?

— Так и парадов больше нет. Мало стало. Оранжисты почти все перемерли, да и зрители не ходят — теперь всем только бы сидеть дома и пялиться в телевизор.

* * *

Приехав в очередной раз, Роза обнаружила, что Фло охладела к Легиону.

— Не хочу ничего общего иметь с этими старыми уродами, — сказала она.

— Какими старыми уродами?

— Теми, что сидят там, травят одни и те же глупые байки и сосут пиво. Меня от них тошнит.

Фло в своем репертуаре. Люди, места, забавы — она внезапно увлекалась ими, а потом они вдруг переставали ей нравиться. С возрастом эти виражи становились все более резкими и частыми.

— И тебе никто из них больше не нравится? А

Ральф Гиллеспи все еще туда ходит?

— Ходит. Ему там так нравится, что он хотел устроиться туда на работу. На неполный день, барменом. Кое-кто говорит, ему отказали, потому что у него уже есть пенсия, но я думаю, это из-за того, что он так себя ведет.

— Как он себя ведет? Напивается?

— Напиваться-то он, может, и напивается, но по нему не скажешь, он всегда ведет себя одинаково. Все время изображает кого-нибудь, часто — людей, которых приезжие уже не знают, сроду не видали этого человека и потому думают, что это просто Ральф сам идиотничает.

— Вроде Мильтона Гомера?

— Точно. Откуда им знать, что это он изображает Мильтона Гомера и какой из себя был Мильтон Гомер? Они не знают. А Ральф не знает меры. В общем, он домильтонгомерился до того, что работы ему не дали.

* * *

Роза отвезла Фло в окружной дом престарелых — Мильтона Гомера она там не видела, хотя обнаружила многих других людей, которых считала давно умершими, — и осталась расчищать дом и готовить его к продаже. И вдруг сама оказалась

в клубе Легиона — за ней зашли соседи Фло, решив, что ей, должно быть, одиноко в субботний вечер. Роза не сумела отказаться и в результате очутилась за длинным низким столом в подвале под зданием Легиона, со стойкой бара в углу. Последние солнечные лучи косо падали через поля бобов и кукурузы и засыпанную гравием парковку и пятнали обитые фанерой стены. Стены были увешаны фотографиями, подписанными от руки и приклеенными к рамкам скотчем. Роза встала, чтобы посмотреть на них. Сто шестой батальон перед посадкой на корабль, 1915 год. Разные герои той войны, их имена теперь носили сыновья и племянники, но Роза слышала об их существовании впервые. К тому времени, как она вернулась обратно за стол, там началась карточная игра. Роза подумала, что, может быть, нарушила этикет, когда встала и пошла смотреть фотографии. На них, вероятно, никто никогда не обращал внимания. Они были не для того, чтобы их разглядывать; они просто были, как фанера, которой обиты стены. Гости, чужаки всегда на все смотрят, вечно интересуются, спрашивают, кто это, да когда было то, пытаются оживить беседу. Вкладывают слишком много сил и слишком много хотят получить в ответ. И еще могло по-

казаться, что она, Роза, расхаживает по комнате, стараясь привлечь к себе внимание.

К Розе подсела женщина и представилась. Она оказалась женой одного из играющих в карты. «Я видела вас по телевизору», — сказала она. Когда кто-нибудь такое говорил, Роза всегда принималась извиняться. Ей приходилось улавливать и пресекать этот абсурдный порыв. Здесь, в Хэнрэтти, желание извиняться было еще сильней. Роза знала, что ей порой случалось вести себя бесцеремонно. Она вспомнила себя в роли тележурналиста, берущего интервью, свою обманчивую уверенность и шарм; здесь как нигде люди должны знать, что это личина. Ее актерская игра — другое дело. Тут ей было чего стыдиться, но совсем не того, чего она должна была бы стыдиться, по мнению местных жителей: ей было стыдно не за отвислую голую грудь, но за неудачу, которую она не могла бы четко очертить или объяснить.

Заговорившая с Розой женщина была нездешняя. Она сказала, что приехала сюда из Сарнии пятнадцать лет назад, когда вышла замуж.

— Мне до сих пор трудно привыкнуть. Если честно. После города. А вы живьем выглядите гораздо лучше, чем в том сериале.

— Надеюсь, — сказала Роза и объяснила про грим.

Такие подробности всегда интересовали людей, и Розе стало спокойней, когда разговор перешел на технические детали.

— А вот и старина Ральф, — сказала женщина.

Она подвинулась, чтобы дать место худому седому человеку с кружкой пива в руке. На улице Роза его не узнала бы, он оказался бы незнакомцем, но сейчас она пригляделась, и ей показалось, что он совсем не изменился — остался таким же, как в семнадцать или пятнадцать лет: седые волосы, когда-то каштановые, все так же падали на лоб, и лицо было все таким же бледным, спокойным и великоватым для тела таких размеров. И тот же неуверенный, сторожкий, скрытный взгляд. Но тело стало худей, а плечи словно ссохлись. На нем был свитер с коротким рукавом, маленьким воротничком и тремя декоративными пуговицами: голубой, в бежевую и желтую полоску. Свитер показался Розе приметой стареющего весельчака, юнца, застывшего во времени. Она заметила, что у Ральфа руки старика, очень худые и трясутся так сильно, что ему приходится поднимать кружку ко рту двумя руками.

— Вы ведь ненадолго приехали? — спросила

женщина из Сарнии.

Роза ответила, что возвращается в Торонто завтра, воскресным вечером.

— Должно быть, у вас очень насыщенная жизнь, — сказала женщина и громко вздохнула. Одна эта белая зависть уже выдала бы в ней приезжую, нездешнюю.

Роза думала о том, что в понедельник, в полдень, должна обедать с мужчиной, а потом отправится с ним в постель. Это был Том Шепперд, которого она знала очень давно. Когда-то он был в нее влюблен и писал ей любовные письма. Последний раз, когда Роза была с ним в Торонто — когда они потом сидели в постели и пили джин с тоником (они всегда много пили, когда были вместе), — Роза вдруг подумала или поняла, что и сейчас где-то есть женщина, в которую он влюблен и за которой ухаживает на расстоянии. А когда он писал письма ей, Розе, то наверняка предавался изнурительной постельной гимнастике с какой-нибудь другой женщиной. И еще все это время у него была жена. Розе захотелось спросить его об этом: о потребности, о препятствиях, об удовлетворении. Ее интерес был дружеским, без претензий, но она знала — чувствовала, — что спрашивать нельзя.

Разговор посетителей клуба перекинулся на лотерейные билеты, бинго и выигрыши. Картежники — среди них сосед Фло — говорили о человеке, который будто бы выиграл десять тысяч долларов, но скрыл это, потому что несколькими годами раньше обанкротился и был должен деньги куче народу.

Один мужчина сказал, что после банкротства человек уже никому ничего не должен.

— Тогда, может, и не был, — ответил другой. — А теперь должен. Теперь-то у него деньги есть.

Большинство его поддержало.

Роза и Ральф Гиллеспи смотрели друг на друга. Меж ними висела в воздухе та же молчаливая шутка, тот же заговор, то же взаимное утешение: все то же, все то же.

— Я слыхала, ты у нас знатный пародист, — сказала Роза.

Это была ошибка: не надо было ничего говорить. Он засмеялся и покачал головой.

— Да ладно. Я слыхала, ты замечательно изображаешь Мильтона Гомера.

— Ну уж не знаю.

— А он еще живой?

— Насколько я знаю, он в окружном доме престарелых.

— А помнишь мисс Хэтти и мисс Мэтти? Они устраивали показ «волшебных картин» у себя дома.

— А то!

— Я до сих пор так и представляю себе Китай.

Роза болтала не умолкая, хоть и мечтала остановиться. В другом обществе поняли бы, что ее болтовня забавна и задушевна, что Роза явно и бессмысленно флиртует. Но Ральф Гиллеспи почти не реагировал, хотя и слушал внимательно и, кажется, с охотой. Говоря, Роза пыталась понять, что он хочет от нее услышать. Он точно чего-то хотел. Но даже не пошевелился для этого. Розе пришлось пересмотреть свое первое впечатление — застенчивого мальчишки, заискивающего перед публикой. То был лишь поверхностный образ. Теперь она видела Ральфа самодостаточным человеком, привыкшим жить в трудных обстоятельствах и, вероятно, гордым. Ей хотелось, чтобы он заговорил с ней с того, глубинного уровня, и казалось, что сам Ральф тоже этого хочет, но им помешали.

Но когда Роза вспоминала этот бесплодный разговор, ей всегда чудилась волна доброты, сочувствия и прощения, хотя, конечно, ни о чем подобном они не говорили. Тот особый стыд,

который она как будто всюду носила с собой, чуть ослабел. Вот чего она стыдилась в своей актерской игре: того, что, может быть, обращает внимание не на главное, что копирует коленца, когда надо бы взять что-то лежащее в глубине — тон, оттенок, а она не может и не хочет уловить нужное. Она подозревала это не только в отношении актерской игры. Порой все, что она когда-либо сделала, казалось ей ошибочным. И, беседуя с Ральфом Гиллеспи, она чувствовала это с небывалой остротой, но позже, когда вспоминала о нем, собственные ошибки уже казались ей неважными. Она была в достаточной степени человеком своей эпохи, чтобы задаться вопросом: может быть, то, что она чувствует к Ральфу, лишь теплота сексуального влечения, связанное с этим любопытство? Но она решила, что нет. По-видимому, на свете существовали чувства, о которых можно было говорить только в переводе. Не исключено, что и действовать под влиянием этих чувств можно было тоже только в переводе. А не говорить о них и не действовать исходя из них было правильным решением, поскольку любой перевод — сомнителен. А также опасен.

Именно поэтому Роза ничего не стала объяснять Брайану и Фебе про Ральфа Гиллеспи, когда

вспоминала церемонию Мильтона Гомера с младенцами или дьявольскую радость, с которой он качался на качелях. Она даже не упомянула, что Ральф уже умер. Она знала, что он умер, потому что до сих пор получала городскую газету. В прошлое Рождество Фло преподнесла Розе подписку на семь лет, сочтя, что должна ей что-нибудь подарить. В своем репертуаре, Фло заявила, что газета — исключительно для людей, обожающих видеть свое имя в печати, и что читать там нечего. Обычно Роза пролистывала газету и швыряла в ящик для растопки. Но статью про Ральфа она увидела, потому что та была на первой полосе.

СМЕРТЬ ОТСТАВНОГО ВОЕННОГО МОРЯКА

Мистер Ральф Гиллеспи, старшина военно-морского флота в отставке, получил травмы головы, несовместимые с жизнью, в клубе Канадского легиона в субботу вечером. В инциденте не участвовали другие лица, и, к сожалению, тело обнаружили лишь через несколько часов. Предположительно, мистер Гиллеспи принял дверь в подвал за дверь на улицу и потерял равновесие, которое ему было трудно сохранять еще и из-за старой травмы, полученной во время службы в

военно-морском флоте и приведшей к частичной инвалидности.

После этого в заметке указывались имена родителей Ральфа — судя по всему, еще живых — и его замужней сестры. Похороны будут организованы Канадским легионом.

Роза никому об этом не говорила и была рада, что по крайней мере это ей не удастся испортить пересказом. Хотя и знала, что ее удерживают не только соображения порядочности, но и отсутствие материала. Что могла она сказать о жизни Ральфа Гиллеспи? Разве лишь то, что она чувствовала эту жизнь — очень близко к своей, ближе, чем жизни ее былых возлюбленных. Словно ее жизнь и жизнь Ральфа лежали в соседних ячейках.